РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ТРУДЫ ИНСТИТУТА
ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РАН
Том L

Ю. В. Андреев

ИСТОРИЯ И МИФ

Гуманитарная Академия
Ювента
Санкт-Петербург
2018

ББК 63.3(0)32-28
А65

Андреев Ю. В.

А65 История и миф / подготовка издания Л. В. Шадричевой. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Ювента, 2018. – 376 с., ил. — (Историческая библиотека; Труды Института истории материальной культуры РАН. Т. L).

ISBN 978-5-93762-143-6

Первая часть книги посвящена некоторым наиболее интересным и актуальным проблемам современного источниковедения, в том числе вопросу, что такое исторический источник и методам его исследования, обзору и характеристике важнейших источников по истории Древней Греции, влиянию мифологической традиции на греческую историографию в период ее становления, отцу истории — Геродоту и его «Истории». Вторая часть книги посвящена взаимоотношению и взаимодействию греческой мифологии с греческой историко-философской мыслью V–IV вв. до н. э. Для примера взяты первые главы I книги «Истории» Фукидида и избранные отрывки из «Тимея» и «Крития» Платона. Оба автора, отталкиваясь от мифа, идут разными путями: Фукидид восстанавливает древнейшую историю Греции, Платон же из мифа создает свой собственный миф — миф об Атлантиде, связанный с его проектами идеального государства.

Книга предназначена для студентов, изучающих античную историю и археологию, а также всех интересующихся зарождением европейской исторической и философской мысли.

ББК 63.3(0)32-28

Andreev Yu. V.

History and Myth / prepared by Lyudmila V. Shadricheva. — St. Petersburg: Contrast, 2018. — 376 p., ill. — (Historical Library; Proceedings of the Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences. Vol. L).

The first part of the book deals with some of the most interesting and actual problems of modern source studies such as what is the historical source and which methods of its investigation are to be used. Besides, it surveys and characterizes the most important sources on the history of Classical Greece, reveals an influence of the mythic tradition upon the Greek historiography during a period of its formation, and considers as well Herodotus and his «History». The second part of the book is devoted to interrelations and interactions of Greek mythology with the Greek historical and philosophical thought of the 5th — 4th centuries BC. As examples of them examined are first chapters of the book I of Thucydides' «History» and selected passages from Plato's dialogues «Timaeus» and «Critias». Both the authors, making a start from myths, go further in different ways: Thucydides restores the earliest history of Greece, while Plato creates from a myth his own one — the myth of Atlantis, which is connected with his projects of the ideal city-state.

The book is intended to students of Classical history and archaeology, as well as to those who are interested in the origin of the European historical and philosophical thought.

ISBN 978-5-93762-143-6

© Ю. В. Андреев (Л. В. Шадричева), 2018
© Д. В. Панченко, предисловие, 2018
© Ювента, 2018
© Институт истории материальной культуры РАН, 2018
© С. В. Лебединский, оформление, 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ

Богатое и разнообразное научное наследие Юрия Викторовича Андреева (1937–1998) постепенно становится общим достоянием. Благодаря энергии его учеников и коллег были опубликованы несколько монографий, в той или иной степени приготовленных автором для печати, но в силу разных причин не переданных им в типографию. Теперь дошла очередь до материалов, которые сам Юрий Викторович, возможно, не предполагал публиковать, но которые тем не менее заслуживают увидеть свет. Таковы предлагаемые вниманию читателя материалы двух курсов, прочитанных в 1980-е гг. для студентов кафедры истории Древней Греции и Рима исторического факультета ЛГУ (теперь СПбГУ).

Рукописи обоих курсов представляют собой почти сплошь законченный текст, который читается равно интересно и легко: в отношении слога и ритма Ю. В. Андреев был среди лучших русских историков XX в. Их издание под одной обложкой оправдано тем, что в обоих случаях речь идет в конечном счете о характере исторического знания и, в частности, о соотношении его с мифом.

В разделе, посвященном источниковедению, обсуждаются возможности и пределы исторического знания, исследовательские методы и приемы, их обогащение и развитие. Читатель найдет здесь и ценные сведения, и множество метких замечаний, ничуть не утративших свое значение. В этой же части прослеживаются первые шаги греческой исторической науки, в особенности труды Гекатея Милетского и Гелланика Лесбосского, подробно рассматривается труд Геродота. Юрий Викторович чтит Отца истории, но и не трепещет перед святостью его имени. Он может без обиняков сказать, что религиозно-философские взгляды Геродота «предельно банальны и к тому же страшно противоречивы и непоследовательны». С той же решимостью он прославляет любознательность историка, которая «гоняла его по свету в поисках еще невиданных и неслыханных чудес, в поисках исторических свидетельств», он видит в нем «ярко выраженный тип ученого энтузиаста, стремившегося знать все обо всем», и уже одно это, по его словам, делает фигуру Геродота в высшей степени привлекательной.

Во второй части сравниваются подходы к мифологическому материалу у Фукидида и Платона. Вывод предлагается четкий и убедительный: «Для Фукидида свидетельство мифа первый шаг к реконструкции реального прошлого — того, что когда-то происходило в действительности; для Платона древний миф лишь толчок к созданию нового мифа, который будет лучше и совершенней древнего». При этом содержание раздела неизмеримо богаче, чем приведенный вывод. Ю. В. Андреев совсем не из тех ученых, кому важнее всего собственные построения. Для него бесконечно интересен сам исторический материал и заключенные в нем «загадки истории». Подробнее всего он разбирает так называемую «Археологию» Фукидида, то есть вступительную часть сочинения великого историка, в которой предлагается удивительная по изобретательности и предвосхищению современных методов исследования реконструкция отдаленного прошлого греков и в которой вместе с тем содержится множество утверждений, требующих комментария с точки зрения науки наших дней. Читатель найдет здесь ценные экскурсы о таких предметах, как место исторического начала в рассказах о войне за Трою, самоназвание и формирование идентичности греков, особенности спартанского общественного устройства, допущение наготы в греческом искусстве и греческих спортивных состязаниях и проч., и проч.

Разумеется, за прошедшие годы появились новые работы, новые взгляды, новые данные. Но, в сущности, ничего из сказанного Ю. В. Андреевым в публикуемых курсах не устарело. Их материал остается познавательным и увлекательным чтением, включающим множество тонких наблюдений и оригинальных идей.

Д. В. Панченко

Часть I

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

ПРЕДМЕТ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

Еще каких-нибудь 100 с небольшим лет тому назад источниковедением называли одну из вспомогательных исторических дисциплин. Дисциплина эта ничем особенным не выделялась среди всех прочих разделов исторического знания, таких, как хронология, историческая география, археология и др. Содержание ее сводилось к двум основным темам: классификация источников и методика их изучения, т. к. историков XIX в. больше всего интересовали три вещи: какие существуют источники по истории того или иного периода или события, где их можно найти и как следует с ними обращаться, чтобы заставить их заговорить. По существу, источниковедение XIX века представляло собой набор практических навыков, употребляемых при работе с письменными документами.

С тех пор, как говорится, утекло много воды. История как наука вышла из состояния первобытной невинности и начала задумываться о таких вещах, которые раньше никому не приходили в голову. Можно сказать, что только теперь история осознала самое себя как совершенно особую отрасль науки со своими особыми задачами и соответствующими этим задачам особыми методами познания. Историки начали теоретизировать не только по поводу тех универсальных закономерностей, которые действуют в историческом процессе и направляют его в ту или иную сторону, но и по поводу простейших исторических фактов, а также по поводу тех способов, с помощью которых эти факты могут быть установлены. Иными словами, история начала вырабатывать свою особую методологию, отличающуюся по целому ряду признаков от методологии естественных наук. Важнейшей составной частью этой методологии должно стать источниковедение в его обновленном современном варианте. Я говорю «должно стать», потому что пока еще теоретическое источниковедение в точном значении этого слова не существует. Оно находится в процессе разработки и становления. Идут споры вокруг его основных принципов, основных понятий, намечаются тенденции его дальнейшего развития, но пока еще процесс этот не может считаться вполне законченным. Предстоит еще очень большая работа.

И все же прежде чем мы перейдем к основной части нашего курса, а именно к обзору и характеристике важнейших источников по истории Греции и Рима, т. е. к тому, что, вероятно, следовало бы теперь назвать «практическим источниковедением», я хотел бы, чтобы вы получили представление о некоторых наиболее интересных и актуальных проблемах современного теоретического источниковедения хотя бы, так сказать, в предварительном порядке еще до того, как эти проблемы будут наконец по-настоящему решены. Это необходимо уже потому, что иначе вы не сможете почувствовать непрерывный рост и развитие нашей науки и свыкнитесь с той мыслью, что она так и застыла на той мертвой точке, на которой ее оставили историки XIX в.

Важнейшая проблема, занимающая в полном смысле слова ключевое положение среди других проблем современного теоретического источниковедения, это *проблема исторического факта*. На ней мы с вами и остановимся.

До недавнего времени (практически до 20–30-х гг. XX столетия) историки, как говорится, не мудрствуя лукаво, собирали и изучали факты, не особенно задумываясь над тем, что эти факты собой представляют. Считалось, что факты, как только их удалось извлечь из источника, должны «говорить сами за себя». Дело историка лишь старательно вслушиваться в то, что они ему говорят.

Таков, например, был метод работы Л. Ранке — авторитетнейшего немецкого ученого XIX века, которого многие в те времена считали эталоном историка. Основную задачу историка он видел в возможно более точном установлении и описании фактов («обнаженной истины без всяких прикрас»). Для этого историк должен подавить в себе все индивидуальное, исключить свое я из процесса работы. Иными словами, он должен из человека стать прибором, способным без каких-либо прикрас и искажений передать суть исторических событий. Не случайно самого Ранке современники прозвали «большим окуляром».

Настоящий культ факта сложился в европейской историографии позитивистского толка (сюда относятся прежде всего сочинения О. Конта и его последователей). Согласно Конту, любая наука, в том числе и история, не нуждается ни в какой стоящей вне ее философии, ни в каких отвлеченных умствованиях. Она имеет дело только с фактами. Но что такое факт? Это прежде всего результат научного наблюдения, то, что мы видим или воспринимаем другими своими чувствами. В истории научное наблюдение в чистом своем виде в силу понятных причин почти не встречается. Его заменяет чтение текстов. Достаточно внимательно вчитываться в текст, чтобы историческая истина выступила во всей своей полноте. Девиз Фюстель де Куланжа — крупнейшего представи-

теля позитивизма во французской историографии: «Тексты, все тексты, ничего, кроме текстов!» Своих собратьев по профессии Фюстель де Куланж призывал отречься от всякой философии, от «всяких теорий и синтезов», ибо история есть «не наука рассуждений, а наука наблюдений, наука о фактах». Если какая-то философия может «выделиться из истории», то лишь при условии, что она «выделялась сама, почти помимо воли историка».

Опираясь на факты, историки-позитивисты рассчитывали превратить историю в точную науку, абсолютно такую же, как и быстро развивавшиеся в то время естественные науки. Факт исторический и факт естественный (т. е. природное явление) они считали вещами одного порядка. Но то, что в естественных науках дает эксперимент, в истории должен был дать анализ источников, их внешняя и внутренняя критика. «Для одного дня синтеза надобны годы анализа», — писал все тот же Фюстель де Куланж.

Установление, собирание, классификация фактов, выяснение существующих между ними причинных связей должны были, согласно убеждению историков-позитивистов, рано или поздно привести к открытию законов, действующих в истории. Стоит только разложить все факты по полочкам, как вся картина прошлого человечества станет ясной до конца. Но для того чтобы этот пасьянс получился, историк должен строго придерживаться одного главного правила. Он должен всегда и во всех ситуациях оставаться строго объективным. Факты, извлекаемые им из источников, должны быть абсолютно стерильно чистыми. Они не зависят ни в малейшей степени ни от личных пристрастий ученого, ни от его убеждений. Только тогда исторический закон будет обладать той же точностью, что и математическая формула. Когда в конце XIX века в Англии был задуман большой коллективный труд — создание многотомной «Кэмбриджской новой истории», руководитель этого предприятия лорд Эктон сказал, обращаясь к своим коллегам: «Мы должны вообразить, что находимся не на Гринвичском меридиане, но на 30º западной долготы», т. е. посреди Атлантического океана.

Итак, факт был для историков-позитивистов чем-то черезвычайно простым и ясным. Они не видели в этом понятии никакой проблемы, никакой методологической трудности. В самом простом определении исторический факт — это «кусок некогда существовавшей реальности», который извлекается историком из документа в уже готовом к научному употреблению виде.

Первые сомнения в том, что это действительно так просто, начали зарождаться на рубеже XIX–XX вв. Вот, например, что говорится в одном из самых популярных в то время пособий по методике и методологии

истории — «Введении в изучение истории» Ланглуа и Сеньобоса: «История пишется по источникам»[1]. В целом книга эта написана в позитивистском духе, но кое-где в ней уже проскальзывают идеи, которые наверняка показались бы еретическими позитивисту ортодоксального толка, как, например, такое высказывание: «Воображаемые историком факты строго субъективны». Итак, факт — это уже не «кусок реальности», а некий образ, созданный воображением историка и, следовательно, несущий на себе отпечаток его личности. Сама эта личность, очевидно, уже не мыслится безукоризненно точным научным прибором, как это было в трудах Ранке и позитивистов старшего поколения. К этому Ланглуа и Сеньобос добавляют еще и такое соображение: «Прошедшую реальность мы не наблюдаем; мы знаем ее только по ее сходству с существующей реальностью». Но сходства может и не быть. И, стало быть, тогда мы вообще ничего не можем узнать о том или ином факте прошлого. Или сходство может быть неправильно нами истолковано, и, следовательно, мы получаем искаженное представление о том, что произошло. В противовес мнению Фюстеля де Куланжа, который утверждал, что историческая наука лишь наблюдает, но не рассуждает, авторы «Введения» пишут, что историк восполняет рассуждением недостаток документов и фактов. Но рассуждения при недостатке фактов — вещь опасная. Они могут завести слишком далеко. Подводя итог своим размышлениям о природе исторического исследования, Ланглуа и Сеньобос приходят к довольно-таки неутешительному выводу о том, что история еще не может считаться наукой в строгом смысле этого слова. Для этого она слишком субъективна.

Так начал рушиться оптимизм историков позитивистской школы, основанной на вере во всемогущество науки. Во многом это было результатом дальнейшего развития и совершенствования самой исторической науки (один из многих парадоксов научного познания, с которыми человечеству пришлось столкнуться на рубеже XIX–XX вв.). Накопление нового фактического материала как бы взрывало изнутри привычные понятия и схемы, делая их непригодными к дальнейшему употреблению. Такие понятия, как, скажем, рабство, собственность, феодализм, прежде считавшиеся вполне однозначными, твердо определенными, теперь вдруг начали терять свою определенность, становиться текучими и изменчивыми. Этот процесс породил в буржуазной историографии целое критическое или даже гиперкритическое направление. Ученые этой школы ставили своей целью критический пересмотр всех старых научных

[1] *Langlois Ch.-V., Seigobos Ch.* Introduction aux études historiques. Paris, 1899. P. 1. Русский перевод вышел в СПб. в 1899 г.

теорий. Пересмотр этот был произведен, и множество устаревших теорий было отброшено, но, разделавшись с ними, критики оказались не в состоянии заполнить образовавшийся вакуум и создать свои собственные теоретические построения на место отвергнутых. А это опять-таки ставило под сомнение способность исторической науки дать точную и адекватную картину прошлого.

Примерно в том же направлении работала в эти годы и мысль западноевропейских буржуазных философов, в особенности весьма популярная в начале века *школа так называемых неокантианцев*. Ее крупнейшими представителями были Виндельбанд и Риккерт. Неокантианцы предложили разделить все науки на две категории: номотетические, т. е. «законополагающие», и идиографические, т. е. «описательные». К первой категории они относили все естественные науки, ко второй все гуманитарные и в том числе историю. В понимании неокантианцев, история способна только описывать единичные, никогда не повторяющиеся явления — отдельные исторические факты и события. Познание законов — не ее амплуа. Этим занимаются только естественные науки. Таким образом, рухнуло одно из важнейших положений позитивистской философии истории — положение о существовании закономерной причинной связи между фактами.

С легкой руки неокантианцев исторический факт превратился в некую самостоятельную величину, неподвластную никаким законам и общим нормам. Это означало, что факт может быть только описан, да и то неточно, но по-настоящему понять его невозможно, так как его не с чем сравнивать (каждый факт неповторим, уникален).

Но настоящее восстание против позитивизма в истории разразилось в 20–30-е годы XX столетия в США. На то имелся ряд причин: и экономический кризис, поколебавший веру в политический либерализм и исповедуемые им ценности, в том числе и в академическую науку, и влияние неокантианства и неогегельянства, которое докатилось до берегов Америки как раз к тому времени, когда находившаяся в смятении американская интеллигенция искала новые точки опоры, и, не в последнюю очередь, доморощенная философия прагматизма и инструментализма, признававшая только те научные идеи, которые имели непосредственную практическую пользу. В отличие от своих заокеанских коллег американские историки всегда придавали первостепенное значение проблеме связи истории с современностью.

На этой почве возникла так называемая *презентистская концепция*, провозглашенная рядом видных философов и историков США. Ее отличительные черты: субъективизм и крайний релятивизм в трактовке исторических фактов, агностицизм и даже нигилизм по отношению

к историческим закономерностям и причинным связям. Но особенно ожесточенным нападкам подвергли сторонники презентизма само понятие исторического факта.

В декабре 1926 г. на годичном собрании Американской исторической ассоциации тогдашний ее президент К. Беккер произнес речь на тему «Что такое исторические факты?» В своей речи он обрушился на традиционное представление об историческом факте как о чем-то «твердом», имеющем законченную форму, и прочном как «кирпич». Чувство уверенности, порождаемое у историка понятием «факт», говорил Беккер, иллюзорно и могло держаться лишь до тех пор, пока историки не задумались над подлинным содержанием этого понятия. В действительности оно не так просто и недвусмысленно, как казалось раньше, ибо любой факт при ближайшем рассмотрении распадается на множество составляющих его более мелких фактов. Из этого в общем верного наблюдения Беккер сделал такой обескураживающий вывод: факт истории есть символ, обобщение тысячи и одного факта, — и тут же добавил: «Я далек от определения столь иллюзорной и непостижимой вещи!» Развивая далее эту мысль, Беккер меланхолически заметил, что то, что мы называем историческим фактом, есть в действительности вовсе не сам факт, а лишь то, что кем-то когда-то о нем было сказано, т. е. сообщение источника. Если нас спросят: «Где находится исторический факт?», мы можем ответить на это только то, что он находится «или в чьем-то уме, или же нигде». Таким образом, в понимании Беккера исторический факт, с которым приходится иметь дело историку, и подлинное историческое событие — вещи совершенно различные. Исторический факт существует только в уме историка, и поэтому он существует лишь теперь, в настоящем времени, а не в прошлом (is not was). Необходимо поэтому отказаться от «застарелой привычки думать об истории как о части внешнего мира и об исторических фактах как о действительных событиях».

Историк не способен представить себе историческое событие, даже самое простое, так как оно было на самом деле. Он неизбежно выбирает в сообщении источника ту версию, которая его больше всего устраивает. Сами по себе факты ничего не «говорят» и не имеют никакого смысла. Это историк говорит за них и наделяет их значением. Историк — отнюдь не рупор, через который «говорит история», как воображал Фюстель де Куланж. Он всегда привносит в рассказ о событиях прошлого свои личные оценки, свои чаще всего ложные представления. Поэтому не может быть и никакого согласия между разными историками в оценке смысла и значения исторических фактов. Как говорил Б. Кроче, каждое поколение переписывает и переоценивает историю

заново. Всецело разделяя это убеждение итальянского философа, Беккер восклицает: «О история, как много истин было принесено в жертву во имя твое!»

Каким бы парадоксальным ни показалось выступление Беккера его современникам, он лишь выразил в своей речи те идеи, которые давно уже носились в воздухе. Едва ли случайно, что в декабре того же 1926 г. известный французский этнограф А. Леви-Брюль опубликовал статью, называвшуюся так же, как и речь Беккера: «Что такое исторический факт?» и содержавшую примерно те же мысли о том, что историки имеют дело не столько с самими фактами, сколько с мнениями современников о них.

В результате разрушительной работы философов-релятивистов и попавших под их влияние историков стройное здание позитивистской методологии было взорвано. Как образно выразился А. Я. Гуревич, «среди дымящихся развалин корчился в предсмертных муках исторический факт. Он потерял плоть и не был похож на самого себя; ему отказали не только в подлинности, но даже и в праве на объективное существование; за ним все более проступало лицо историка — его творца и единственного обладателя. Вкусив по наущению сатаны скептицизма запретный плод от древа философского познания, потерявший методологическую невинность историк увидел пустоту вокруг себя: истории вне его не существовало, он был обречен на то, чтобы создавать ее исключительно из собственной набитой предрассудками головы. Наказание за грехопадение заключалось в том, что каждое новое поколение историков обязано было переписывать всю историю заново, не имея никакой гарантии, что они хоть сколько-нибудь приблизились к истине. Отныне прощай наука! История стала простым "актом веры", который вынужден отныне совершать для себя каждый по мере своих несовершенных сил и в соответствии с личными убеждениями и склонностями». Одна из работ уже известного нам Беккера, написанная в 30-е годы, так и называлась «Everyman His Own Historian» (Каждый — сам себе историк).

У австрийского писателя Г. Мейринка есть притча о тысяченожке, которой позавидовала жаба. Коварная жаба спросила тысяченожку, откуда та знает, в какой последовательности ей нужно двигать своими ногами. Тысяченожка задумалась над этим вопросом и более уже не смогла шевельнуть ни одной из своих многочисленных конечностей.

Точно так же и историческое познание в современной буржуазной историографии. Задумавшись однажды над своей собственной природой, своими методами познания, историческая наука оказалась повергнутой в состояние хаоса и паралича. На смену твердой уверенности позитивистской историографии XIX в. в том, что она способна показать прошлое

таким, каким оно было на самом деле, пришли всеразъедающий скептицизм, неверие в реальность и объективность исторических событий.

Релятивистский подход к историческому исследованию довольно быстро обнаружил свою бесплодность и губительность. После краткой полосы шумного успеха презентизма его популярность быстро пошла на убыль как в самой Америке, так и за ее пределами. По существу, презентисты лишь спекулировали на тех реальных проблемах, которые встали перед исторической наукой задолго до появления презентизма. Однако было бы ошибкой закрыть глаза на существование этих проблем только потому, что они стали предметом спекуляции. В частности, по-прежнему весьма актуальной остается проблема, заключенная в понятии «исторический факт», которая может быть осмыслена как проблема взаимодействия познающего субъекта и познаваемого объекта.

Историк, конечно, не «окуляр», каким хотели бы его видеть проповедники позитивизма, не бесстрастный собиратель фактов. Он сам участник того исторического процесса, который он пытается осмыслить. Поэтому не так просто, как это кажется поначалу, разграничить между собой две основные стадии исторического исследования: сбор фактов и их анализ и обобщение. Уже на первой из этих стадий историк не просто собирает данные для своей работы. Он их отбирает, активно селекционирует, руководствуясь уже сложившейся в его голове исходной гипотезой или теорией. Факты не «даны» источником. Историк выбирает из источника те данные, которые ему нужны и интересны, которые укладываются в его концепцию, отбрасывая в сторону все остальное. Поэтому выделение двух последовательных стадий исторического исследования, вообще говоря, условно, т. к. на всех его этапах присутствует теория и активная мысль ученого, анализ и синтез постоянно переплетаются между собой.

Вообще человеческий фактор ни в коем случае не может быть сброшен со счета при разборке строго научной методики исторического исследования. Социальная и партийная позиция историка, его личные вкусы и пристрастия — все это оказывает огромное влияние на используемые им методы отбора фактов, а, следовательно, и на конечные результаты его работы. Чем крупнее ученый, чем ярче его индивидуальность, тем острее воспринимает он импульсы, посылаемые современной действительностью, тем сильнее отразится его личность на том, что он делает. Как известно, именно творчество таких ученых экстракласса мощнее всего двигает вперед науку. Именно они обогащали ее гипотезами и теориями, по выражению Н. Бора, «достаточно безумными», чтобы оказаться плодотворными, т. е. неординарными, способными сломать привычные представления и заменить их совершенно новыми.

Но и заблуждения больших ученых обычно также гораздо масштабнее, чем ошибки рядовых исследователей. Их убежденность в своей правоте, увлечение новой еще неслыханной идеей нередко перерастают в своеобразный научный эгоцентризм, когда человек уже ничего не видит вокруг себя, кроме своей с таким трудом выстраданной теории, и допускает поэтому самые грубые просчеты в, казалось бы, простых вещах.

Все это не означает, однако, что наша наука насквозь субъективна, как утверждали презентисты и другие представители научного релятивизма, что она вообще не способна постичь объективную реальность прошедших исторических эпох и имеет дело лишь с какими-то призраками, фантомами или условными символами когда-то происходивших событий. Конечно, факт, с которым имеет дело ученый, не адекватен стоящему за ним реальному событию, поскольку это лишь представление о событии, полученное с помощью определенных научных операций. Представление это, однако, не может считаться полностью субъективным. В нем есть и элементы объективной реальности, причем элементы эти тем значительнее, чем современнее сами методы исследования. Можно даже сказать, что объективность исторического факта усиливается по мере того, как он переходит из сферы обыденного сознания, т. е. из непосредственного восприятия участников и очевидцев события, в сферу научного поиска, ибо только такой поиск способен вскрыть объективные связи явлений, показать подлинную природу исторического факта.

В известном смысле слова, историки сами «создают» исторические факты. Как это понимать? Выделяя одно явление или одно событие среди тысячи других, чтобы сделать его предметом своего исследования, историк тем самым как бы высвобождает его из бесчисленных эмпирических связей с другими явлениями, оставляя лишь те связи, которые кажутся ему существенными, закономерными. Таким образом индивидуальное явление подводится под некую общую норму, включается в некую систему, в рамках которой оно только и может иметь определенную научную значимость. Неповторимое событие подвергается при этом известной типизации, поскольку индивидуальность исторического факта вообще не может считаться абсолютной. Наряду с индивидуальными в нем всегда есть и типические черты, позволяющие рассматривать его как часть какой-то широкой общей категории. Можно даже сказать, что каждая индивидуальная черта может со временем стать типической в зависимости от ракурса или угла зрения, под которым мы рассматриваем данное событие.

Своеобразие исторического факта, его отличие, например, от тех фактов, с которыми имеют дело естественнонаучные дисциплины,

заключается в единстве абстрактного и конкретного. Исторический факт — это абстракция, в которой не утрачено, однако, конкретное содержание события, отраженного в этом факте, его неповторимый индивидуальный характер. Можно поэтому определить исторический факт как научно-познавательный образ, соединяющий некие общие нормативные признаки, характерные для целого ряда однопорядковых явлений, с представлением о конкретном чувственном объекте.

Отсюда, из этой двойственности исторического факта как раз и проистекают все те злоключения этой категории в историко-философской литературе новейшего времени, о которых мы уже говорили. Злоключения эти были порождены тем, что в одних случаях (в работах историков-позитивистов) абсолютизировался заключенный в каждом историческом факте элемент научной абстракции (считалось, что, если составить полную цепь фактов, тогда сам собой станет понятен соединяющий их всех исторический закон), в других же случаях (в работах ученых релятивистского толка) выпячивалась противоположная сторона факта — его индивидуальность и неповторимость (в этом случае из истории изгонялась любая закономерность и открывался безграничный простор для субъективистского истолкования событий).

Между реальным событием прошлого и фактом, о котором пишет историк, всегда лежит долгий и сложный путь. Весьма схематично можно выделить следующие этапы этого пути. 1). Событие совершилось и нашло определенное отражение в сознании современников, т. е. всех тех, кто его видел или что-нибудь слышал о нем. С самого начала возникающие таким образом представления о том, что произошло, будут сильно между собой различаться. Возникнет множество версий одного события. Это хорошо понимали уже древние историки, например Фукидид. 2). Информация о событии попадает в источник. При этом событие неизбежно выделяется из цепи других связанных с ним происшествий, подвергается определенному истолкованию и ставится в связь с другими фактами, возможно, не имевшими к нему прямого отношения. Совершенно ясно, что полученное таким образом сообщение не способно отразить событие во всей его полноте, не адекватно ему, а нередко и прямо его искажает. 3). Рано или поздно источник попадает в руки историков, которые также могут исказить или неправильно оценить событие, и таким образом на уже имеющиеся неточности и неправильности наслаиваются все новые и новые ошибки. Но даже если представить ситуацию, так сказать, идеальную: историк ничего не исказил и ничего не примыслил в дошедшем до него сообщении источника — все равно он судит о событии так, как позволяет ему достигнутый в его время уровень научного исследования, его классовая позиция (всегда

неизбежно ограниченная), наконец, чисто индивидуальные свойства его личности (склад ума и т. п.). Историки следующего поколения могут заметить в сообщении источника то, чего не заметили их предшественники, поскольку методика научного исследования все время совершенствуется, меняется сам подход к фактам, перспектива, в которой они оцениваются. Источник начинает «говорить» по-новому, когда сам историк подходит к нему с новыми вопросами и новой нетрадиционной методикой. Тогда в нем открываются новые факты или же факты уже известные освещаются с новой стороны. Можно поэтому сказать, что каждый исторический факт по сути своей неисчерпаем как из-за того, что существует множество подходов к нему, так и из-за непрерывно меняющейся перспективы, в которой рассматривается прошлое.

Уже упоминавшийся сегодня американский историк Беккер показывал это на примере такого хрестоматийного события, как переход Цезаря через Рубикон. Один этот кажущийся простым и элементарным исторический факт при ближайшем рассмотрении распадается на множество составных частей, каждая из которых тоже может претендовать на то, чтобы считаться особым историческим фактом. Получается, таким образом, что каждое событие заключает в себе, по выражению Беккера, «тысячу и один» факт. Само собой разумеется, что описать и составить ясное представление обо всем этом множестве взаимосвязанных фактов невозможно. Для большей наглядности Беккер ссылается на Дж. Джойса, который в своем знаменитом романе «Улисс» потратил более чем 700 страниц на описание одного, в сущности, незначительного события.

Конечно, для того чтобы должным образом понять исторический факт, его следует подвергнуть анализу, рассмотреть со всех сторон и во всех деталях. Здесь, однако, неизбежно возникает вопрос: в каких пределах возможно внутреннее дробление факта? Как заметил А. Я. Гуревич, на этом пути историка подстерегают две опасности: Сцилла поверхностности, когда исследуемый объект вообще не расчленяется на составляющие его части и дается лишь суммарное его описание, и Харибда впадения в «дурную бесконечность», чрезмерного увлечения деталями, которые превращаются в самоцель, так что историк не видит «за деревьями леса». Эти соображения вплотную подводят нас к проблеме типологии и отбора исторических фактов. Как и по каким признакам отличить, скажем, факт-событие от факта-процесса, факт единичный от факта массового, наконец, факт существенный от факта несущественного? Разумеется, ответить на каждый из этих вопросов может лишь конкретное исследование. Каждое исследование есть результат сложного взаимодействия двух факторов: объективного и субъективного. Объективный

фактор — это предмет исследования, т. е. сами факты, подлежащие оценке. Субъективный фактор — это личность исследователя. Уже приступая к исследованию, ученый производит в уме предварительную прикидку, распределяя имеющийся у него материал по категориям и группам фактов, отделяя, например, важные факты от второстепенных. Эта операция предполагает, что в его голове уже имеются какие-то предварительные или, как обычно говорят, рабочие гипотезы. Однако факты, как говорится, упрямая вещь. У них есть своя самостоятельная логика, и поэтому они всегда оказывают сопротивление теоретическому насилию, не желая укладываться в рамки априорных, т. е. заранее заготовленных схем и конструкций. Если историк самокритичен, наделен достаточным чувством ответственности за свои действия, он почувствует это сопротивление материала и постарается внести какие-то изменения и поправки в свою рабочую гипотезу или даже совсем откажется от нее. При этом выстроенная исследователем иерархия фактов может существенно измениться: факты, считавшиеся второстепенными, могут выдвинуться на первый план, первостепенные же, напротив, отойти в тень.

Таким образом, факты не «нанизываются» на нить, заранее натянутую историком, не выдумываются им. В процессе исследования обнаруживаются объективные отношения между фактами, отношения, которые историк не создает, а вскрывает.

Итак, что же такое исторический факт? В марксистской литературе существует довольно много определений этого понятия, которые нередко не совпадают между собой, а иногда и прямо противоречат друг другу. Так, А. Я. Гуревич в статье, которая так и называется «Что такое исторический факт?»[2], приходит к такому выводу: «Исторический факт — это то событие или явление прошлого, сведения о котором (т. е. отражение в источниках, всегда в той или иной мере неадекватное и неполное) сохранились, получают оценку историков как имеющие отношение к изучаемой ими проблеме, интерпретируются ими в свете этой проблематики, включаются в систему закономерных связей». Обращает на себя внимание известная двойственность этого определения. С одной стороны, исторический факт есть нечто объективно существующее, независимое от сознания воспринимающих людей. С другой стороны, историческим факт может считаться лишь в том случае, если он стал достоянием истории, т. е. если о нем сохранилась хоть какая-то достоверная информация. Если такой информации нет, значит, и сам исторический факт не существует. Правда, Гуревич тут же оговаривается, указывая, что данное им

[2] См. сборник статей: «Источниковедение», 1969 г.

определение исторического факта приблизительно и неполно, т. к. оно не охватывает тех фактов, о которых нет никаких упоминаний в источниках. Но если эти факты тоже считать историческими, тогда, очевидно, придется отказаться от сформулированного таким образом определения.

Другое определение предлагает В. С. Библер в статье, опубликованной в том же самом сборнике: «Реконструкция исторического факта — это процесс освоения, с точки зрения своей эпохи, всего того движения, пробега всемирной истории, который фокусируется вокруг изучаемого факта и который выступает сегодня не в качестве "снятого" культурного наследия, но в качестве "относительной одновременности" (ср. Эйнштейн) прошлых и одновременных событий». Сказано красиво, но в чем смысл этой несколько высокопарной тирады?

Сам Библер приводит такой конкретный пример, который призван раскрыть и проиллюстрировать его мысль. Реальный философ Сократ, живший в Афинах во второй половине V в. до н. э., нам неизвестен. Мы знаем о нем лишь со слов его учеников Платона и Ксенофонта — создателей так называемой сократовской легенды. Положение весьма трудное, но Библер находит из него очень простой и легкий выход: «Сократ исторический — это не Сократ физиологический (его действительно не восстановишь), это Сократ легенды, Сократ Платона и Сократ Ксенофонта — Сократ социально значимый». Эта смелая мысль подкрепляется ссылкой на авторитет А. Боннара, который когда-то писал: «Подлинный Сократ — ...исторический Сократ — тот, кто воздействует на историю мысли, воздействует на нашу человеческую историю всякий раз, когда мы к нему приближаемся через посредство тех, кто говорит о нем. Сократ исторический и Сократ легендарный — одно и то же существо, существо живое, поскольку оно действует...»

Итак, исторический факт, в понимании Библера, это одновременно и сам факт, и все, что о нем знали и думали современники и последующие поколения. Историкам остается лишь, не мудрствуя лукаво, принимать всю эту информацию так, как она есть, не заботясь о том, что в ней истинно, а что нет, что было на самом деле, а чего не было. Главное, что все эти легенды, слухи и домыслы социально значимы. Они продолжают жить в современной нам действительности на равных правах с действительно происходившими историческими событиями и действительно существовавшими историческими личностями.

Какая-то доля истины в этом рассуждении, несомненно, есть. При определенном стечении обстоятельств историческим фактом может стать и явно вымышленный литературный персонаж, например Дон Кихот или Робинзон Крузо, которые своим появлением оказали, как известно,

глубочайшее влияние на умы современников и читателей последующих поколений. В этом смысле может быть признан историческим фактом и созданный Платоном и Ксенофонтом образ Сократа. Но настоящего историка такое решение проблемы вряд ли сможет удовлетворить. Он всегда будет стремиться узнать хоть что-нибудь о подлинном, а не легендарном Сократе, которого Библер почему-то называет пренебрежительно «физиологическим Сократом», ибо смысл исторической науки в том и состоит, чтобы не принимать на веру готовые мнения, а искать те факты, которые за этими мнениями скрываются, неустанно отделяя правду от вымысла.

Итак, исторический факт — это, несомненно, объективная реальность, либо уже познанная, либо такая, которую только еще предстоит познать, хотя едва ли мы когда-нибудь сможем познать ее во всей ее полноте, поскольку абсолютная истина, как известно, недостижима.

Исторический факт в его основном качестве фрагмента исторической действительности следует отличать от научно-познавательного образа этого фрагмента, существующего в сознании историков (еще раз напоминаю, что многие ученые, особенно западные, именно этот образ и склонны считать историческим фактом). Эти два понятия нельзя ни отождествлять, ни отрывать друг от друга. Некоторые ученые, например польская исследовательница Целина Бобинская и ее соотечественник Ежи Топольский, предлагают поэтому ввести наряду с термином «исторический факт» еще и термин «историографический факт» и применять его для обозначения научно-познавательных образов событий или процессов. Такое разграничение, как мне кажется, имеет свой резон и, возможно, будет принято другими учеными.

ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ?

Понятие «исторический источник» возникло в нашей науке далеко не сразу. Древние его не знали. Также и в средневековой историографии этого понятия еще не было в употреблении. Для того чтобы оно появилось, понадобились два важных сдвига в сознании самих историков: 1) сложилось четкое представление об авторстве; 2) зародилось критическое отношение к сведениям о прошлом.

Конечно, и до этого в исторических трудах иногда можно было встретить указания на источник, из которого взято то или иное сведение (они встречаются уже у Геродота). Но, во-первых, это не считалось обязательным, а во-вторых, само слово «источник» понималось слишком уж широко. Любой текст, любая сплетня принимались без разбора как одинаково пригодные и равноценные источники информации. Любая копия, снятая с текста, или пересказ с любыми переделками, пропусками или добавками тут же становились источником для последующих переписчиков и пересказчиков. Что и у кого списано, что добавлено от себя, отмечать было не обязательно. Естественно, что при таком положении вещей не было необходимости в том, чтобы как-то отличать источники от не источников, не было, стало быть, и нужды в специальном понятии «исторические источники».

Только в эпоху Возрождения, когда началась великая переоценка ценностей и постепенно стало слабеть слепое преклонение перед традицией, какого бы сомнительного происхождения она ни была, историки-гуманисты стали подвергать сомнению и критике дошедшие до них переложения истории как письменные, так и (в особенности) устные. Гуманисты впервые осознали, что нужно отделять первичные источники исторической информации (в то время это были главным образом сообщения древних писателей) от позднейших домыслов или толкований.

Одновременно стала зарождаться и идея личного авторства или авторского права на ученые труды, на признание личного вклада ученого в науку и закрепление его доброго имени чем-то вроде личного клейма

ремесленника. Свое формальное выражение идея авторства нашла в изобретении *научного аппарата*, т. е. системы цитат и ссылок на сочинения предшественников. Начали применяться различные способы выделения чужих слов, мыслей и сообщений среди своего текста, а также технические приемы подтверждения добытых тем или иным способом сведений.

Впервые эту систему использовал в своих работах флорентийский ученый XV в. Флавио Биондо.

Уважение к имени и идеям современника, проецируясь в прошлое, обернулось уважением к личности древнего автора. Издатели сочинений греческих и римских писателей уже не решались больше сливать с древним текстом свои примечания или гипотетические вставки (конъектуры) на местах пробелов. Только после этого стало возможным четкое отделение современных толкований и домыслов от действительно древних свидетельств о прошлом.

Тогда-то и возникло разделение всех исторических сочинений на две большие группы: исторические источники и исторические пособия. В первую группу были зачислены первичные сообщения о различных событиях древности и средневековья, сделанные либо их современниками, либо более поздними авторами, но располагавшими, как принято было думать, вполне достоверной информацией. В основном это были сочинения древних писателей и средневековых летописцев, старинные документы и т. п.

Позднейшие пересказы или переложения этих первичных сообщений считались уже не источниками, а пособиями. Пособия доступнее источников. Их легче найти. Кроме того, они более доходчиво написаны. В них меньше темных и непонятных мест. Но доходчивость эта нередко достигалась за счет серьезных искажений информации, почерпнутой из источников. Поэтому настоящий солидный ученый должен использовать в первую очередь именно источники и лишь потом обращаться к пособиям.

Уже в эпоху Возрождения среди исторических пособий стали выделять в особую группу исторические исследования. Это было уже не просто переложение чужих сообщений и описание событий в хронологическом порядке, а сопоставление, проверка и истолкование имеющихся свидетельств. Исследовательский труд предполагал реконструкцию событий прошлого по сохранившимся отрывочным данным, выявление их причин и следствий, наконец, их оценку с позиций нравственности и высшего разума, дабы извлечь таким образом надлежащие уроки истории.

Источниками теперь считаются Геродот, Плутарх, Цезарь, Цицерон, Тит Ливий, средневековые хронисты вроде Фруассара, грамоты вроде

«Оттоновской привилегии». Конечно, в свое время некоторые из этих сочинений могли бы считаться пособиями или даже исследованиями, например труды Геродота и Фукидида, но к эпохе Возрождения они уже стали источниками, а исследованиями теперь надлежало считать такие книги, как «История Юлия Цезаря», написанная Петраркой, или «О генеалогии богов» Боккаччо. В свою очередь эти сочинения могли бы тоже стать источниками, если бы вдруг были утрачены труды античных авторов, которых они использовали, но, к счастью, этого не произошло.

Даже и сейчас еще не всегда удается определить с достаточной точностью, куда следует отнести тот или иной текст — к источникам или исследованиям, и соответственно решить, какая из двух научных дисциплин должна иметь с ним дело — источниковедение или историография. Так, труды Геродота и Фукидида могут оказаться предметом исследования и с источниковедческой, и с историографической точки зрения. В то же время греческими и латинскими надписями, средневековыми хартиями занимается только источниковедение, а историческими трудами итальянских гуманистов, того же Петрарки или Боккаччо — только историография.

Не очень доверяя устному преданию, гуманисты еще вполне полагались на письменные источники. Эту веру поддерживал незыблемый авторитет античных классиков, святых отцов церкви и самого Священного писания. Потребовался очистительный ветер Реформации для того, чтобы это доверие развеялось. Уже в первой половине XV в. независимо друг от друга Лоренцо Валла и Николай Кузанский в Италии и Реджинальд Пикок в Англии разоблачили как подделку знаменитый «Дар Константина» — грамоту, якобы дарованную папе Сильвестру императором Константином Великим. Столетиями эта грамота считалась главным обоснованием папских прав на владение Римом и претензий на верховенство папской власти над императорской. В XVI же столетии появились и первые руководства по критике источников, например «Об искусстве критики» Каспара Шоппе, 1597 г. Однако по-настоящему основы источниковедения были разработаны позже — уже в XVII в.

Во многом этому способствовали новые философские доктрины, знаменовавшие наступление эры рационализма, и прежде всего учения Ф. Бэкона и Р. Декарта. Первый учил исходить в любом исследовании из опыта, из фактов; второй — добиваться ясности посредством сомнения и аналитического расчленения предмета. В этой духовной атмосфере и были разработаны и применены научные методы критики источников. Важнейшие заслуги в этой области принадлежат французам Мабильону и Симону и немецкому ученому Папеброху. В сочинении

Жана Мабильона «De Re diplomatica» («О изучении дипломов», 1681 г.) были заложены основы экспертизы подлинности старинных документов. Ришар Симон в своей «Критической истории Ветхого завета» (1678 г.) показал, как следует выявлять древние и более поздние части текста. Наконец, знаменитый философ Б. Спиноза в своем анонимно опубликованном «Богословско-политическом трактате» (1670 г.) впервые продемонстрировал образец более глубокой критики источников, показав, как следует проверять не только их подлинность и сохранность, но также и истинность их содержания.

Эта отрасль критики источников стала особенно бурно развиваться в XVIII столетии — в век Просвещения и Великой французской революции. Просветители, в том числе Вольтер, Монтескье, Кондорсе, Вико и другие, уже умели распознавать за сообщениями источников, например христианских священных книг, политические и иные пристрастия их авторов, хотя делали это подчас наивно, руководствуясь лишь своим здравым смыслом и интуицией.

Но уже и этого было достаточно, чтобы понять, что критика источников не сводится к проверке подлинности текста или его отдельных частей, т. е. к определению возраста, авторства и сохранности, но включает в себя и оценку достоверности сообщений, их объективности или, наоборот, тенденциозности, компетентности автора и т. д.

Просветителем, вольтерьянцем, правда, узкого толка был немец Шлецер, долгое время работавший в России. Он первым подверг критическому исследованию древнейшую русскую летопись — «Повесть временных лет». Он же ввел в историческую науку сам термин «источник» — Quelle и разработал правила и последовательность критики источников. На первом месте он поставил «малую критику», или «критику слов», основную задачу которой он видел в оценке подлинности и сохранности текста, а также в восстановлении оригинала, если сам текст был лишь копией, списком или, еще хуже, пересказом какого-то более древнего источника. Следующая стадия критики, по Шлецеру, — толкование текста, грамматическое и историческое. Оно должно быть нацелено на то, чтобы верно прочесть восстановленный текст, перевести его на современный язык и попытаться связать его с уже известными историческими событиями и личностями, чтобы тем самым уразуметь, какой смысл хотел вложить в него его автор.

Наконец, «высшая критика», или «критика дел», должна установить достоверность самих сведений, сообщаемых автором, для чего необходимо выяснить, что он был за человек, насколько осведомлен в предмете, о котором он пишет, каковы были его личные пристрастия, симпатии и антипатии и т. д.

В XIX в. структура источниковедения усложнилась. «Малая критика» разделилась на ряд самостоятельных дисциплин. Экспертизой подлинности источников стали заниматься археография (наука о рукописях), эпиграфика (наука о надписях), дипломатика (наука о документах, актах, грамотах), палеография (наука о письме), сфрагистика (наука о печатях). Вторая стадия малой критики (проверка сохранности и восстановление оригинала текста) также оформилась в особую дисциплину — «критику текста», или «текстологию». Ее основы заложил в начале XIX в. немецкий филолог-классик К. Лахман. Опираясь на сравнительный анализ «списков», т. е. копий античных текстов, он пытался найти и восстановить более древние исходные их формы.

Та отрасль источниковедения, которую Шлецер называл «толкованием источников», также разделилась надвое. «Грамматическое», или как бы мы теперь сказали, «лингвистическое» толкование текста включает в себя дешифровку (если письменность неизвестна), реконструкцию языка (если неизвестен язык), опознание письменности и языка (если они известны), прочтение и перевод с чужого языка на язык исследователя и с древнего или архаичного на современный. Все эти задачи отошли теперь к лингвистике. Историческое толкование текста имеет своей главной целью выявление смысла, вложенного в него автором, для чего необходимо постараться опознать в сообщении реальные исторические фигуры, места и события, найти им соответствия в других источниках. Все это остается, конечно, делом историков-источниковедов.

Надвое разделилась и «высшая критика» источников. В начале XIX в. историки романтического направления, живо интересовавшиеся «родной стариной», «историческими корнями» и «народным духом», начали понимать, что во многих случаях даже вполне подлинный и хорошо восстановленный текст может заключать в себе не сообщение очевидца, а всего лишь запись молвы, устного предания, которое обычно развивается по своим особым законам. Такой текст, очевидно, уже не может считаться первоисточником. Понятие «исторический источник», таким образом, было ограничено. От него отпочковалось понятие «первоисточник».

Стало ясно, что еще до того, как будут установлены идейные позиции автора текста, его тенденциозность и т. п., т. е. еще на первом этапе высшей критики, историк должен выяснить, откуда и в каком виде автор получил те сведения, которыми он располагает.

Так, в конце XVIII — начале XIX в. стараниями Ф. А. Вольфа и его школы была выявлена историческая несостоятельность гомеровского эпоса (представленная в «Илиаде» картина Троянской войны оказалась мозаикой, составленной из множества разновременных преданий

и мифов). Тогда же известный немецкий историк Б. Г. Нибур выступил с теорией, согласно которой у истоков всякой исторической традиции лежит «баснословный период». Поэтому надежность источников, освещающих древнейшее прошлое любого народа, будь то римляне, греки или германцы, всегда в высшей степени сомнительна. В России, начиная со второй четверти XIX в., примерно те же идеи исповедовал Каченовский и его «скептическая школа». На этом пути было много перегибов. В критическом задоре многие ученые ставили под сомнение целые большие периоды древней и средневековой истории на том основании, что они лишены необходимой источниковедческой базы и сведения о них приходится черпать из таких ненадежных источников, как те же гомеровские поэмы, Библия или русские летописи. Однако в целом это направление было, несомненно, плодотворным и сыграло большую роль в развитии нашей науки.

Дальнейшее углубление критического метода показало, что даже и в тех довольно распространенных в древности случаях, когда тот или иной автор опирался не на устные предания и слухи, а на предшествующую письменную традицию, его текст в первоначальном и неповрежденном виде все равно не может считаться первоисточником, поскольку чаще всего древние историки не просто переписывали чужие тексты, а свободно их перелагали, внося в них много всякой отсебятины. В таких случаях текстология своими силами уже не может установить, откуда автор данного текста брал ту или иную информацию, и как он ее использовал. Для этого нужно сопоставить его труд с трудами его предшественников, т. е. выявить источники источников. Именно таким способом тот же Нибур попытался расчленить информацию, сохраненную в «Анналах» Тита Ливия, положив начало той отрасли науки, которую можно было бы назвать «палеоисториографией». Палеоисториография составляет ядро первого или коммуникационного этапа высшей критики источников. Изощренная методика такого рода исследований была разработана и применена на практике Л. Ранке и его преемниками — корифеями немецкой исторической школы второй половины XIX в. — Я. Буркхардтом, К. Лампрехтом, Т. Моммзеном и др.

Именно Ранке сформулировал и основной принцип второго и последнего этапа «высшей критики» источников. На этом этапе определяются объективность показаний, полнота и точность сведений, т. е. правильность фактов. Только на этом этапе историк оценивает само содержание информации источников, выясняет, насколько оно соответствует тому, что было в действительности, т. е. занимается тем, что можно было бы назвать содержательной критикой источников.

Эмоциональные или нравственные оценки, проникновение в сущность исторических процессов претили всему складу мышления Ранке, так как идейной основой его мышления был плоский эмпиризм — преклонение перед фактом. Конечную цель исторического исследования Ранке формулировал просто: установить «как оно на самом деле происходило». Факты, если их намеренно не искажать, должны сами собой сложиться в целостную и разумную картину. Надо только отойти от мелочного следования зигзагам политической истории, пристальнее вглядеться в медленные изменения экономики и быта, в смену юридических норм. Последователи Ранке Буркхардт и Лампрехт, двигаясь в намеченном им направлении, пришли к созданию задуманной еще Вольтером истории культуры. Ранке считал, что современный историк должен отрешиться от всякой партийности и тенденциозности. (При этом он, естественно, не замечал своей собственной буржуазной и националистической ограниченности.) Точно так же должны быть очищены от тенденции, от всего субъективного и свидетельства источников. Поэтому Ранке и его преемники стремились выяснить не только осведомленность и истоки информации древних авторов, но и разузнать все, что касается их взглядов, интересов, пристрастий и т. д. Такая установка вела к тому, чтобы увязать палеоисториографию со всем историческим процессом изучаемого периода. Впрочем, Ранке и его школа не смогли особенно далеко продвинуться в этом направлении. Они не видели зависимости взглядов историка от его среды, от общего уровня эпохи и от социально-экономических интересов тех или иных слоев общества. Искажения информации в источниках казались им хаотическими, лишенными какой-либо закономерности. Теряясь перед этим кажущимся хаосом, Ранке вообще старался уменьшить зависимость историка от нарративных (повествовательных) источников — летописей, «историй», мемуаров и т. п., предпочитая им документальные источники — акты, грамоты, договоры и т. п. Источники первой категории ненадежны, потому что предназначены специально для передачи исторической информации. Поэтому в них события намеренно подаются в желательном и выгодным для кого-то освещении. Вторые же вызваны к жизни практическими сиюминутными потребностями. Поэтому в них не столь часто можно встретить сознательные искажения действительности. Правда, свидетельства документов в целом беднее и, главное, отрывочнее, чем свидетельства повествовательных источников. Все же Ранке удалось повернуть внимание историков от библиотек к архивам, от намеренных исторических сообщений к ненамеренным.

Более того, вскоре наметился совершенно определенный крен исторического исследования от «намеренных» свидетельств о прошлом

к «ненамеренным». Этот крен был связан с широким распространением идей уже знакомого нам позитивизма.

Мы уже знаем, что позитивистская историография, за редкими исключениями, признавала только наглядные факты, отвергала поиски скрытых закономерностей и учила презирать гипотезы.

Между тем так называемая высшая критика источников была практически невозможна без гипотез. Историки-позитивисты стремились поэтому по возможности ограничить сферу «высшей критики» и использовать главным образом такие источники, которые этой критике вроде бы не подлежали.

Следует иметь в виду и еще одно свидетельство. На рубеже XIX–XX вв. не без воздействия марксизма усилился интерес к истории социально-экономических отношений, к истории культуры и общества, которые теперь начали сильно теснить старую событийную историю. Это еще более усилило интерес историков к источникам второй группы как более объективным и более «наблюдательным». Развивая далее идеи Ранке, историки-позитивисты разбили все источники на две большие группы по степени их объективности, познавательной ценности и характеру отражения в них действительности. Этими группами стали так называемые остатки и «предание», или «традиция». Такое деление источников, охватывавшее не только письменные документы, но теперь уже и вещественные памятники прошлого быта, разработано немецкими позитивистами И. Г. Дройзеном и Э. Бернгеймом. В дальнейшем его приняли также многие русские историки, в том числе такие крупные, как В. О. Ключевский, Н. И. Кареев, А. С. Лаппо-Данилевский. К преданию были отнесены при этом любые сообщения о прошлом, специально предназначенные для сохранения и передачи исторических фактов. Сюда относятся, например, исторические хроники, мемуары, повести и т. п. Особенность всей этой группы источников состоит в том, что они описывают факты, говорят о них, но самих этих фактов непосредственно во всей их материальной осязаемости в современность не переносят. Геродот рассказывает о том, как скифы скальпируют убитых ими врагов. Ни один из снятых ими скальпов не был, однако, подшит к дошедшим до нас спискам труда Геродота. Таким образом, в источниках этого рода перед нами предстают не сами по себе факты, а только их отражение в сознании неких информаторов, отражение, само собой разумеется, крайне субъективное, избирательное и одностороннее. Для распознавания всех этих дефектов и очистки информации от содержащейся в ней почти неизбежной намеренности и тенденциозности как раз и нужна «высшая критика» источников.

Вторая группа источников — «остатки» — включает в свой состав если не сами исторические факты, то по крайней мере то, что от них осталось в настоящем: какие-то их следы, отдельные части и детали, по которым можно восстановить весь факт в его первоначальном виде. Сюда относятся останки древних людей, принадлежавшие им вещи, оставленные ими документы. Сюда же относится язык, на котором говорит тот или иной народ, в особенности его основной словарный запас, не загрязненный новейшими, еще прочно не укоренившимися формами, также произведения фольклора: песни, пословицы, анекдоты; пережиточно бытующие древние нормы, обычаи, идеи. Весь этот материал возник спонтанно и не заключает в себе сознательной исторической заданности, т. е. не нацелен своими создателями на передачу информации о прошлом. Если он ее и передает, то ненамеренно, стихийно. Поэтому источники такого рода не подлежат «высшей критике».

Одновременно и в непосредственной связи с разделением источников на «остатки» и «предание» наметились некоторые важные изменения в процедуре их обработки. В ней стали различать только два звена или этапа. Первый — общий для всех источников. Это — «малая», или, как ее теперь стали называть, «внешняя» критика источников («внешняя», ибо она не углубляется в содержание информации, проверяя только, так сказать, упаковку, в которой она до нас дошла). Второй этап необходим лишь для обработки предания. Это — «высшая», или, по-новому, «внутренняя» критика источников.

Среднее звено старой шлецеровской схемы — «грамматическое» и «историческое» толкование источника выпало из методической процедуры критики, растворившись в двух основных ее этапах. Дело в том, что так называемое грамматическое толкование, как правило, не является продолжением внешней критики, т. е. проверки подлинности и сохранности источника, а, напротив, сопутствует ей или даже предшествует. Что касается исторического толкования, то и оно не обязательно должно предшествовать оценке достоверности информации, т. е. высшей, или внутренней, критике источника, — нередко оно с ней прямо связано или из нее вытекает. Таким образом, толкование в значительной мере слилось с критикой или по крайней мере стало проводиться параллельно с ней. Следует также иметь в виду, что некоторые важные элементы толкования, например текстологический анализ источника, т. е. изучение его языка, перешел теперь от историков к филологам.

Кризис позитивистской историографии, начавшийся на рубеже XIX–XX вв., поставил под сомнение и разработанные ею принципы

научного источниковедения. Так, начала довольно быстро размываться грань между двумя основными группами источников: остатками и преданием. Оказалось, что остатки — не столь уж объективные и надежные источники, как принято было думать раньше, что сами по себе они не складываются в полную и адекватную картину прошлого, что и они тоже отражают историческую реальность односторонне, избирательно, а, главное, неупорядоченно, наконец, что они так же, как и предание, могут быть осмыслены только с помощью интуиции, а это всегда влечет за собой субъективные оценки.

С другой стороны, внимательное изучение предания показало, что содержащаяся в нем информация далеко не вся имеет преднамеренный характер и далеко не вся безнадежно искажена. Даже умолчания в источниках такого рода уже могут сказать о многом, если только как следует в них вчитаться. «Торжество исторической критики заключалось, — по известному выражению В. О. Ключевского, — в том, что историки научились из того, что говорят люди известного времени, подслушивать то, о чем они умалчивали». Сам Ключевский был замечательным мастером такого «подслушивания». Предание становилось под его пером откровенным как остатки, а остатки красноречивыми как предание.

Во многих случаях трудно было с полной уверенностью отнести тот или иной источник к категории остатков или к преданию. Например, договоры и коммерческая переписка, безусловно, могут считаться фрагментами самой исторической реальности, поскольку они активно участвовали в жизни прошлого и в этом смысле являются остатками. Однако почти в каждом таком документе можно обнаружить определенную тенденцию, т. е. намерение автора представить факты не такими, какими они были на самом деле, а это уже элемент предания. В то же время любая историческая хроника, хотя и является преданием, может рассматриваться и как остаток своей эпохи, поскольку в ней отразились мировоззрение и психология людей того времени. Еще труднее определить положение, занимаемое такой разновидностью источников, как мемуары.

И совсем уж непонятно, что делать с большой группой источников, охватывающей произведения художественной литературы и изобразительного искусства, а также памятники философской и религиозной мысли. Почти все источники этого рода глубоко тенденциозны, т. е. создавались с определенным намерением, и это отличает их от остатков в обычном понимании этого слова. С другой стороны, их трудно отнести и к преданию, ибо информация о прошлом, которую они в себе заключают, не является изоморфной, т. е. не претендует на точность и адекватность отражения действительных событий, да и вообще их созда-

тели (поэты, художники, философы, отнюдь не историки) не ставили перед собой такой цели.

Поэтому некоторые советские источниковеды вообще отказываются от того, чтобы делить источники на остатки и предание, а критику источников на внешнюю и внутреннюю. Другие же признают это деление теоретически оправданным и практически ценным, хотя отводят ему в своей методике лишь ограниченное место.

До сих пор мы употребляли термин «исторический источник» как нечто само собой разумеющееся, не нуждающееся ни в каких дополнительных пояснениях. В действительности это, конечно, не так. В понимании этого главного термина источниковедческой науки также нет пока еще полного единства мнений, как нет его и в понимании отдельных групп и категорий источников. Стоит только вдуматься в само понятие «источник», как нас тут же начнут одолевать сомнения и вопросы, на которые очень трудно найти ответ. В самом деле, что следует понимать под историческими источниками: любые скопления информации о прошлом или же только некоторые наиболее важные виды, относить сюда остатки любого происхождения (будь то чисто природные явления или дело рук человеческих), использовать только самые ранние из сохранившихся звеньев в передаче информации или также и все последующие звенья вплоть до нашего времени, обращаться только к тем остаткам прошлого, в которых оно отразилось прямо и непосредственно, или использовать также и косвенные свидетельства и т. д. и т. п.?

Вообще говоря, любой источник, как бы мы его ни называли (историческим или неисторическим), уже содержит в себе определенную информацию о прошлом.

Ведь как только событие произошло, оно тут же стало прошлым, хотя бы и очень недалеким (записав мою последнюю фразу, вы тем самым внесли свой вклад в историю). Теперь мы не обрываем историю на том, что было когда-то давно, а доводим ее до наших дней. Отсюда, казалось бы, вытекает, что всякая информация о прошлом — это и есть историческая информация. Но это лишь на первый взгляд. Далеко не все источники, содержащие информацию о прошлом, могут быть признаны подлинно историческими источниками. Сюда не могут быть отнесены, например, окаменелости и другие источники, сообщающие нам о глубоком геологическом прошлом Земли, еще до начала человеческого рода. С другой стороны, огромная масса информации, которую оставляет после себя современная или сравнительно недавняя действительность, конечно, не может быть вся целиком автоматически зачислена в разряд исторических источников, поскольку сама эта информация далеко

не равнозначна для исторической науки. История не может и не должна быть воспроизведением жизни во всей ее полноте и многоплановости. Повторить все события прошлого во всех деталях и подробностях даже мысленно невозможно и ненужно. Далеко не все события прошлого имели историческое значение, не все факты прошлого суть исторические факты, и соответственно не все источники, даже достоверно информирующие о прошлом, — исторические источники.

Если мы попробуем собрать всю частную переписку жителей Петербурга — Ленинграда хотя бы за последние сто — сто пятьдесят лет, историческая информация, которую удастся извлечь из этих писем, будет, конечно, ничтожна в сравнении с огромным количеством документов и теми усилиями, которые нам пришлось бы затратить на их обработку. Любопытный пример приводит Л. С. Клейн в своей книге «Археологические источники» (Л., 1978). В Бразилии богатый промышленник Долименте издает тиражом в 200 экземпляров еженедельник «Курьер Долименте». Каждый номер — это бюллетень о событиях жизни издателя за истекшую неделю: сообщается, скажем, что в пятницу у него болела голова, а в субботу к нему приехала тетка. Несмотря на все усилия издателя (журнал рассылается редакциям крупнейших газет мира), эти события вряд ли когда-нибудь войдут в историю. Не только сейчас, но и в будущем.

Исторический процесс слагается из множества массовых явлений, в которых реализуются основные законы и тенденции народных движений, экономического и культурного развития и т. д. Верно ухватить и понять эти явления можно лишь с помощью широкого обобщения, суммирования, усреднения и тому подобных научных операций. При этом многие частные подробности (отдельные события и их участники) неизбежно окажутся на периферии общей картины исторического процесса или даже за ее пределами. Если же мы попытаемся передвинуть эти мелкие детали в центр нашей картины, это может привести к ее существенным искажениям. Не так давно в газетах писали об одном японском солдате, который продолжал воевать в одиночку еще много лет после того, как окончилась Вторая мировая война. Но не этот любопытный пример человеческого одичания и утраты социальных связей, а разгром и капитуляции Японии в сентябре 1945 г. составляют настоящую веху в истории человечества.

Исторический процесс нельзя уподобить сплошному слитному потоку вроде потока воды или потоку стандартных изделий на конвейере. Каждое входящее в его состав явление независимо от того, считаем мы его массовым или, наоборот, единичным, — индивидуально и неповторимо в своей основе.

«В истории человечества, — писал Ф. Энгельс, — как только мы выходим за пределы первобытного состояния человечества, так называемого каменного века, повторение явлений составляет исключение, а не правило, и если где и происходят такие повторения, то это никогда не бывает при совершенно одинаковых обстоятельствах».

Предметом изучения в исторической науке обычно становятся явления следующих четырех категорий.

1. Влиятельные явления, т. е. те, которые оказывают заметное воздействие на весь ход истории, например такие события, как войны, революции, великие открытия, деяния великих людей.

2. Узловые явления. Ими могут быть даже мелкие или случайные эпизоды, занимающие определенное положение в цепи причинно связанных исторических событий. Если вынуть такой эпизод, вся цепь распадется. Примером может служить сараевский выстрел в истории Первой мировой войны или ближневосточный кризис ноября 1979 г. (захват иранскими студентами здания американского посольства).

3. Стереотипные явления (их называют также типичными, хотя и не очень точно). Они являются как бы представителями широких категорий массовых явлений, так как наиболее ярко и наглядно воплощают в себе все особенности данной категории или группы. Так, восстание Семеновского полка в 1821 г. может рассматриваться как стереотипное проявление того недовольства аракчеевским режимом, которым была охвачена в это время практически вся русская армия, хотя можно было бы найти также и другие примеры этого рода.

4. Ключевые явления. Это исключительные, крайние выражения важных тенденций общественного развития, которые именно благодаря своей исключительности резче и ярче передают их суть (эти явления довольно близко стоят к так называемым типичным образам в искусстве и литературе). Пусть из всей массы франкских воинов нашелся лишь один, который решился разрубить чашу, являющуюся объектом вожделений короля Хлодвига, и пусть лишь однажды король в отместку за этот поступок раскроил воину череп. Сам этот эпизод с Суассонской чашей (487 г.) является наиболее ярким и выпуклым свидетельством конфликта традиций военной демократии с зарождающейся монархией, конфликта, в котором перевес явно склоняется на сторону последней. Причем если даже этот эпизод недостоверен, то показательна сама легенда — она ведь тоже факт истории и свидетельствует о неких сдвигах в социальном сознании.

Используя эту схему как критерий сравнительной значимости исторических фактов, мы можем приступать к отбору источников. На практике, однако, всегда бывает трудно провести четкую грань, отделяющую

источники, содержащие действительно ценную историческую информацию, от источников, которые такой информации не содержат. Ведь, во-первых, кроме прямой информации о тех или иных событиях или процессах почти из каждого источника можно извлечь и немало всякого рода косвенных сведений, связанных цепной многостепенной зависимостью. Но всегда очень трудно бывает сразу с ходу оценить значение косвенных сведений, вытекающих из данного источника.

Во-вторых, чем глубже мы забираемся в прошлое, тем все реже, беднее и скуднее становятся источники: время разрушает их, не считаясь с их ценностью. Поэтому нередко сообщения о фактах, как будто не столь уж и значительных, имеют тем не менее огромную ценность для современного историка. Пусть события, о которых сообщает наш источник, не были для своего времени ни влиятельными, ни узловыми, ни даже стереотипными, пусть они стояли далеко от магистральных путей исторического прогресса, но ведь зачастую горстка таких сообщений — это все, что осталось от истории целой эпохи, народа или цивилизации. Явления, о которых мы узнаем из этих сообщений, оказываются путеводными и могут с полным на то правом быть причисленными к пятой категории исторических фактов.

От мастерства историка зависит, сумеет ли он по этим немногочисленным уцелевшим уликам восстановить целостную картину далекой эпохи, добраться до главных ее тенденций. «Я потому историк, — говорил о себе Б. Г. Нибур, — что могу из единично сохранившегося построить целостную картину». Недаром у архивистов существуют пороговые предельные даты, глубже которых селекция источников вообще не допускается: все письменные источники, происходящие из предшествующего времени, а осталось их уже не так много, подлежат сбережению. После революции этой «запретной» датой был определен 1811 г., позже дата была передвинута к 1825 г., а ныне пределом считается 1861 г.

В-третьих, четко отделить источники безусловно полезные от безусловно бесполезных трудно еще и потому, что интересы историков и их требования к научной информации все время меняются. Историков XVIII в., например, мало занимали экономические проблемы, жизнь народных низов и сообщения такого разряда не имели статуса исторических источников. Теперь же эти вопросы составляют самую сердцевину исторической проблематики. Зато такие вещи, как, скажем, дворянские родословные или различные тонкости геральдической науки, некогда заключавшие в себе огромную притягательность для историков, теперь отодвинулись на отдаленную периферию круга их интересов или даже совсем вышли из этого круга.

В-четвертых, сами критерии приложимости информации о прошлом, ее научной ценности весьма относительны. Все зависит от того, какую именно информацию историк хочет получить, обращаясь к тому или иному источнику. Потому один и тот же источник при разном подходе может быть по-разному оценен. Один историк отбросит его как ненужный хлам, другой заинтересуется и включит в работу. Уже упоминавшийся «Курьер Долименте», конечно, не обогатит историю содержащими в нем сообщениями. Но сам выпуск этого журнала можно рассматривать как примечательный факт, характеризующий претензии и возможности крупных капиталистов в Бразилии второй половины XX в., а также зависимость прессы от капитала.

Из всего сказанного можно сделать один важный и на первый взгляд парадоксальный вывод: историческая информация не содержится в источнике в чистом и готовом к употреблению виде, как молоко в кувшине. Однако она и не привносится в источник откуда-то извне. Она вырастает из сообщений источников о прошлом (потенциально, но только потенциально эти сообщения могут считаться исторической информацией) по мере того, как они (эти сообщения) втягиваются в научный оборот, подвергаются анализу и другим необходимым операциям. Иначе говоря, информация не вытекает сама из источника, как из наклоненного кувшина. Ее нужно уметь извлечь оттуда, выжимая источник, как тюбик пасты или как бурдюк с вином (это образное сравнение принадлежит Л. С. Клейну). Количество же и качество извлеченной из источника информации зависит не только от количества сведений, вложенных в него его создателями, но и от того, кто и как эту информацию извлекает и потребляет.

Таким образом, если не все источники, информирующие о прошлом, суть исторические источники, то все они заслуживают тщательной проверки на пригодность в этом плане, любые из них еще могут в будущем оказаться таковыми, и все нуждаются в бережном отношении. Советские теоретики источниковедения подумывают сейчас о том, не включить ли в понятийный аппарат этой дисциплины особую категорию — «потенциальный исторический источник», или «предысточник». Не обладая некоторыми познавательными характеристиками источника, предысточник может равняться с ним своими потенциями и вправе претендовать на соответствующее к себе отношение.

Более полувека назад известный русский историк-источниковед А. С. Лаппо-Данилевский сделал парадоксальный вывод: «Пока историк не подверг данный исторический материал предварительному исследованию, он не может признать его историческим источником». По своим взглядам Лаппо-Данилевский был неокантианцем, последователем

Риккерта. Тем не менее многие из высказанных им идей созвучны тем выводам, к которым приходят сейчас и весьма далекие от неокантианства историки-марксисты.

В некоторых работах недавнего времени, например в статьях советского исследователя Шмидта, в книге Л. С. Клейна, на первый план выдвигается проблема так называемой стадиальности исторического источника. Имеется в виду, что на разных стадиях его освоения историком источник обладает различными качествами и функциями и предъявляет различные методические требования; сливать их воедино нельзя. Близка этой идее и концепция «историографического факта», выдвинутая польскими историками (я уже упоминал о ней прежде). Согласно этой концепции, следует отличать от «исторического факта», т. е. от реального фрагмента исторической действительности, «факт историографический», т. е. научно-познавательный образ, реконструкцию прошлого, осуществляемую историком на основе изучения источника.

Таким образом, идея, как говорится, витает в воздухе. Если она привьется, мы сможем более дифференцированно подходить к имеющейся у нас информации о прошлом и, не уравнивая все виды этой информации по их научной значимости, в то же время оставлять открытой возможность использования любого из этих видов.

Если суммировать все эти соображения в одной краткой дефиниции, то мы сможем дать следующее определение понятию «исторический источник». Исторический источник — это любой объект, доступный исследователю и содержащий информацию о фактах прошлого, имеющих познавательно-историческое значение.

Мы не будем сейчас специально останавливаться на давно уже являющемся предметом дискуссии вопросе о наилучшем способе классификации источников. Таких способов существует довольно много: их можно группировать по эпохам, по территории, по темам научного исследования, по происхождению и т. д. Многие историки продолжают и сейчас придерживаться традиционной, стихийно сложившейся классификации, предусматривающий разделение всех источников на письменные, вещественные, языковые, фольклорные и т. д. В таком делении есть свой резон. В сущности, в основу его положен способ отражения исторической действительности в каждом отдельно взятом виде источников. Если перевести эту мысль на современный научный язык, то можно сказать, что это есть не что иное, как классификация по способу кодирования и хранения информации в источнике (определение принадлежит видному советскому источниковеду Л. Н. Пушкареву). Информация, заключенная в любом источнике, может рассматриваться как

сообщение, составленное в той или иной знаковой системе или зашифрованное в том или ином ключе. Чтобы прочесть это сообщение, т. е. извлечь из источника информацию, нужно знать этот ключ (или код), а он у каждого вида источников свой особенный. Если сделать еще один шаг в том же направлении, то можно сказать, что мы должны различать среди имеющихся у нас исторических источников, как и вообще среди любых источников информации о прошлом, источники речевые или словесные (письменные и устные), поведенческие (обычаи, обряды, игры и т. п.), вещественные и изобразительные (произведения искусства).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КРИТИКИ ИСТОЧНИКОВ (по М. Блоку[3])

«Из всех ядов, способных испортить свидетельство, самый вредоносный — это обман». Так говорит М. Блок в своей «Апологии истории» (с. 53). Сознательные искажения информации, содержащейся в источниках, встречаются довольно часто и бывали довольно многообразны. В какой бы области исторической науки ни работал исследователь, его на каждом шагу подстерегают фальшивки, сознательно, с определенным умыслом, а иногда и без оного сфабрикованные документы, надписи, литературные произведения, принадлежащие совсем не тем авторам, которые значатся в заглавии, датируемые гораздо более поздним временем, нежели можно заключить при поверхностном ознакомлении с их содержанием.

Примеров такого рода можно привести сколько угодно: христианские интерполяции в текстах античных авторов Тацита и Иосифа Флавия, уже упоминавшийся «Дар Константина» и множество других подложных хартий и грамот, сочинявшихся в разных местах средневековой Европы, огромное количество поддельных завещаний выдающихся исторических деятелей (вроде пресловутого «Завещания Петра Великого»), мемуаров и исторических записок, например мемуары А. О. Смирновой-Россет, написанные ее дочерью, записки французской авантюристки Омэр де Гелль, сочиненные одним из сыновей П. А. Вяземского, наконец, лавина поддельных древностей, производство которых в некоторых странах (Египте, Греции, Италии) поставлено на промышленную основу. Чаще всего фальсификаторы преследуют какую-нибудь корыстную цель. С такой целью было создано подавляющее большинство, например, подложных дипломов, папских декретов и капитуляриев, которые фабриковались в огромном количестве в различных европейских странах в основном в промежутке с VIII по XII в. Закрепить

[3] *Блок М.* Апология истории, или Ремесло историка. 2-е изд. / пер. Е. М. Лысенко. Примеч. и статья А. Я. Гуревича. М.: Наука, 1986.

за какой-нибудь церковью оспариваемое имущество, поддержать авторитет римского престола, защитить монахов от епископа, епископов от архиепископа, папу от светских владык, императора от папы и т. д. — к этому обычно сводились намерения составителей подложных документов.

Нередко к подобным фальшивкам прилагали руку люди безупречной набожности и добродетели, и это не оскорбляло общепринятую мораль. Что касается плагиата, то он в те времена считался самым невинным делом: анналист, агиограф (составитель житий святых) без зазрения совести присваивали себе целые пассажи из сочинений более древних авторов. Так, Эйнхард, биограф Карла Великого, весьма успешно эксплуатировал в этом плане «Жизнеописания двенадцати цезарей» Светония.

Не только античность и средневековье, но и Новое время дает сколько угодно примеров исторических фальшивок, изготовленных с определенной политической или иной корыстной целью. Один из наиболее известных случаев такого рода — уже упоминавшееся «Завещание Петра I», будто бы вывезенное из России знаменитым кавалером Де Еоном. Эта антирусская фальшивка, скорее всего изготовленная во Франции в начале XIX в., имела своей целью изолировать Россию на международной арене, внушив соседним державам и народам страх и предубеждение против великой Северной империи. Другой пример из этой же серии — знаменитые «Протоколы сионских мудрецов» — фальшивка, якобы содержавшая протоколы заседаний руководителей сионистского движения в Базеле в 1897 г. Итогом этих заседаний была выработка плана установления на развалинах христианской цивилизации еврейского мирового господства (совместно с франк-масонами во главе с «царем из дома Сиона»). Подложность этого документа была вскрыта в 1921 г. английским журналистом Грейвзом, который продемонстрировал его подозрительное сходство с сатирой М. Жоли на Наполеона III («Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье», 1864). Исследования русского историка В. Бурцева показали, что «Протоколы» были изготовлены царской охранкой, использовавшей кроме сатиры Жоли также и другие источники. В 1935 г. специальный суд, заседавший в Берне, официально объявил «Протоколы сионских мудрецов» фальшивкой.

Довольно часто фальсификатор руководствуется в своей работе единственной мыслью — как бы подороже сбыть изготовленную им подделку. Политические и всякие иные последствия подлога его мало волнуют. Такими побуждениями руководствуется большинство изготовителей поддельных античных статуй, ваз, монет, ювелирных изделий и т. д.

Классический пример подделки этого рода — знаменитая тиара скифского царя Сайтоферна, изготовленная в 1896 г. одесским ювелиром Рухомовским и проданная в Лувр за 200 тыс. франков. Подделка была разоблачена в 1903 г.

Известно, однако, немало случаев, когда фальсификатор берется за дело не с целью наживы и не ради грязной политической интриги, а обуреваемый самым благородным честолюбием, стремлением продемонстрировать всему миру свое профессиональное мастерство, наконец, просто из любви к мистификациям. Известный французский эпиграфист и археолог Франсуа Ленорман, член так называемого Института, начал свою научную карьеру, когда ему было всего лишь 17 лет, тем, что мистифицировал своего отца, тоже видного ученого, мнимым открытием древних надписей в местечке Ла-Шапель-Сент-Элуа.

Бывали периоды, когда страсть к фабрикации фальшивок распространялась как эпидемия, поражая целые поколения ученых или писателей. Таким опасным периодом был, например, рубеж XVIII–XIX вв., когда «по всей Европе, — по выражению М. Блока, — звучала мощная симфония подделок». В это время появились и сразу же приобрели огромную популярность псевдокельтские поэмы, приписанные Оссиану, мнимосредневековые стихи Клотильды де Сюрвиль, якобы переведенные с хорватского песни Мериме «Гусли, или Избранные песни иллирийцев» (1827) (как известно, эту подделку принял за подлинник Пушкин), героические чешские песни из так называемой Краледворской рукописи и многие другие сочинения того же жанра.

Одним из величайших фальсификаторов XIX в. был француз Врен-Люка. Он изготовил и сумел сбыть фальшивые автографы Пифагора, Александра Македонского, Клеопатры и других великих людей. В 1857 г. он продал во Французскую академию наук целую пачку неизданных писем Б. Паскаля. Из них явствовало, что Паскаль задолго до Ньютона открыл закон всемирного тяготения. Однако англичанина, ознакомившегося с этими письмами, поразило то обстоятельство, что в них были использованы астрономические выкладки, произведенные через много лет после смерти Паскаля. Врен-Люка был не из тех, кого можно сбить с позиции такими пустяками. Он снова засел за свой письменный стол и вскоре изготовил новую партию писем. На сей раз они были подписаны Галилеем и адресованы Паскалю. Все сразу встало на свои места: оказывается, знаменитый астроном произвел наблюдения, а Паскаль — вычисления. Оба при этом действовали втайне от всех. Правда, Паскалю в день смерти Галилея было всего лишь 18 лет. Но, по мнению Врен-Люка, это могло лишь служить поводом для восхищения столь ранним расцветом его гения.

Откровенную подделку вроде тех, изготовлением которых занимался Врен-Люка, можно сравнительно легко разоблачить. Гораздо труднее выявить более коварные формы фальсификации, например интерполяции или вставки в тексте древнего автора, сделанные каким-нибудь поздним переписчиком или редактором обычно с целью улучшения или поправки оригинала. Еще труднее поймать за руку недобросовестного историка, который сам сознательно и последовательно искажает или приукрашивает те факты, о которых он пишет.

Особенно трудно это сделать там, где в нашем распоряжении нет никаких параллельных свидетельств, используя которые, мы могли бы уличить лжеца. Так обстоит дело, например, со знаменитыми «Записками» Цезаря. Среди современников божественный Юлий не пользовался репутацией особенно правдивого писателя. Тем не менее для нас его книга остается, в сущности, единственным источником по истории завоевания Галлии. Поэтому проверить правдивость показаний Цезаря мы практически не в состоянии.

Однако достаточно часто историки и мемуаристы, как древние, так и современные, становятся жертвами добросовестных заблуждений и ошибок. Эти заблуждения проистекают из той общественной особенности человеческой психики, что никто не способен удержать в памяти во всех деталях то, что он видит перед собой или слышит своими ушами. В особенности это относится к таким важным историческим событиям, как сражения, восстания и другие аналогичные эпизоды, в которых участвуют большие массы людей, обстановка меняется почти мгновенно и чуть ли не каждую минуту, а сами участники и очевидцы события до крайности возбуждены, находятся во власти сильного эмоционального смятения. Естественно, что в таких условиях мало найдется людей, которые были бы способны достаточно четко и ясно зафиксировать все важные детали, имеющие первостепенное значение для исторической науки (Толстой о Наполеоне в «Войне и мире»).

К тому же даже о том, что происходит у них на глазах, люди, как правило, судят предвзято. Можно сказать, что еще до того, как событие произошло, каждый из его участников уже имеет в голове готовую схему события, в которую он стремится втиснуть все то, что он видит перед собой, и если факты не укладываются в эту схему, тем хуже для них: одни будут отброшены в сторону, как будто их вовсе не было, другие подвергнутся перетасовке. Ясно также, что, если в событии участвуют две враждующие группы людей, каждая из них постарается создать свою версию того, что произошло, и опровергнуть то, что будут говорить враги. Вследствие всего этого мы, вероятно, так никогда и не узнаем, кто же положил начало пожару Москвы 14 сентября 1812 г.: французские

мародеры или же отчаявшиеся русские патриоты. По правилу, сформулированному еще Эфором в IV в. до н. э., каждый слишком обстоятельный рассказ о событиях прошлого должен внушать нам сильные подозрения в правдивости рассказчика. Подробнейшие описания сражений и всяких других происшествий, которые мы находим у древних и не только древних авторов, скорее всего в значительной своей части следует отнести за счет богатого воображения историков, причем многие из них чистосердечно полагали, что все так и было на самом деле, как они об этом пишут.

Конечно, после всех этих хирургических операций над традицией мы рискуем оказаться в пустоте, в которой редкими опорными точками останутся банальные истины вроде таких утверждений, как «Цезарь и Помпей были римскими полководцами» и «Цезарь победил Помпея». Ни одну из этих истин нельзя, конечно, опровергнуть, но и пищи для ума они дают очень мало и никак не могут служить основанием для какой бы то ни было научной теории. К счастью, в нашем распоряжении еще остается довольно много фактического материала, который засуживает безусловного доверия и позволяет тем или иным способом корректировать показания недостоверных или малодостоверных источников. Правда, материал этот распределен во времени крайне неравномерно. Чем дальше в глубь веков, тем его становится все меньше и меньше. Поэтому событийная история древности и средневековья может быть восстановлена сейчас лишь в самых общих и приблизительных своих очертаниях с огромным количеством пробелов. Не следует забывать о том, что в эти эпохи основная масса информации как о самых важных, так и о второстепенных событиях в течение долгого времени передавалась изустно. Проходило нередко много лет прежде, чем событие фиксировалось в письменном виде в какой-нибудь хронике или другом историческом сочинении. Геродот поведал миру о Марафонском сражении спустя по меньшей мере 50 лет после того, как оно произошло, и у нас нет никакой уверенности в том, что он мог опираться в этой части своего труда на какие-нибудь письменные свидетельства, так как их скорее всего еще не существовало. А это значит, что он мог использовать лишь свидетельства очевидцев, да и то, по-видимому, полученные не из первых рук. В таких условиях создается необыкновенно благоприятная почва для возникновения ложных слухов, всевозможных легенд и мифов, которые недостаточно критически настроенный историк (тот же Геродот) легко может принять на веру.

Не следует, однако, думать, что мифотворчество ушло далеко в невозвратное прошлое. Атмосфера, в которой рождаются мифы, возника-

ет при каждом значительном социальном потрясении, когда рушатся привычные связи между отдельными людьми и человеческими коллективами, перестают действовать привычные источники информации: газеты, радио, телефон. М. Блок, прошедший рядовым солдатом окопную школу Первой мировой войны, изображает именно такую ситуацию (см. с. 60–61).

Любая критика источников опирается на сравнение целого ряда однопорядковых свидетельств. Предположим, что от какой-то исчезнувшей цивилизации сохранился лишь один предмет. Мы будем не в состоянии ни датировать эту единичную находку, ни оценить ее подлинность. Примером может служить знаменитый Фестский диск, который хотя и был найден на Крите в развалинах царской виллы Агиа-Триада близ Феста, тем не менее настолько резко выпадает из общего контекста критской минойской культуры, что ничего определенного о его происхождении мы до сих пор сказать не можем.

Более или менее точное установление датировки источника, его проверка и истолкование возможны лишь при условии его включения в хронологический ряд или синхронный комплекс. Жан Мабильон создал дипломатику, сопоставляя меровингские грамоты то одни с другими, то с текстами иных эпох или иного характера. Такая отрасль источниковедения, как экзегетика (толкование текстов), родилась из сопоставления библейских и евангельских рассказов.

Сравнение источников — единственный путь к выяснению истины. Только таким путем мы можем установить, кто из авторов, рассказывающих о том или ином событии, прав, а кто заблуждается добросовестно или, напротив, сам пытается ввести нас в заблуждение. Рассмотрим один простейший случай такого рода. Французский генерал Жан Батист Марбо в молодости участвовал в наполеоновских войнах. На склоне лет им были написаны «Мемуары», пользовавшиеся в свое время большой популярностью особенно среди молодых читателей. В одной из глав этого сочинения рассказывается о замечательном подвиге, совершенном автором «Мемуаров» в ночь с 7 на 8 мая 1809 г. Если верить Марбо, он переплыл в лодке через бурные волны разлившегося Дуная и на другом берегу реки захватил в плен несколько австрийцев, которых затем тем же путем доставил обратно. Этот рассказ, как и другие сообщения Марбо, был подвергнут тщательной проверке, и вот что удалось установить. Во-первых, официальные документы (приказы по армии, походные журналы, донесения) свидетельствуют о том, что в знаменитую ночь с 7 на 8 мая австрийский корпус, чьи палатки Марбо нашел, по его словам, на левом берегу Дуная, еще занимал противоположный берег. Во-вторых, из «Переписки» самого Наполеона

следует, что 8 мая разлив реки еще не начался. Наконец, было найдено прошение о производстве в чине, написанное самим Марбо 30 июня 1809 г. Среди заслуг, на которые он там ссылается, нет ни слова о славном подвиге, совершенном в мае. Итак, с одной стороны — «Мемуары», с другой — ряд текстов, их опровергающих. Что считать более правдоподобным? Что там же, на месте, и штабы, и сам император допустили грубые ошибки; что сам Марбо, мечтая о повышении, из ложной скромности умолчал о своем геройском поступке? Или же что много времени спустя старый воин решил обогатить свое славное прошлое еще одним блестящим эпизодом в твердой уверенности, что теперь уж никто не сможет уличить его во лжи? Очевидно, здесь не может быть никаких колебаний: автор «Мемуаров», конечно же, грубо говоря, заврался.

Приведенный пример демонстрирует один из самых распространенных приемов критики источников. Устанавливается разногласие между двумя или несколькими свидетельствами. Сравнение свидетельств с точки зрения их достоверности ведет к тому, что одно из них признается ложным.

Этого требует один из главных логических постулатов: закон противоречия категорически не допускает, чтобы какое-то событие могло произойти и в то же время не произойти. Но как сделать выбор между тем свидетельством, которое надлежит отвергнуть, и тем, которое должно быть принято? Это решает психологический анализ: мы взвешиваем возможные мотивы правдивости, лживости или заблуждения свидетелей и после делаем свои выводы. Конечно, далеко не во всех случаях эти выводы кажутся такими бесспорными, как в только что разобранном примере с «Мемуарами» Марбо.

Возьмем еще несколько примеров.

Нам попалась средневековая грамота, датированная, скажем, XII в. Уже внешний вид ее наводит на сильные подозрения: она написана на бумаге, тогда как все известные нам подлинные документы этого периода писались на пергаменте; форма букв в ней сильно отличается от той, которую мы видим в других документах того же времени; мы начинаем читать текст и обнаруживаем, что он изобилует словами и оборотами, чуждыми языку документов XII в. Из всего этого мы с полным основанием заключаем, что грамота поддельная. Как и в предыдущем случае, приговор будет вынесен на основании противоречия в источниках, но исходя из соображений уже иного рода. В данном случае наша аргументация будет строиться на том, что в пределах жизни одного поколения, в рамках одного и того же общества обычно существует такое единообразие обычаев и языка, что ни один индивид не может

слишком далеко отойти от общепринятой практики. Мы считаем почти бесспорным, что все французские писцы, жившие в XII в., во времена Людовика VII, выписывали буквы одним и тем же способом, употребляли одни и те же слова и стилистические обороты, использовали для письма одни и те же материалы. Наша уверенность основывается в данном случае на тысячелетнем опыте человечества, который свидетельствует о высокой степени единообразия культуры в пределах каждой отдельной исторической эпохи и каждого географического региона, хотя встречаются и исключения из этого правила, о которых надо говорить особо.

Нехорошо, когда свидетельства источников противоречат друг другу, но, пожалуй, еще хуже, когда они буквально повторяют друг друга. Если два свидетеля рассказывают об одном и том же событии одними и теми же словами, уснащая свой рассказ совершенно одинаковыми подробностями, мы без колебаний делаем вывод, что один из этих свидетелей на самом деле является лжесвидетелем, что он просто списал у другого, или возможен и такой вариант: оба они списали у какого-то третьего.

Бывает и так, что два историка рассказывают о разных событиях, например о двух сражениях, происходивших в разных местах и в разное время, но опять-таки одними и теми же словами и в той же последовательности основных эпизодов. Совершенно ясно, что и здесь мы имеем дело со случаем откровенного плагиата, возможно даже массового, если предположить, что оба историка использовали какой-то общий, выработанный задолго до них шаблон изображения батальных сцен. Такими вещами особенно грешили греческие и римские историки риторической школы, писавшие историю в тиши своих кабинетов, не имевшие никакого практического опыта в военном деле.

Как правило, плагиаторы выдают себя своими промахами. В случае если они не поняли текста, послужившего им образцом, сама их бессмыслица изобличает мошенничество. Примером такого плагиатора в античной историографии может служить Диодор Сицилийский, обычно подряд переписывавший сочинения своих предшественников, но иногда позволявший себе делать пропуски. И вот, забывшись, он несколько раз автоматически выписывает из какого-то своего источника фразу: «Как мы уже и раньше говорили», хотя проверка показывает, что на самом деле он об этих фактах ничего раньше не говорил. Подобные же нехитрые промахи допускают обычно студенты, тайно переписывающие на экзамене страницы учебника. Так как работа эта требует большой спешки и осторожности, незнакомые имена

и специальные термины безжалостно перевираются, что тут же и выдает переписчика.

Разоблачая плагиаторов и копиистов, мы, естественно, сокращаем число источников, но зато таким образом у нас остаются самые достоверные свидетельства. Когда мы убеждаемся в том, что Тит Ливий в своем рассказе о Второй Пунической войне более или менее близко следовал за Полибием, хотя и пытался приукрасить его сообщения, мы можем со спокойной совестью отложить в сторону Ливия и читать одного только Полибия. Когда Эйнхард, изображая Карла Великого, почти дословно повторяет характеристику Августа, принадлежащую Светонию, мы с горечью вынуждены признать, что о реальном Карле мы знаем совсем немного, так как он, конечно, не мог быть простым слепком с Августа.

Бывает и так, что за мнимым свидетельством источника прячется некий суфлер, который не желает себя прямо назвать. И это опять-таки позволяет установить сравнение свидетельств.

Изучая документы процесса по делу ордена тамплиеров, американский историк Генри Ли сделал интересное наблюдение. Он установил, что, когда два обвиняемых, принадлежавших к различным разрядам орденской братии, допрашивались одним и тем же инквизитором, они неизменно признавались в одних и тех же зверствах и кощунствах. Но если двое обвиняемых, даже входивших в один разряд, попадали на допрос к разным инквизиторам, их признания уже не совпадали. Сам собою напрашивается вывод, что ответы диктовал тот, кто допрашивал.

Существующие приемы критики источников представляют собой очень тонкие (даже нежные) инструменты и требуют чрезвычайно осторожного обращения. Дело в том, что почти все логические принципы, действующие в этой области, если пользоваться ими без должной осторожности, могут привести к прямо противоположным результатам. Опаснее всего здесь впадение в крайность, т. е. доведение того или иного приема до логического абсурда. Как мы уже видели, большую роль в установлении подлинности или, наоборот, неподлинности свидетельств источников играет критерий сходства. Но если неукоснительно придерживаться этого критерия, мы можем зайти слишком далеко и станем оспаривать открытие, которое всегда сталкивает науку с чем-то неожиданным, с неким отклонением от нормы. До сих пор не удалось найти ни одной греческой надписи, которая датировалась бы временем ранее третьей четверти VIII в. до н. э. Но если завтра какой-нибудь археолог все же найдет такую надпись, неужели мы признаем ее подделкой? Скорее, напротив, мы должны будем признать, что наши

представления о распространении письма в Греции в столь раннее время были до сих пор неполными и теперь следует их откорректировать и дополнить.

Рутинное мышление, рутинная эрудиция в науке — вещи чрезвычайно опасные. Можно привести длинный список замечательных открытий, отрицавшихся приверженцами научной рутины лишь потому, что они казались слишком уж неожиданными. Еще Вольтер никак не мог поверить в то, что египтяне действительно обожествляли животных, и потешался над учеными, которые всерьез это утверждали. Золотые маски, открытые Шлиманом в микенских шахтовых могилах, многие поспешили объявить поддельными, поскольку ничего даже отдаленно напоминающего эти изделия в Греции до сих пор не находили.

Все эти соображения не означают, конечно, что до сих пор с успехом применявшийся в источниковедении критерий сходства должен быть отброшен. Нужно лишь следить за тем, чтобы в каждом конкретном случае точный анализ определял пределы возможных отклонений от нормы. Ибо каждое индивидуальное и неповторимое явление в истории имеет свои границы, которые оно не может переступить. В каждом историческом факте индивидуальное тесно сплетено с типическим. Ни один факт, как бы ни был он необычен и оригинален, не может вырваться из своей эпохи и перестать быть одним из звеньев длинной цепи, тянущейся через всю историю человечества. «В тот день, — пишет М. Блок, — когда новый Врен-Люка, бросив на стол в Академии пачку автографов, захочет нам доказать, что Паскаль открыл принцип относительности еще до Эйнштейна, мы без обиняков скажем, что его бумаги поддельны. Не потому, что Паскаль был неспособен открыть то, чего не открывали его современники, а потому, что теория относительности была открыта в результате долгого развития математических умозаключений. Ни один человек, будь он даже самым великим гением, не мог бы самостоятельно проделать эту работу поколений» (с. 70). По этой же причине мы не можем принять на веру рассказ Платона о блестящей цивилизации атлантов, достигшей расцвета за 10 000 лет до нашей эры, когда бóльшая часть человечества еще прозябала во мраке первобытной дикости.

Все сказанное выше дает, конечно, лишь весьма приблизительное представление о тех сложных приемах научного анализа, которыми приходится пользоваться современным историкам в их исследовательской работе. Их дальнейшая разработка и уточнение все чаще сталкивает нашу науку с проблемами логического или даже математического порядка. Так, решение целого ряда вопросов экономической и социальной истории невозможно без знания теории вероятности. Но, как

справедливо заметил все тот же Блок, «Беда не только в чрезвычайной сложности данных, но и в том, что сами по себе они чаще всего не поддаются переводу на язык математики. Как, например, выразить в цифрах особое предпочтение, которым пользуется в данном обществе некое слово или обычай? Мы не можем избавиться от наших трудностей, переложив их на плечи Ферма, Лапласа и Эмиля Бореля. Но так как их наука находится в некотором роде на пределе, не достижимом для нашей логики, мы можем хотя бы просить ее, чтобы она со своих высот помогала нам точнее анализировать наши рассуждения и вернее их направлять» (с. 74).

Истории не ведал древний грек, —
Он так боялся беспредельной дали!..
Но летописец взял перо, —
И бег истории вдруг люди осознали.

Е. Винокуров. История

ЗАРОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Древняя Греция по праву считается родиной исторической науки. Однако, как это ни странно, в научной литературе довольно часто высказывается парадоксальное мнение, что по своему мировоззрению, по самому складу мышления греки были едва ли не самым антиисторичным или аисторичным народом древнего мира, поскольку им не было свойственно живое чувство истории как течения времени. Впервые эта мысль была высказана знаменитым немецким философом О. Шпенглером, автором нашумевшего «Заката Европы»[4]. В своей книге Шпенглер охарактеризовал мысль греков как геометрическую, визуальную, ориентированную главным образом на пространство, а не на время и поэтому по своей природе аисторичную.

Тезис Шпенглера, естественно, вызвал самые резкие возражения со стороны филологов-классиков и историков античности. От их имени в спор со Шпенглером вступил сам великий Виламовиц-Меллендорф. Он еще раз напомнил о великих заслугах греческих историков Геродота и Фукидида и указал, что «вся наша историография основывается на началах, заложенных греками, равно как и наши естественные науки». Другие народы древнего мира, и в том числе семиты, истории как науки в строгом смысле этого слова, по мнению Виламовица, никогда не знали. «У семитов, — пишет он, — отсутствовало то самое качество, которое позволило грекам превратить историографию в определенного рода искусство. Они имели исторические сочинения, но не имели историков». Еще более определенно высказался на этот счет другой немецкий филолог В. Шадевальд: «Способность греков мыслить исторически и писать историю заложена в сути этого гениального народа. До греков народы

[4] *Spengler O.* Untergang des Abendlandes, Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. München, 1918. (*Шпенглер О.* Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993.)

лишь переживали и делали историю. Но они не писали истории, потому что то, что они совершали, они не понимали как историю».

Тем не менее идея Шпенглера оказалась весьма живучей. В последнее время ее усиленно поддерживают и развивают некоторые западные философы и теологи, порицающие греков за недостаток историзма в их мышлении и противопоставляющие им в этом плане создателей Ветхого завета. С точки зрения норвежского теолога Бомана, даже Фукидид был далек от подлинного историзма, ибо история понималась им как вечное повторение одних и тех же событий и явлений. Статизму греческой мысли Боман противопоставляет библейский динамизм. Ветхозаветные книги пронизаны, по мнению Бомана, глубоким чувством историзма, а сама история воспринимается авторами Библии как непрерывное движение. Там, где Боман обнаруживает в эллинском мышлении элементы динамики, он приписывает их восточному влиянию. Так он поступает, например, с не укладывающейся в его схему диалектикой Гераклита, объявляя ее негреческим, заимствованным на Востоке учением.

Аналогичные суждения можно встретить сейчас и в работах некоторых советских исследователей, написанных в жанре популярной сейчас культурологии[5].

Не вдаваясь в рассмотрение возникающих в этой связи сложных философских проблем, и прежде всего проблемы временных представлений древних греков, попытаемся хотя бы в самых общих чертах представить себе вклад, внесенный в изучение прошлого другими народами древнего мира, и прежде всего народами Востока, с тем чтобы затем более объективно оценить то, что было сделано в этой области греками.

Зачатки исторических знаний появились на Востоке вместе с переходом от варварства к цивилизации и возникновением государства и письменности. Государство было тем субъектом, который проявил прямую заинтересованность в фиксации и сохранении памяти о событиях прошлого. Письменность обеспечивала материальную техническую возможность такой фиксации. Древнейшей формой исторических записей может считаться летопись или хроника, возникшая в Египте уже в эпоху Древнего царства. В своем простейшем виде египетская хроника представляла собой перечень фараонов той или иной династии, составленный в той последовательности, в которой они сменяли друг друга на египетском престоле. Рядом с именем каждого фараона кратко перечислялись важнейшие события его царствования: религиозные

[5] Примером могут служить некоторые высказывания, содержащиеся в известной книге С. С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы». М., 1977 — см. с. 90 сл. Подробнейшим образом разработана мысль об ограниченности греческого или вообще античного историзма в книге А. Ф. Лосева «Античная философия истории». М., 1977.

празднества, строительство храмов, большие торговые и военные экспедиции и т. д. Типичным примером такой хроники может служить знаменитый «камень из Палермо» — кусок черного диорита с вырезанными на нем записями о правлении фараонов первых пяти египетских династий (первая половина III тыс. до н. э.). Безымянные авторы летописи сообщают о постройке кораблей из кедрового дерева, о походах в страну черных, о захвате пленных, постройке крепостей и тому подобных событиях. Для каждого года особо отмечается высота воды в Ниле. Летопись такого рода, конечно, еще весьма далека от настоящего исторического рассказа. Она представляет собой всего лишь механическую фиксацию событий без попыток установления причинно-следственной связи между ними, без попыток нравственной или какой-то иной оценки сообщаемых фактов. Составлявшие хронику писцы явно не стремились к тому, чтобы каким-то образом осмыслить исторические явления и процессы. Единственной их целью было увековечить память о славных деяниях того или иного правителя Египта. Личность самого историка обычно отсутствует в документах такого рода. Он никак не выказывает своего отношения к происходящим событиям. По видимости, его рассказ строго объективен. В действительности же уже древнейшие египетские хроники, тот же палермский камень, например, насквозь тенденциозны. В них явно преувеличиваются размеры захваченной добычи, число убитых врагов, тогда как о потерях египтян вообще ничего не говорится.

За тысячелетнюю историю Египта характер принятой здесь формы исторических записей практически так и не изменился. Летописи Нового царства и по форме, и по содержанию почти не отличаются от летописей Древнего царства. Само понятие истории, судя по всему, было незнакомо египтянам. В их языке мы не находим даже слова с таким значением. В египетском пантеоне мы не найдем божества, которое занимало бы место греческой музы Клио. Правда, у египтян была богиня судьбы Сешат с весьма многообразными функциями. Ей приписывали изобретение письма. Она считалась госпожой школ и библиотек, покровительницей писцов. Она же регистрировала захваченную фараонами военную добычу и по совместительству ведала также составлением анналов или придворных летописей. Уже один этот факт свидетельствует о подчиненном положении историографии в системе духовных ценностей египетской культуры. По существу, она была здесь всего лишь жалким придатком бюрократической машины теократического государства и уже в силу этого никогда не смогла бы превратиться в настоящую науку.

Примерно такую же картину наблюдаем мы и в других странах Древнего Востока. В богатейшей литературе Шумера исторический жанр

вообще не был представлен. Известный знаток шумерской культуры С. Крамер отмечает, что «в Шумере не было историографов в общепринятом смысле этого слова... Ни один из шумерских писцов и авторов, насколько нам известно, даже не пытался создать что-либо похожее на описание политической или общей истории Шумера... не говоря уже об истории остальной известной им части мира»[6]. Известный английский ученый Коллингвуд[7] также не находит у шумеров и других народов Востока «идеи истории» (т. е. определенной концепции прошлого данного народа или всего человечества). По его мнению, Восток знал лишь псевдоисторию, т. е. мифологию, в которой действующими лицами являются боги и герои, но не люди.

Вообще говоря, это не совсем верно. Идея истории, т. е. представление о ней как о едином закономерном процессе, действительно была чужда большинству народов Востока. Но стремление тем или иным способом передать потомкам информацию о важнейших исторических событиях, стремление к увековечению прошлого было присуще им всем. Мы уже говорили о египетских анналах, но многообразная историческая документация дошла до нас и от других восточных государств. Так, сохранились летописи хеттских царей, которые во многих случаях выходят довольно далеко за рамки официозного перечня побед и других свершений того или иного царя и приближаются к жанру настоящего исторического повествования. Исключительным богатством содержания отличается, например, «Автобиография» царя Хаттусилиса III (между 1283–1260 гг. до н. э.). В ней рассказывается о испытаниях, выпавших на долю хеттского царевича после смерти его отца, о том, каким нелегким был его путь к престолу. Все свои успехи Хаттусилис объясняет тем неизменным покровительством, которое оказывала ему хурритская богиня Иштар (ее культ был впервые введен этим царем в хеттский пантеон). Иштар спасала Хаттусилиса от болезней, очищала от клеветы, защищала от врагов, оправдывала все его действия, даже если они в чем-то не соответствовали нормам обычной морали.

По тем же принципам строятся и более поздние анналы ассирийских царей: Ашшурнасирпала (883–859 гг. до н. э.), Саргона II (722–705 гг. до н. э.) и других (*ил. 1–4*). Их авторы заботились о том, чтобы они не были слишком сухими и безжизненными, и, стремясь придать им законченную литературную форму, щедро начиняли свой рассказ вымышленными речами главных действующих лиц, подробно описывали страны, в которых развертывались завоевательные походы ассирийских

[6] *Крамер С.* История начинается в Шумере. М.: Наука, 1965. С. 47.

[7] *Коллингвуд Р. Дж.* Идея истории. Автобиография. М., 1980.

Ил. 1. **Статуя Ашшурнасирпала II.**
Песчаник. Кальху (совр. Нимруд). IX в. до н. э.

Ил. 2. Рельеф с изображением Ашшурнасирпала II.
Кальху (совр. Нимруд). IX в. до н. э.

Ил. 3. Царь Ашшурнасирпал II на львиной охоте. Нимруд.
Северо-западный дворец. IX в. до н. э.

Ил. 4. Финикийские корабли транспортируют ливанские кедры, вырубленные по приказу Ашшурнасирпала II для строительства дворца в Кальху. Рельеф из дворца Саргона II в Хорсабаде. Ок. 710 г. до н. э.

Ил. 5. Бехистунский рельеф

царей. Однако и здесь, как и в египетских летописях, мы не находим еще основного элемента настоящей историографии — личности самого историка, который выступал бы в роли беспристрастного судьи и оценщика происходящих событий, пытался бы понять их смысл и внутреннюю связь.

Все это заменяет здесь сплошной гром победных фанфар, велеречивое бахвальство царей-победителей, стремление во что бы то ни стало превзойти и затмить своих предшественников блеском и славой своих деяний. Само восхваление военных подвигов царей было сведено в ассирийских летописях к набору почти неизменно повторяющихся формул или клише. В этом наборе очень легко можно было заменить имя одного царя на имя другого, ничего не меняя по существу в самом рассказе, и такие фальсификации встречаются довольно часто. По той же уже проторенной хеттами и ассирийцами дороге шли и составители официозных исторических документов Персидской державы Ахеменидов. Наиболее известна среди них знаменитая Бехистунская надпись Дария I (*ил. 5*), посвященная важнейшим событиям в истории Персидского государства — восстанию Лжесмердиса (мага Гауматы) и приходу к власти самого Дария (522 г. до н. э.).

Все названные до сих пор образчики древневосточной историографии связаны лишь отдельными эпизодами или сравнительно короткими

периодами истории Египта, Хеттского царства, Ассирии, Персии. Единственная во всей древневосточной литературе попытка создания связной истории целого народа была предпринята безымянными авторами Библии — священной книги (или скорее книг) древних евреев. Можно сказать, хотя и с известными оговорками, что создатели ветхозаветной литературы продвинулись в осмыслении исторического процесса несколько дальше, чем авторы древневосточных летописей предшествующего периода. В Библии мы уже находим какое-то подобие целостной исторической концепции, своеобразную философию истории, подымающуюся над конкретными единичными фактами. Во многом этому, несомненно, способствовала историческая трагедия еврейского народа — гибель Израильского государства и вавилонский плен. Эти события обострили восприимчивость авторов Библии, расширили их исторический кругозор.

Было бы опасно, однако, чересчур преувеличивать вклад, внесенный книгами Ветхого завета в развитие мировой исторической науки. Едва ли правы те ученые, которые прямо утверждают в своих работах, что современное понимание истории коренится в ветхозаветных сказаниях. Библия объявляется тем самым колыбелью современной историографии. При этом, что само собой разумеется, отодвигаются далеко на задний план достижения греческих историков и философов, которым до сих пор принадлежал безраздельный приоритет в этой области. Сторонники этой концепции (в основном ее исповедуют философы, близкие к теологической школе, а также некоторые экзистенциалисты) исходят из представления о сугубой аисторичности и мифологичности, якобы свойственных греческому мышлению, противопоставляя ему сугубо историческое мышление авторов Ветхого завета. По поводу этого последнего тезиса удачно высказался итальянский историк С. Мадзарино: «Априори кажется абсурдным, что именно народ, которому мы обязаны крупнейшими произведениями историографии всего мира, рассматривается как аисторичный в своей основе».

Те, кто склонен преувеличивать историзм ветхозаветного мировоззрения, забывают обычно (или, может быть, просто нарочито делают вид, что забыли) о том немаловажном обстоятельстве, что Библия представляет собой историю особого рода. Это — «священная история», в которой главным действующим лицом и перводвигателем исторического процесса является Бог. Для авторов Библии Бог — первопричина всех происходящих в ней событий. Он активно вмешивается в жизнь своего избранного народа — иудеев, совершая на каждом шагу всевозможные чудеса. История здесь, таким образом, еще не отделена от теологии. Напротив, она почти безраздельно поглощена ею и служит ее орудием.

Религиозная доктрина древних иудеев всецело господствует в представлениях авторов Ветхого завета о исторической закономерности.

Подводя итог нашему краткому обзору древневосточной историографии, мы можем с полным основанием сказать, что ни один из народов Древней Передней Азии так и не сумел приблизиться к подлинно научному пониманию истории. Я подчеркиваю, что речь сейчас идет лишь о странах Передней Азии или Ближнего Востока, с которыми греки находились в состоянии непосредственных контактов, начиная по крайней мере со второй половины VIII в. до н. э. Что касается более удаленных частей азиатского материка, например Индии и Китая, то там положение могло быть иным. Некоторые специалисты по истории Дальнего Востока прямо утверждают, что китайская историография в своем развитии ушла столь же далеко, как и греческая[8]. Но даже если это действительно так, никакого влияния ни с той, ни с другой стороны здесь, конечно, быть не могло ввиду огромной географической удаленности этих двух культур.

С другой стороны, влияние культур Передней Азии на греческую культуру и на греческую историографию в частности не подлежит никакому сомнению. Недаром первые греческие историки Гекатей и Геродот были в то же время и первыми востоковедами. Оба много путешествовали по странам Востока и вывезли оттуда огромное количество всякой полезной информации. Геродот прямо говорит, что египтяне далеко превзошли греков в изучении прошлого. Они посрамили Гекатея, претендовавшего на происхождение от богов в шестнадцатом колене, показав ему статуи верховных жрецов фиванского Зевса, насчитывавших уже 345 поколений. Этим они не только «оспаривали происхождение человека от бога», но, как подчеркивает Геродот, показали, что их достоверные знания о прошлом простираются в глубь веков на 5 тыс. лет по меньшей мере, тогда как у Гекатея они не шли дальше Троянской войны. С не меньшим уважением отзывался о египетских жрецах как знатоках глубокой древности также Платон в диалоге «Тимей». Именно к ним он возводит в конечной инстанции происхождение легенды об Атлантиде. Необходимо, однако, сразу же уточнить, в чем именно могло заключаться влияние культур Востока на греческую историографию. Совершенно очевидно, что влияние это шло не столько по линии передачи идей или принципов научного исследования (и тем, и другим восточные мудрецы, в чем мы уже имели возможность убедиться, были не очень-то богаты), сколько по линии передачи фактического материала.

[8] См., например, статью акад. Н. И. Конрада «Полибий и Сыма-Цянь» // ВДИ. 1965. № 4 или в его же книге «Запад и Восток». 2-е изд. М.: Наука, 1972.

Однако и этот тезис не может быть принят без известных ограничений. Богатый фактический материал, заключенный в египетских анналах и других документах этого рода, был греческим историкам практически недоступен по той простой причине, что они не знали ни письменности, ни языка, на котором эти документы были написаны. В своих сочинениях они могли использовать лишь те факты, которые они могли видеть собственными глазами, и то, что удосужились им поведать их проводники или переводчики из местных жителей. О результатах такого обмена информацией мы можем судить хотя бы по тем совершенно фантастическим сведениям, которыми буквально напичкана история Египта в переложении того же Геродота. Нельзя не согласиться поэтому с мнением французского историка Д. Русселя[9], который писал не так давно: «Если восточные народы сыграли какую-либо роль в последующем возникновении греческой историографии, то не благодаря своей письменности, анналам или хроникам, но благодаря самому своему существованию, благодаря своим особым обычаям, определенным устным рассказам, которые были восприняты греческими колонистами и путешественниками».

Как и у всех народов древнего мира историческое мышление греков прошло в своем развитии через стадию мифологического осмысления прошлого. Классическая греческая историография выросла из мифологии и далеко не сразу порвала все нити, которые ее с ней связывали. Не следует думать, что это произошло уже в конце архаической эпохи, когда появились первые исторические труды, принадлежащие так называемым логографам. Еще и во второй половине V в., когда творили Геродот и Фукидид, по праву считающиеся основоположниками исторической науки, духовная атмосфера в Греции была буквально насыщена мифологией. Именно миф оставался для большинства греков единственным доступным и понятным способом осмысления прошлого, единственным способом логической организации всей той пестрой и хаотичной массы материала, которую память поколений хранила об этом прошлом. Для афинян поколения Геродота такие мифические персонажи, как Эдип, Агамемнон, Тезей, были, пожалуй, более живыми и реальными фигурами, чем многие действительно существовавшие исторические личности VII–VI вв. Исключение составляют, может быть, только Солон и Писистрат, но и они укоренились в памяти потомков лишь после того, как были возведены в ранг полумифических героев. Ежегодно персонажи мифов появлялись перед афинянами на театральной сцене во время больших религиозных празднеств, и это

[9] *Roussel D.* Tribu et Cite. Paris, 1976.

было еще одной гарантией их исторической подлинности. Набожные и благочестивые люди, а таких и в Афинах, и по всей Греции было в то время подавляющее большинство, не могли поверить в то, что древние герои, которым они молились, которых они чтили жертвами в святилищах, были всего лишь выдумкой поэтов и сказочников. Миф был великим наставником греков во всей их духовной жизни. Он учил их морали и нормам поведения. Из мифов узнавали они о происхождении и древней доблести знатных родов, о далеком прошлом целых государств и народов.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее самоопределение стоило истории стольких трудов, что она долгое время никак не могла вырваться из материнских объятий мифологии, а по существу, связывавшая их пуповина так никогда и не была по-настоящему разорвана. Не случайно сами греки всегда ставили историографию как особый литературный жанр на одну доску с поэзией и сравнивали их между собой. Такое сравнение проводит, например, Аристотель в «Поэтике». «Поэзия, — пишет он, — более философична и имеет больше веса, чем история, так как она говорит более о всеобщем, история же о частном. Под всеобщим я подразумеваю, что люди того или иного рода говорят или делают... Такова цель поэзии, поскольку она лишь дает собственные имена универсальным категориям. Под частным я понимаю то, что совершил Алкивиад, и то, что он испытал» (Arist. Poet. 1451b, 5–11). Нам это сопоставление может показаться и странным, и нелогичным. Для греков же оно было вполне закономерным. Они очень остро чувствовали родство обоих жанров, ибо хорошо помнили, что и поэзия, и история в равной степени ведут свое происхождение от мифологии, что было время, когда они обе еще составляли единое и неделимое целое. Первым великим поэтом и историком в одно и то же время был для огромного большинства греков Гомер (*ил. 6*). Они не только наслаждались красотой и звучностью эпического стиха, но и твердо верили почти каждому слову поэта. Каждый факт, попавший в поле зрения создателя «Илиады» и «Одиссеи», считался историческим фактом. Именно поэтому всякие изменения и поправки в тексте поэм рассматривались чуть ли не как святотатство. Поэтому столько шума и разговоров было по всей Элладе, когда какой-то афинский редактор «Илиады» (некоторые считали, что это был Солон, другие — что Писистрат) вставил в текст «Каталога кораблей» две строчки, в которых говорилось, что Аякс со своими 12-тью саламинскими кораблями встал рядом с афинской эскадрой (таким способом интерполятор хотел доказать обоснованность афинских претензий на владение островом Саламином).

Ил. 6. Гомер. Герма в Британском музее

Показательно отношение к Гомеру такого глубокого и серьезного историка, как Фукидид, который, видимо, с бóльшим основанием, чем Геродот, официально носящий этот титул, мог бы быть признан «отцом истории». В историческом вступлении к рассказу о Пелопоннесской войне (так называемая Археология) он среди всех войн древности особо выделяет только Троянскую войну, уделяя ей гораздо больше внимания (целых три главы из двадцати), нежели греко-персидским войнам, от которых он отделывается двумя-тремя фразами. Пелопоннесская война, о которой он намерен поведать миру, по всем статьям превосходит войну из-за Трои, как и все остальные предшествующие ей войны, — такова основная мысль историка, красной нитью проходящая через все Вступление. Однако историческая реальность похода на Трою ни разу не ставится под сомнение. Фукидид замечает только, с оттенком известного снисхождения к слабостям своего предшественника, что, будучи поэтом, Гомер мог приукрасить и преувеличить некоторые детали подлинных событий. Со своей стороны, он заверяет читателя, что его заботит не столько красота изложения (пусть о ней беспокоятся поэты вроде того же Гомера), сколько точность и правдивость передачи исторических фактов. По всему видно, хотя сам он прямо и не признается в этом, что Фукидид видел в Гомере своего единственного серьезного соперника, видимо, даже более серьезного, чем Геродот, и, следовательно, воспринимал его не только как поэта, но и как самого настоящего историка, хотя и писал он гекзаметром, а не прозой, как сам Фукидид.

Один этот факт показывает, что, несмотря на всю глубину и остроту своего ума, Фукидид остается все же человеком своего времени, античным историком, которого отделяет от современной историографии целая пропасть. Ни один серьезный современный историк не рискнул бы принять свидетельства Гомера о Троянской войне и связанных с ней событиях за достоверный исторический источник. В «Илиаде» и «Одиссее» подробнейшим образом рассказывается

о множестве разнообразных событий, таких, как сражения, морские плавания, пиршества, жертвоприношения, погребения и т. д. Все это изображено очень наглядно и живо со знаменитой гомеровской пластичностью, но все это не может считаться историей по той лишь простой причине, что сам Гомер был не историком, а поэтом. Для древних, как мы только что видели, это различие не имело принципиального значения, так как они не усматривали никакой серьезной разницы между историей и мифом. Мы теперь, конечно, не можем, не имеем права не замечать этого различия, хотя и сейчас еще нередко находятся люди, которые именно так и поступают.

В недавно опубликованной книге грузинского филолога Р. Гордезиани «Проблемы гомеровского эпоса» (Тбилиси, 1978) даются весьма заманчиво звучащие рекомендации для тех, кто стремится найти историческое зерно в художественных произведениях подобных «Илиаде» и «Одиссее». Обычно в таких произведениях, уверяет нас автор, «исторические события органично слиты с мифологией, сказочными элементами и вымышленными моментами. Такого рода синтез, однако, вовсе не означает бессистемного смешивания разных элементов. При правильном подходе к таким произведениям можно довольно четко выделить каждый из этих элементов и сделать их объектом специального исследования». Итак, по мысли автора, надо только знать, с какой стороны подойти к памятнику героической поэзии, и он тут же раскроет нам все свои секреты, поскольку история и вымысел перемешаны в нем не хаотично, а в строго установленных пропорциях, выверенных почти как на аптекарских весах.

О том, что происходит в действительности, когда исторические факты и художественный вымысел смешиваются в общем потоке эпической традиции, мы можем судить по некоторым достаточно хорошо известным примерам, взятым из истории средневековой европейской литературы. В 778 г. Карл Великий вторгся со своим войском в Испанию, принадлежавшую в то время арабам. На обратном пути арьергард его армии подвергся в Ронсенвальском ущелье в Пиринеях нападению со стороны местных жителей — басков и был почти целиком уничтожен. Среди погибших был некий граф Роланд. Об этом эпизоде упоминают некоторые французские хроники, изображая его не столь уж значительным событием. Однако в знаменитой поэме «Песнь о Роланде», созданной спустя почти 400 лет после того как это событие произошло, оно представлено уже в совсем ином виде, как грандиозная битва между христианским воинством Карла во главе с Роландом и несметными полчищами язычников-сарацин, которых автор поэмы произвольно подставил на место христиан-басков.

С еще большей исторической путаницей и произволом сталкиваемся мы в другом крупнейшем произведении средневековой эпической поэзии — «Песни о Нибелунгах». За историческую основу этой большой поэмы могут быть приняты события, разыгравшиеся в 437 г. в королевстве бургундов на Рейне. Король бургундов Гунтер был убит гуннами, которые в то время служили правителям Западной Римской империи, и после этого бургундское королевство перестало существовать. В «Песни о Нибелунгах» это событие преображено до неузнаваемости. Центральные эпизоды поэмы (гибель Гунтера и его свиты) происходят не на Рейне, а на Дунае, в царстве гуннов. Царем гуннов здесь назван Атилла (Этцель), который в действительности не имел никакого отношения к избиению бургундского королевского дома, так как владыкой гуннов он стал лишь в 445 г., спустя 8 лет после того, как разыгралась вся эта трагедия. В поэме вообще фигурирует множество лиц, частью вымышленных, частью же существовавших в действительности, которые, однако, никак не могли участвовать в изображаемых событиях. К числу явно вымышленных персонажей можно отнести главных героев поэмы — Зигфрида и Брунгильду, древних героев германской мифологии. Из исторических личностей, живших в совсем иные времена и все же попавших в рассказ о гибели бургундских королей, можно назвать хотя бы Дитриха Бернского, который на самом деле есть не кто иной, как остготский король Теодорих, правивший в Равенне с 493 по 526 г.

И такого рода примеров исторической несостоятельности героической поэзии можно собрать сколько угодно, причем встречаются случаи совсем уж безнадежные, когда выявить историческое ядро сказания, хотя бы в самом приблизительном виде, не удается даже и при помощи самого тщательного анализа. Так обстоит дело, по-видимому, с подавляющим большинством русских былин киевского и новгородского циклов. Фигурирующие в них исторические персонажи (Владимир, Добрыня, Алеша Попович) обычно ставятся создателями эпоса в такие ситуации, в которых их реальные прототипы едва ли когда-нибудь могли бы оказаться в действительности, что делает историзм всех этих героев понятием весьма условным. В сущности, от реальной исторической личности в огромном большинстве случаев остается лишь имя да иногда еще социальный статус. Мифологический элемент здесь явно превалирует над собственно историческим и почти совершенно его поглощает.

Типологически поэмы Гомера стоят, безусловно, ближе к таким образцам средневековой поэзии, как та же «Песнь о Роланде» или «Песнь о Нибелунгах», чем к былинам. Это — монументальный литературный или книжный эпос, представляющий в своем лице высшую ступень

в развитии эпической поэзии. Однако материал, которым пользовался Гомер при создании «Илиады» и «Одиссеи», скорее всего представлял собой какое-то подобие русских былин. По всей видимости, это были короткие песни (оймы) о подвигах прославленных ахейских героев, передававшиеся изустно от одного поколения сказителей к другому на протяжении целого ряда столетий. Этот вывод (а сейчас его разделяют и поддерживают очень многие специалисты) основывается на двух моментах. Во-первых, он вытекает из анализа самих гомеровских поэм, в которых многие видят теперь своеобразную поэтическую амальгаму, возникшую в результате переплавки и переработки множества существовавших некогда обособленно друг от друга мотивов, образов, сюжетов. Во-вторых, мы почти неизбежно должны будем придти к такому выводу, если признаем тот совершенно очевидный факт, что в течение ряда столетий (по крайней мере с XII до конца IX в.) в Греции не существовало никакой письменности (линейное слоговое письмо исчезло вместе с микенскими дворцами где-то в конце XIII в., новое же алфавитное письмо появляется лишь в VIII в.) и, следовательно, не было никакой возможности передавать информацию о прошлом иначе, чем посредством устных поэтических или прозаических сказаний.

При устной передаче все эти сказания могли быть лишь очень небольшими по объему и крайне примитивными по форме. Даже если предположить, что изначально в этих сказаниях содержалась какая-то конкретная информация о событиях, происходивших в микенскую эпоху, хотя бы о той же Троянской войне, при многократных переходах из рук в руки она неизбежно была бы утрачена или же подверглась бы сильнейшим искажениям и дошла бы до Гомера изменившейся до неузнаваемости. В своем первоначальном исконном виде могли сохраниться лишь некоторые имена, географические и этнические названия и сопровождавшие их эпитеты. Такие формулы, как, скажем, «владыка мужей Агамемнон», «шлемоблещущий Гектор», «прекраснопоножные» или, в другом варианте, «меднодоспешные ахейцы», «златообильные Микены», «крепкостенный Тиринф» и т. п., образуют стандартные элементы (блоки) эпического повествования и уже в силу этого отличаются большой жизнеспособностью. Они могут пережить века, но это тот минимум, на который мы только и можем рассчитывать, имея дело с таким источником, как Гомер. Ожидать от него сколько-нибудь точного воспроизведения исторических событий, отделенных от его собственного времени хронологическим промежутком в четыре или пять веков, конечно, совершенно бессмысленно.

На это нам могут возразить, что, если даже предшествующая поэтическая традиция и не могла донести до Гомера достаточно надежных

свидетельств о Троянской войне и хронологически смежных с ней событиях, он мог и сам реконструировать эти события, используя источники другого рода. Высказывались предположения, что поэт сам выезжал на места событий, о которых он повествует в «Илиаде», что он разыскивал всевозможные памятники старины, чуть ли даже не проводил с этой целью археологические раскопки, что он, наконец, широко использовал документальный материал, восходящий к микенской эпохе, в том числе исторические хроники, записанные то ли линейным письмом *Б*, то ли каким-то другим способом, неведомо где пролежавшие в течение так называемых Темных веков и затем снова извлеченные на божий свет (полный набор всех этих домыслов можно найти в уже упоминавшейся книге Гордезиани). Встав на путь такого рода предположений, мы незаметно для себя подменяем традиционный образ «великого старца» фигурой совсем иного плана. Теперь это уже — не слепой сказитель, творящий по вдохновению, т. е. так, как подсказывает ему его муза. Теперь это — маститый ученый, исследователь древности, восседающий в своем кабинете, заставленном антикварными предметами, заваленном рукописями или, может быть, глиняными табличками, человек, которому ничего не стоит перевести текст, написанный давно уже забытым его современниками письмом, свободно ориентирующийся в событиях почти полутысячелетней давности. Нужно ли говорить о том, насколько нелепа эта картина, насколько не вяжется она с теми представлениями о личности поэта и о его эпохе, которые мы можем составить, основываясь на его же собственных произведениях?

Как историк Гомер не может равняться ни с Полибием, ни с Фукидидом, ни даже с Геродотом уже по одному тому, что историком в собственном значении слова он никогда не был, даже если древние принимали его за такового. Правда, определенные зачатки исторического мышления, того, что можно назвать уже исторической рефлексией, в какой-то мере были присущи и ему. Гомер, несомненно, сознавал, что эпоха, когда жили его герои, довольно далеко отстоит от его собственного времени и многим от него отличается. Век нынешний и век минувший для него далеко не одно и то же. Прошлое во всех отношениях лучше настоящего. И люди прошлого — герои и полубоги по всем статьям превосходят жалких современников поэта. Эту дистанцию Гомер время от времени дает почувствовать читателям. Так, в одной из батальных сцен «Илиады» Гектор хватает с земли и бросает в противника камень, который, как бегло замечает поэт, и десять «ныне живущих мужей» не могли бы даже приподнять и сдвинуть с места. Налицо, таким образом, явное ухудшение человеческой породы, явный

упадок или, как мы бы теперь сказали, регресс. Ясно, что, отличаясь так сильно от современных поэту людей, люди героического века не могли и жить так, как живут они, и вели себя по-иному. Гомер обставляет жизнь своих героев рядом своеобразных табу — запретов, которые, по-видимому, должны были внушить читателю мысль о том, что это была какая-то совсем особая, давно уже вымершая порода людей. Поэтому герои поэм пользуются только бронзовым оружием, почти никогда железным, не употребляют рыбной и молочной пищи (едят только мясо, причем не вареное, а обязательно жареное), никогда не ездят верхом на лошадях, а только на колесницах, живут только в укрепленных городах — полисах, но никогда в деревнях. Гомер, очевидно, знал, что во времена Троянской войны ни дорийцев, ни ионийцев еще не было в тех местах, где они поселились позднее. Поэтому, за исключением двух-трех беглых упоминаний, он о них почти ничего не говорит. Вероятно, сознательно обойдены поэтом и такие важные для его времени новшества, как Олимпийские игры, употребление алфавитного письма, греческая колонизация на Западе. Все эти запреты и умолчания накладывают на представленную в поэмах картину жизни героического века печать нарочитой архаизации. Можно сказать, что, практически почти ничего не зная о Греции микенской эпохи, Гомер пытался искусственно воссоздать ее облик в своих произведениях.

Тем не менее историческая рефлексия великого поэта никогда не заходит настолько далеко, чтобы читатель мог почувствовать тот реальный разрыв, который отделял эпоху Троянской войны от времени жизни самого Гомера, т. е. от VIII в. до н. э. Нарочитая архаизация постоянно уравновешивается и даже перевешивается в поэмах тенденцией противоположного характера, выражающейся в бессознательном осовременивании прошлого или в том, что можно было бы назвать «наивной модернизацией». В общем и целом мышление Гомера антиисторично. В его сознании прошлое никогда не бывает слишком резко отделено от настоящего. Вместе взятые они образуют некий временной континуум (непрерывно тянущуюся линию), в котором весь мир пребывает в более или менее статичном состоянии. Меняются только человеческие поколения. Герои младшего поколения отличаются от своих отцов и дедов. Современники самого поэта не идут ни в какое сравнение с людьми прежних времен. Но различия эти скорее количественного, чем качественного порядка. Иначе говоря, история сознается Гомером только как процесс постепенного ухудшения и вырождения человеческой породы, но не как смена культур, смена типов человеческого общества. И то и другое пребывает все время в почти неизменном состоянии. Поэтому Гомер осторожно устраняет из своего рассказа

те факты, которые почему-либо не вписываются в созданную им картину неизменного мира, т. е. находятся за рамками повседневного опыта его аудитории, или же дает им новое освещение, приближенное к понятиям этой аудитории. Именно поэтому мы не находим на карте гомеровского мифа давно исчезнувшее Хеттское царство, хотя в микенских сказаниях о походах ахейских царей в Малую Азию оно должно было занимать весьма видное место. Зато Египет, который и в IX–VIII вв. продолжал оставаться для греков неотъемлемой частью окружающей их ойкумены, фигурирует в поэмах и используется как место действия для нескольких любопытных эпизодов «Одиссеи». Вероятно, по этой же причине в эпосе не встречаются развернутые описания сражений на колесницах (герой обычно только подъезжает на колеснице к месту боя, сражается же, сойдя на землю), хотя в микенской поэзии сцены колесничных схваток были, по-видимому, одним из широко распространенных общих мест.

Несмотря на лежащую на обеих поэмах печать архаизма (в значительной мере, как я уже сказал, искусственного), изображенное в них ахейское общество представляет собой не что иное, как спроецированную в «Героический век» модель современного поэту ионийского полиса, например какой-нибудь Смирны или Хиоса. От реальной микенской цивилизации, о которой Гомер, по-видимому, почти ничего определенно не знал, это общество отделяет огромная дистанция.

По существу, прошлое для Гомера — это то же самое настоящее, но улучшенное, облагороженное и как бы приподнятое над житейской прозой современности. Серьезных качественных различий между тем и другим он не замечает или не хочет замечать. В этом смысле историческое мышление Гомера находится примерно на том же уровне, на котором стояли, например, создатели таких шедевров средневекового европейского эпоса, как «Песнь о Роланде», «Нибелунги», «Песнь о моем Сиде» и прочее. Во всех этих случаях к событиям далекого прошлого «привязывается» сильно обобщенная и идеализированная, но все же угадываемая в своих основных очертаниях картина современной поэту исторической действительности.

Я не случайно так подробно останавливаюсь на вопросе об отношении Гомера к истории. Концепция «героического века», лежащая в основе исторических представлений создателя «Илиады» и «Одиссеи», так называемые поэмы «Цикла» (Νόστοι) и другие, не дошедшие до нас памятники раннегреческого эпоса, оказали сильное влияние на всю последующую греческую литературу, в том числе и на историографию. Высвободиться от этого влияния в полной мере не удалось даже крупнейшим историкам позднейшего времени.

Насквозь мифологичным (отнюдь не историчным) остается и мышление другого крупнейшего эпического поэта архаической эпохи Гесиода (*ил. 7*). Знаменитый миф о пяти веках, или пяти человеческих поколениях, которым открывается его поэма «Труды и дни», воспринимается некоторыми как свидетельство пробуждения исторического чувства в современниках того великого общественного движения (я имею в виду Великую колонизацию), которому суждено было преобразить весь греческий мир. Некоторые ученые даже усматривают в этой красивой легенде уже вполне сложившуюся теорию исторического регресса (в гесиодовской «Теогонии», напротив, находят осознание поступательного движения истории от первобытного хаоса к вселенской гармонии и порядку, установленному олимпийскими богами). В действительности историческое чувство Гесиода, как и историческое чувство Гомера, еще не вышло из эмбрионального состояния. И тот и другой мыслят по преимуществу мифологическими, не историческими категориями. В мифе о пяти поколениях отсутствует то главное, что отличает историческое мышление от мифологического, отсутствует идея развития в лучшую или, наоборот, в худшую сторону. Поколения (géne), о которых говорит Гесиод, не переходят одно в другое. Они просто погибают с тем, чтобы уступить свое место людям следующего поколения. Весь этот процесс регулируется богами и напоминает цепь геологических катаклизмов, о которых писал в гораздо более поздние времена Кювье. Высказывалось предположение, что само представление о четырех веках, соответствующих четырем основным металлам, было заимствовано греками где-то на Востоке. Если даже это действительно так, то, став достоянием греческой поэзии, миф должен был подвергнуться сильной эллинизации. На это указывает, в частности, появление после третьего поколения бронзовых людей четвертого поколения героев (принцип последовательности смены металлов здесь явно нарушен). Операция эта, однако, прошла совершенно безболезненно. Гесиоду не пришлось ломать голову над какими-либо хронологическими проблемами, поскольку герои так же, как и все остальные предшествующие им поколения, отодвинуты так далеко в глубь веков (а фактически поставлены даже вне какой бы то ни было временной шкалы), что точные даты здесь были бы совершенно излишними (см. Труды, 156 сл.). Здесь упоминаются некоторые общеизвестные события героической эпохи: поход Семерых против Фив, Троянская война, но когда именно они происходили, как задолго до времени самого поэта — этот вопрос его нисколько не занимает. Хотя мы и называем предание о пяти веках «мифом», мифом в точном значении слова оно все же не может считаться: для этого оно слишком абстрактно и слишком нравоучительно. Так же, как

Ил. 7. Гесиод. Мозаика из Трира. IV в.

и предшествующий ему миф о Пандоре, это предание призвано ответить на вопрос: почему в мифе так много зла? Вопрос скорее философского, чем исторического порядка. Как хорошо сказал М. Финли: «Гесиод предвосхищает переход от мифа к логосу. Но этот переход не был опосредован историей. Он просто прошел мимо истории, т. к. был совершен скачок от вневременности мифа к вневременности метафизики».

К сожалению, до нас не дошли произведения Гесиода, написанные в жанре так называемого генеалогического эпоса. Древнейшим образцом этого жанра мог бы служить, вероятно, приписываемый беотийскому поэту «Каталог женщин». Судя по сохранившимся отрывкам и ссылкам в позднейшей литературе, эта большая поэма представляла собой нечто вроде огромного родословного древа греческой

аристократии (происхождение отдельных аристократических родов возводилось здесь к великим героиням прошлого).

В том же жанре генеалогической поэзии работали и некоторые другие поэты VII–VI вв., например коринфский поэт Евмел, автор поэмы «Коринфиака», знаменитый Аристей из Проконесса, автор так называемой Аримаспии, философ и поэт Ксенофан Колофонский. Генеалогическая поэзия, несомненно, служила одним из главных источников для позднейших историков, писавших о древнейшем прошлом, вроде Гекатея или Гелланика. Можно поэтому лишь пожалеть о том, что от нее почти ничего не осталось.

На протяжении долгого времени эпическая, а отчасти также лирическая поэзия (стихи таких поэтов, как, например, Тиртей, Солон, Каллин) оставалась для большинства греков практически единственным источником исторической информации. До начала V в. ни в одном из греческих полисов не водилось ничего подобного анналам или хроникам. Кое-где составлялись, правда, списки высших должностных лиц: царей в Спарте, архонтов в Афинах, пританов в Коринфе. Основываясь на этих списках, можно было бы разработать хотя бы приблизительную хронологию истории ранней Греции, если бы мы знали, что произошло в царствование такого-то царя или в правление такого-то архонта. Но в подавляющем большинстве случаев мы этого не знаем. Известно, что в некоторых городах, например в Афинах, составлялись своды законов, принимались различные декреты и постановления. Но греки, к сожалению, еще не додумались в те времена до устройства настоящих архивов. Поэтому в большинстве своем документы этого рода до нас не дошли. В отношении к своему прошлому греки проявили себя как довольно-таки беспечный народ (в сравнении с римлянами или даже с их восточными соседями). Поэтому история архаической эпохи, по праву считающейся периодом формирования греческой цивилизации, нам практически неизвестна. Известны лишь отдельные разрозненные события вроде основания колоний или государственных переворотов, память о которых случайно сохранилась в каких-нибудь чудом уцелевших источниках (см., например, Thuc. I, 13, 2). Однако даже вместе взятые эти события не образуют связной и последовательной цепи фактов, которую можно было бы считать историей Греции в VIII–VI вв. до н. э.

Если оставить в стороне эпическую поэзию, ориентировавшуюся в основном на самое отдаленное мифическое прошлое, то основным способом сохранения и распространения исторической информации в это время, как и задолго до этого, оставалось, конечно, устное предание. В некоторых случаях такие предания становились устойчивой традицией, передававшейся из поколения в поколение в более или менее

неизменном виде и в конце концов закреплявшейся в письменном виде. Так обстояло дело, например, в крупнейших греческих святилищах, таких как Дельфы, Элевсин, Делос. Каждый из этих храмов имел свою собственную историю, уходившую далеко в глубь веков и насыщенную всевозможными легендами, рассказами о чудесах, оракулах и тому подобным материалом. В сохранении исторической традиции здесь были заинтересованы прежде всего сами жрецы, составлявшие постоянный штат святилища. Такая же заинтересованность существовала и во многих аристократических родах и семьях, кичившихся славой предков и их громкими деяниями. Однако это был лишь верхний уровень формирующейся исторической традиции. Ее нижние ярусы составляла беспорядочная, страшно перепутанная лавина всевозможных слухов и исторических анекдотов, распространявшихся в гуще греческого простонародья и буквально на каждом шагу менявших, как это бывает обычно с произведениями фольклора, свою форму и содержание, обраставших все новыми и новыми вымышленными подробностями. Каждый рядовой афинянин или коринфянин, гражданин любого греческого полиса был твердо убежден в том, что он прекрасно знает историю своего родного города, да и соседних городов также, не нуждаясь для этого ни в каких книгах лишь потому, что «дней минувших анекдоты... хранил он в памяти своей». Еще в V–IV вв. во времена расцвета историографического жанра популярные ораторы в Афинах в своих выступлениях без зазрения совести перевирали исторические факты в основном потому, что изучали историю по анекдотам и, кроме них, ничего больше не хотели знать. Сердитые реплики в адрес знатоков такого сорта, встречающиеся у Фукидида и у некоторых других историков, не должны нас удивлять. Нас не должно удивлять также и обилие анекдотического материала, содержащегося в сочинениях первых греческих историков (того же Геродота), да и не только первых (еще у Аристотеля и много позднее у Плутарха).

Однако в конце концов должен был настать момент, когда мифы и анекдоты перестали удовлетворять мыслящих людей, и таким образом возникла потребность в иных формах осмысления прошлого. С этого момента — весьма приблизительно его можно отнести к рубежу VI–V вв. до н. э., т. е. к концу архаического и началу классического периода, — в Греции и начала складываться историография как особый литературный и одновременно научный жанр. Но прежде чем это произошло, греческое общество должно было пройти довольно долгий путь духовного развития, должно было идейно трансформироваться для того, чтобы быть готовым к восприятию новых взглядов на свое собственное прошлое. Каковы же были те основные предпосылки, которые

в наибольшей степени подготовили и обусловили этот новый этап в развитии исторического мышления.

Таких предпосылок было довольно много, но особенно важными мне представляются следующие четыре момента.

1). VIII–VI вв. были, как известно, временем великого расселения греческой народности по всему Средиземноморскому бассейну. В процессе этого расселения должен был резко раздвинуться географический, а вместе с ним и духовный кругозор греков. Вступая в тесное общение с негреческими варварскими народами, знакомясь с их культурой и обычаями, греки стали острее осознавать свою особливость, свое отличие от всей этой пестрой массы варваров Востока и Запада. Но как только это сознание укоренилось в их мозгу, они тут же начали искать причины своего несходства со всеми прочими народами обитаемой вселенной. А это заставило их более внимательно, чем они делали это прежде, вглядеться в свое собственное прошлое и в прошлое других народов, поскольку именно там, в глубине веков, очевидно, и следовало искать корни существующих различий.

2). В VI в. в ионийской Греции появились первые философские школы (ионийская натурфилософия). Первые философы пытаются объяснить окружающий их мир с позиций разума, а не с позиций религиозного суеверия. Традиционные догмы олимпийской религии попадают под убийственный огонь рационалистической критики. Заметно снижается моральный авторитет религии. Все эти важные сдвиги не могли не отразиться и на отношении греков к их собственному прошлому, о котором они знали преимущественно из мифов и сказаний древних поэтов. Сопоставляя свой собственный жизненный опыт с тем, что рассказывалось в мифах о событиях седой древности, мыслители архаической эпохи должны были рано или поздно придти к тому выводу, что либо сама природа вещей коренным образом изменилась по сравнению с теми временами, когда люди могли запросто общаться с богами и чуть ли не ежедневно становились свидетелями невероятных чудес и превращений, либо все это — не более чем выдумки досужих лжецов. Последняя точка зрения находит себе все больше и больше приверженцев. Ксенофан Колофонский, знаменитый поэт и философ, основатель школы так называемых элеатов, был первым человеком, осмелившимся поднять руку на Гомера и Гесиода, имена которых были в то время окружены всеобщим благоговейным почитанием. Оба поэта чуть ли не обожествлялись. Ксенофан же прямо называл их сочинителями нелепых вымыслов о богах, которые не только всем своим обликом слишком уж напоминают людей, но и в своем поведении и в психологии практически ничем от них не отличаются. Ксенофан, конечно, не был атеистом. Его просто шокировало то легкомыслие и бес-

печность, с которыми древние поэты болтали о недоступных человеческому пониманию божеских делах, шокировали приводимые ими безнравственные, а подчас и совершенно непристойные мифы, в которых боги вели себя далеко не лучшим образом, как, например, в известной гомеровской новелле о прелюбодеянии Ареса и Афродиты. Однако уже эти первые сомнения в правдивости мифов наводили на мысль о необходимости пересмотра всей мифологической традиции с точки зрения ее пригодности в качестве источника исторической информации.

Влияние ионийской натурфилософии на раннюю греческую историографию проявилось уже в том, что само название новой отрасли науки было взято именно из словаря первых философов. Термин ἱστορία в значении «исследование», «разыскание» впервые стал использоваться в философской литературе VI — первой половины V в. Его производят обычно от гомеровского слова ἴστωρ, означающего судью или следователя, т. е. человека, устанавливающего истину путем сопоставления свидетельских показаний. Именно таков был основной метод исследования, взятый на вооружение философами-материалистами VI в. От них его заимствовали и первые греческие историки, которые перенесли этот метод, отработанный на изучении естественных явлений, также и на изучение прошлого.

3). В результате сложных социально-экономических пертурбаций, пережитых греческим обществом в течение трех столетий архаической эпохи, в Греции сложилась новая форма государства, в V в. ставшая главной политической реальностью эллинского мира, — демократический полис. В условиях полисного строя невиданного расцвета достигла политическая самодеятельность членов гражданской общины. Только теперь человек становится, по выражению Аристотеля, «политическим животным» (ζώων πολιτικόν), только теперь он осознает по-настоящему, что сам является вершителем своей судьбы и судьбы своего государства. Высокий уровень политической активности граждан полиса должен был в немалой степени способствовать выработке у них рационалистического взгляда на общественные процессы и на историю как итог этих процессов. Среди образованных греков широко распространяется убеждение в том, что государства создаются не богами (общепринятое мнение среди народов Востока), а людьми — великими законодателями. Законодатель, правда, может обратиться за советом к божеству, как это сделал, например, Ликург, но все детали государственного механизма он продумывает и изобретает сам, он собственноручно собирает весь этот механизм, как часовщик часы, и затем пускает его в ход. Если в дальнейшем в государственное устройство будут внесены какие-то изменения (появятся новые учреждения или законы), то это опять-таки будет делом

рук человеческих, а не произволом божества. Можно, таким образом, сказать, что развитие демократической формы правления способствовало секуляризации греческой исторической мысли, ее освобождению от всего метафизического и иррационального.

4). До конца VI столетия Греция оставалась одним из участков отдаленной периферии тогдашнего древнего мира. Центральные события мировой истории разворачивались на большом удалении от Афин, Милета, Коринфа и других греческих полисов. До них доходили лишь слухи об этих событиях, как доносится гул от отдаленного сражения. Однако в конце VI в. положение резко изменилось. Вплотную к Эгейскому морю, которое греки до сих пор считали как бы своим внутренним озером, придвинулась колоссальная Персидская держава, подмявшая под себя города ионийских греков на кромке западного побережья Малой Азии. Вопреки своей воле греки оказались втянутыми в круговорот грандиозных событий, о всех последствиях которых они в то время еще не могли даже и помыслить. Только теперь они по-настоящему ощутили биение пульса истории и начали прислушиваться к этим непривычным для них звукам. Иначе говоря, изменение политической обстановки в Эгейском бассейне сделало греков более чуткими и восприимчивыми к тем историческим процессам, в которые они оказались вовлеченными волею судьбы, пробудило в них живой интерес как к недавнему, так и более отдаленному прошлому. В известном смысле греко-персидские войны сыграли в духовном и умственном развитии греческого народа примерно ту же роль, которую сыграло в духовном развитии древних евреев падение Израильского царства и вавилонское пленение. В обоих случаях эти события послужили толчком к лихорадочной умственной активности, к стремлению понять причины того, что произошло, к переосмыслению своего собственного прошлого. Однако было здесь и одно очень важное различие. Если евреи и прежде всего создатели книг Ветхого завета в поисках ответа на вопросы, поставленные перед ними историей, все более погружались в пучину безысходного мистицизма и теологической софистики, греки сумели, опираясь на свой предшествующий опыт духовного развития, придти к более разумному пониманию хода истории, заложив тем самым основы современной исторической науки.

Итак, еще раз напоминаю о тех основных четырех условиях, которые сделали возможным зарождение в Греции истории как науки: 1) расширение географического кругозора греков в связи с колонизацией и начало их самоопределения и самосознания как особой этнической общности среди других народов древнего мира; 2) разработка рационалистического метода исследования философами ионийской натуральной

или стихийно-материалистической школы и перенесение этого метода на изучение прошлого; 3) влияние политической самодеятельности граждан полиса на их представления о государстве и законах его возникновения и развития; 4) обострение исторического сознания или исторической чувствительности греков в связи с греко-персидскими войнами и другими событиями конца VI — начала V в.

Пожалуй, нигде больше все эти четыре фактора не действовали так интенсивно и слаженно, как в ионийских городах Малой Азии. Этот район греческого мира раньше, чем все другие, вступил в оживленные контакты с более древними и более развитыми цивилизациями Передней Азии. Именно здесь находились крупнейшие очаги колонизационной активности, такие важные центры торговли и мореплавания, как Милет, Фокея, Самос. Здесь же возникли и первые в истории Греции очаги философской мысли (тот же Милет). Здесь особенно быстрыми темпами, по-видимому, более интенсивно, чем в европейской Греции, шел процесс становления демократического полиса. Наконец, волею судеб ионийские греки оказались выдвинутыми на самую авансцену тогдашней политической истории, попав в эпицентр грандиозного конфликта между Востоком и Западом. Все это должно было способствовать особенно раннему пробуждению исторической мысли именно в этой части греческого мира.

Родиной истории как науки и как особого литературного жанра может считаться Милет, который до своего разрушения персами в 494 г. оставался едва ли не самым значительным центром интеллектуальной жизни ионийской Греции. Первым греческим историком и, несомненно, самым крупным из предшественников Геродота был уроженец Милета Гекатей. О его жизни нам известно лишь очень немногое. Судя по всему, он принадлежал к знатному милетскому роду. Геродот ссылается на его слова о том, что его родословная восходит в шестнадцатом колене к одному из олимпийских богов. Геродот сообщает также, что Гекатей был активным участником восстания ионийских греков против персидского владычества, хотя вначале пытался отговорить своих соотечественников от выступления против персов, указывая, сколь незначительны их силы в сравнении с силами персидского царя. После того как восстание было подавлено, он вел переговоры с персидским наместником Артаферном и сумел добиться от него некоторых уступок.

Как ученый Гекатей был в той же мере географом, как и историком (обе эти науки, в наше время так далеко ушедшие друг от друга, родились сросшимися между собой как сиамские близнецы). Как и Геродот, Гекатей в течение своей жизни очень много путешествовал. Он объездил значительную часть Персидской державы, побывал в Египте, хорошо

знал берега Черного моря, возможно, добирался даже до Испании. Собранный им во время странствий обширный материал географического, этнографического и исторического характера был использован Гекатеем при работе над одним из двух главных его сочинений, которое было названо им Περιήγησις или «Землеописание» (буквально: «Объезд Земли»). Книга эта, насколько можно судить по сохранившимся отрывкам и ссылкам в более поздней литературе, представляла собой своеобразный путеводитель по странам древнего Средиземноморья. В его основу был положен маршрут круиза, начинавшегося от столбов Геракла и проходившего далее вдоль средиземноморского побережья Испании и Галлии, тирренского и адриатического побережий Италии, затем вокруг всей Греции и Фракии с заходом в Понт Евксинский и путешествием вокруг него. После этого Гекатей возвращался в Средиземное море и объезжал его теперь уже в обратном направлении — с востока на запад, вплоть до выступа Ливии, сближающегося с крайней южной оконечностью Европы. Маршрут «Землеописания» охватывал, таким образом, три уже известные в то время грекам части света: Европу, Азию и Ливию (Африку) в их примыкающих к Средиземному морю областях, хотя четкого разграничения между ними еще не было. Ливию Гекатей еще рассматривал как часть Азии. Границей между Европой и Азией мыслилась река Фазис (Рион). Землю Гекатей представлял себе в виде огромного круга, омываемого рекой Океан (эта концепция уходит своими корнями в мифологию; впервые ее следы обнаруживаются в гомеровской «Одиссее»). С Океаном сообщаются практически все моря и большие реки земного круга, в том числе Нил, Истр и Фазис. Картина мира у Гекатея существенно отличается от того, что мы находим у его предшественников, и прежде всего в поэмах Гомера и Гесиода. Географические представления Гекатея гораздо более логичны, рациональны и в значительной мере освобождены от всего того сказочного материала, которым так щедро оснащали свои описания дальних стран древние поэты. Фантастические мотивы появляются лишь в описании вымышленных народов, населяющих отдаленные окраины земного круга. Сюда относятся пигмеи, враждующие с журавлями, скиаподы, люди с огромными ступнями, закрывающиеся ими от солнца, и обитатели Крайнего Севера — гипербореи.

Как видно по сохранившимся отрывкам, в книге Гекатея содержалось немало интересных сведений о нравах и обычаях народов земли. Он сообщает, например, что пеоны пьют пиво из ячменя или проса и мажутся коровьим маслом, египтяне едят кислый хлеб (килластий) и употребляют напиток из ячменя. У Гекатея мы находим любопытное сообщение о городе невольников в Ливии. Любой раб, пришедший в этот город

издалека, получал свободу. Выкупом служил камень, который он должен был принести с собой.

Описание Земли в книге Гекатея носило систематический характер. Он последовательно перечислял все народы, обитавшие в той или иной стране, говорил о их городах и святилищах, о характере самой местности, ее почве, флоре и фауне. Он не просто фиксировал положение того или другого народа, но стремился выяснить его происхождение, узнать, откуда он пришел, касаясь в этой связи переселений различных племен, например пеласгов, гефиреев. В ряде случаев он подробно останавливался и на истории той или иной страны или народа. Особенно занимала его история стран Востока. Есть основание думать, что в своем сочинении Гекатей прослеживал возвышение, могущество и упадок отдельных восточных монархий в той последовательности, в которой они сменяли друг друга (Египет, Вавилон, Ассирия, Мидия и Персия), завершая все свое повествование рассказом о современных ему событиях, т. е. о начале греко-персидских войн. В значительной части «Землеописание» было, таким образом, как бы сводной историей стран, лежащих за пределами самой Греции. В этом отношении Гекатей предвосхищал тот тип универсального исторического труда, который позднее приобрел свою классическую форму под пером Геродота. К «Землеописанию» была приложена географическая карта — одна из первых в истории мировой науки (самая первая была создана Анаксимандром около 550 г. до н. э.).

Другой труд Гекатея, известный нам опять-таки только по ссылкам, назывался «Генеалогия» или «История» и состоял из четырех книг (события от Девкалионова потопа до Ионийской колонизации). Сочинение это начиналось словами: «Гекатей из Милета так говорит: Это я пишу, как оно мне кажется истинным, ибо рассказы эллинов многочисленны и смешны, как мне кажется». Здесь мы видим, таким образом, сознательную установку на критический пересмотр и даже отрицание всей предшествующей традиции. Историческая наука, еще не успев по-настоящему родиться, уже вступает в спор со своими противниками. Главным объектом нападок Гекатея в «Генеалогии» стали древние греческие предания и мифы (они служили для него и источниками фактического материала, без которых ему попросту не о чем было бы писать). Критика мифов ведется в этом сочинении с наивно рационалистических позиций. Главным орудием критики служит собственный здравый смысл историка. Он отвергает как вымысел все, что кажется ему неправдоподобным. Геракл не мог спускаться в Аид, чтобы изловить там Кербера. Никакого Кербера вообще не было в природе. Легковерные люди принимали за него большую ядовитую змею, которая обитала некогда в пещере на мысе Тенар (в древности здесь находился один из главных

входов в подземное царство). Еще один пример. Согласно мифу, великан Герион, у которого Геракл угнал его чудесных быков, обитал на острове Эрифея, расположенном в Атлантическом океане где-то за Иберией. Гекатей уверен, что Геракл не мог совершить столь далекое путешествие, и поэтому передвигает Эрифею ближе к Греции в Адриатическое море. Сам факт угона быков им не оспаривается. Отвергая миф о прибытии в Арголиду сыновей Египта из страны, носившей то же название, Гекатей утверждает, что на берегах Арголиды существовал некий мыс, называвшийся Египтом, на котором в древности местные жители устраивали судилища. Как мы видим, в своей критике мифов Гекатей не заходит дальше того, что ему позволяла его набожность и его общественное положение. В большинстве случаев он удовлетворяется лишь весьма умеренной редакционной правкой предания, не покушаясь на бóльшее. Решительный разрыв с мифологией был невозможен хотя бы потому, что и сам историк, как мы уже видели, тешил себя мыслью о божественном происхождении своего рода.

Во время своих путешествий по Египту и другим странам Востока Гекатей как человек наблюдательный, несомненно, должен был обратить внимание на одно любопытное обстоятельство: боги Египта и соседних с ним стран были, во-первых, намного древнее греческих, во-вторых, они уже давно избавили людей от своего непосредственного вмешательства в их жизнь (в Греции они еще в совсем недавние времена запросто разгуливали по полям и горам, встречаясь с людьми и активно вмешиваясь в их жизнь). Вывод, который вытекал из этого сопоставления, мог быть только один: греческие поэты сильно напутали в хронологии, слишком приблизив век богов и героев к современности. На самом деле боги давно уже перестали появляться среди людей и лишь следят за ними с высот Олимпа. Гекатей, таким образом, пытался несколько ограничить зону сверхъестественного в истории, отодвигая ее как можно дальше вниз по хронологической шкале. Там, в глубине веков, могло, в его понимании, происходить все что угодно, творились всевозможные чудеса. Все это, однако, давно уже отошло в область предания, и в наш прозаический век (век Гекатея) ожидать повторения этих чудес, конечно, уже не приходится. В сочинении Гекатея история и мифология вступают в своеобразный компромисс, разграничивая принадлежащие им сферы влияния. Однако до полного разрыва дело на этот раз так и не дошло. Гекатеевская история всеми своими корнями вросла в мифологию и сохраняет с ней самое тесное кровное родство. Едва ли случайно выбрано название его труда «Генеалогия». Возводя свой собственный род к олимпийским богам, он пытался точно таким же образом проследить родословную всего греческого народа, всех его основных ветвей. Эти розыски корней эллинской

народности, очевидно, и составляли основное содержание его книги. В одном из уцелевших отрывков говорится о том, что местом расселения первых эллинов, потомков Девкалиона, была Фессалия, которая в те времена и называлась Элладой. Другие части Греции были первоначально заселены негреческими варварскими народами. Так, в Аттике обитали пеласги, которые в дальнейшем были изгнаны афинянами.

Позднейшие греческие писатели довольно сурово оценивали труды Гекатея, выискивая в них всевозможные нелепости и ошибки. Так отзывался о нем, например, Гераклит Эфесский: «Многознание не дает ума, — писал он, — иначе оно дало бы ум Гесиоду, Пифагору, Ксенофану и Гекатею». Издевался над своим предшественником и Геродот, который был, вне всякого сомнения, многим ему обязан (многие думают сейчас, что значительную часть своего египетского логоса во II книге «Истории» Геродот попросту списал с Гекатея). Оценки древних, конечно, несправедливы. Нельзя забывать о том, что Гекатей был в полном смысле слова пионером в той области науки, которой он посвятил два главных своих труда. До него в Греции, судя по всему, не было ни географии, ни историографии в точном значении этого слова. Большой заслугой Гекатея было перенесение методов рационалистического исследования, правда, не во всем последовательное и удачное, из сферы естественных наук в сферу науки об обществе или, как мы бы теперь сказали, в сферу гуманитарного знания.

Пример Гекатея вызвал множество подражателей не только в его родной Ионии, но по всей Греции. Уже в первой половине V столетия в различных греческих городах (как в азиатской, так и в европейской Греции) появилась целая плеяда историков, писавших на самые разнообразные темы. Во второй половине V в. их стало еще больше. Расширилась и сфера их расселения. По существу, труды Геродота и Фукидида — это лишь малая, но будем надеяться, что все же лучшая часть той огромной историографической литературы, которая выросла в Греции очень быстро, как только начало этому процессу было положено Гекатеем.

Обычно всех историков V в., за исключением Геродота и Фукидида, называют «логографами». Сам этот термин достаточно условен. Впервые он появляется в 21 главе I книги «Истории» Фукидида. Из контекста ясно видно, что под «логографами» Фукидид подразумевает в этом месте всех историков как предшествующего поколения, так и своих современников, писавших свои сочинения не стихами, а прозой. Этим, и только этим, логографы, в понимании Фукидида, отличаются от поэтов, рассказывавших о тех же самых событиях, но уже стихами. Во всем остальном и те и другие одинаково не заслуживают доверия, так как никто из них не был всерьез озабочен поисками истины («...не ошибется тот..., кто

в своем доверии не отдаст предпочтения ни поэтам, воспевшим эти события с преувеличениями и прикрасами, ни прозаикам, сложившим свои рассказы в заботе не столько об истине, сколько о приятном впечатлении для слуха: ими рассказываются события, ничем не подтвержденные и за давностью времени, когда они были, превратившиеся большей частью в невероятное и сказочное»). В эту малопочтенную компанию профессиональных лжецов и сочинителей басен Фукидид, вне всякого сомнения, включает и Геродота. В принципе логографом мог быть назван любой писатель, пишущий прозой, например Эзоп или Гераклит. Однако в позднейшей античной литературе это название закрепилось преимущественно за историками старшего поколения. Иногда логографов называют предшественниками Геродота и Фукидида. Вообще говоря, это не совсем верно. Хронологически лишь некоторые из них опережают Геродота (это Гекатей, Акусилай и еще два-три автора). В большинстве своем логографы были современниками Геродота, а некоторые также и Фукидида. Правда, оба эти историка не находят нужным о них упоминать (Геродот ссылается только на Гекатея; Фукидид только на Гелланика Лесбосского). Объяснить это можно отчасти тем, что многие из сочинений логографов были им просто неизвестны (справочников и бюллетеней научной информации в те времена еще не существовало, узнать про нужную книгу, а тем более достать ее было очень трудно, поэтому первые историки предпочитали иметь дело не с книгами, а с людьми; читали они, судя по всему, не так уж много), отчасти же сознательно высказываемым пренебрежением к собратьям по профессии (Фукидид, несомненно, был знаком с трудом Геродота, но по имени его ни разу не называет).

Общую характеристику логографов дает в своем очерке о Фукидиде Дионисий Галикарнасский, историк и ритор эпохи Августа[10].

Уже и этот краткий обзор позволяет сделать вывод о чрезвычайно широком распространении историографического жанра в период, предшествующий Пелопоннесской войне, и о большом многообразии его форм и направлений. Не вдаваясь в детальное рассмотрение всей этой большой группы историков, тем более что о большинстве из них мы почти ничего, кроме имен, и не знаем, попробуем разбить их на классы или группы. В целом в творчестве логографов прослеживаются две основные тенденции. Некоторые из них продолжали линию, начатую Гекатеем в его «Генеалогии», — линию рационалистической переработки и толкования мифов. Эта группа логографов лишь весьма условно может быть названа «историками». Скорее они заслуживают титула

[10] См.: *Немировский А. И.* У истоков греческой мысли. Воронеж, 1979. С. 29.

«мифографы», как некоторых из них и называли уже в древности, хотя их сочинения, если бы они дошли до нас, несомненно, могли бы принести большую пользу ученым (особенно тем, кто специально занимается историей греческой религии и мифологии). Примером этой разновидности логографов могут служить два автора: Ферекид с острова Лероса и Акусилай, уроженец Аргоса. Первый из них жил около середины V в., второй, видимо, несколько раньше — в первой половине того же столетия.

Ферекид считается автором большого сочинения из 10 книг, которое в позднейшей литературе называется по-разному: «Истории», «Генеалогии», «Автохтоны». Судя по всему, это было едва ли не первое в греческой литературе связное изложение важнейших мифологических циклов греческой древности. Основная цель, которую ставил перед собой Ферекид, заключалась в том, чтобы систематизировать древние сказания, по возможности устранив и сгладив все существующие между ними противоречия. В рамках этой задачи Ферекид позволяет себе критику мифологической традиции, как правило, очень робкую в сравнении даже с приемами Гекатея. Так, в списке аргонавтов он заменяет Орфея на менее известного Филаммона, поступая таким образом из хронологических соображений: во время плавания Арго Орфей был занят какими-то другими делами и, следовательно, не мог участвовать в славном походе. Еще один пример такой же редакции мифа в сочинении Ферекида. По преданию, Аполлон перебил циклопов за то, что они снабдили Зевса молниями, которыми он убил сына Аполлона Асклепия. Ферекид не согласен с этим: он считает, что Аполлон не мог истребить циклопов, так как тогда было бы непонятно, откуда берутся молнии, которыми Зевс пользуется в настоящее время. Стало быть, разгневанный бог ограничился тем, что перебил сыновей циклопов, но оставил в живых их самих.

Гораздо дальше Ферекида заходит в своем критическом отношении к мифологии Акусилай Аргосский, хотя жил он, по-видимому, раньше. Он, например, не допускает, что Зевс мог превратиться в быка лишь для того, чтобы похитить Европу. Это было бы недостойно царя богов и людей. На самом деле Зевс подослал к Европе специально выдрессированного быка, который и увез финикийскую царевну на Крит. Золотое руно вовсе не было золотым. Оно приобрело золотистую окраску, потому что долгое время находилось в морской воде, содержащей в себе золото и пурпур. Забавна попытка Акусилая пересмотреть вопрос о причинах Троянской войны. Главной причиной была, по его мнению, не благосклонность Афродиты к Парису за его решение в знаменитом третейском суде, а стремление этой богини помочь своему сыну Энею вытеснить род

Приама и самому стать царем Трои. Похищение Елены, которое народная молва приписывала исключительно тщеславию Афродиты, по Акусилаю, объясняется особыми соображениями политического порядка, и, таким образом, сказка подымается на уровень истории.

Методика рационалистического перетолковывания мифов, разработанная Гекатеем, Акусилаем и другими логографами, впоследствии (уже в IV в.) нашла широкое применение в трудах знаменитого Евгемера, который превратил в людей всех богов Олимпа. Однако нельзя забывать и о том влиянии, которое эти приемы могли оказать и на создателей классической греческой историографии: Геродота и Фукидида.

В чисто научном плане намного более плодотворной была деятельность другой группы логографов, которые заслуживают того, чтобы быть названными настоящими историками. В отличие от Ферекида и Акусилая их интересовали преимущественно современные события или события недавнего прошлого, происходившие в Греции и на Востоке. Историки этой группы продолжают линию конкретного историко-географического исследования, начатую Гекатеем в его «Землеописании». Сюда можно отнести, например, Харона из Лампсака. Он написал историю Персии и довел свой рассказ вплоть до времени Артаксеркса I (60-е гг. V в.). Харон, таким образом, может считаться конкурентом Геродота, поскольку он писал в значительной мере о тех же событиях, хотя, вероятно, оценивал их под другим углом зрения. Кроме того, Харон был зачинателем особого историографического жанра, который получил в дальнейшем очень широкое развитие. Это — жанр хорографии (от греческого слова ὥρος — год или время), т. е. местной летописи или хроники. По своему содержанию и характеру этот жанр стоит ближе всего к римским анналам. Харон был первым греческим историком, написавшим сочинение подобного рода. Это была история его родного города Лампсака (Ὧροι Λαμψακηνῶν). При составлении своей хроники Харон использовал списки местных должностных лиц, которые дали его сочинению необходимую хронологическую канву. К этой же группе логографов относятся Ксанф Лидийский и Антиох Сиракузский.

Совершенно особняком стоит в греческой историографии V в. любопытная фигура Гелланика Лесбосского, или Митиленского. Его обычно также включают в число логографов, хотя было бы трудно отнести его сочинения к одной из тех двух групп, о которых мы только что говорили. Время жизни Гелланика точно не установлено. Можно лишь предполагать, что он был старше Фукидида, который на него ссылается, и, возможно, также Геродота (по некоторым сведениям, он прожил 85 лет, захватив, таким образом, чуть ли не весь V в.). По широте интересов, обширности знаний и масштабности творчества рядом с Гелла-

ником трудно поставить кого-либо из историков как этого, так и последующего времени. Судя по всему тому, что мы о нем знаем, он был человеком поистине энциклопедической учености. Если сравнивать его с современниками по богатству и многообразию оставленного им литературного наследия, он оставит любого далеко позади себя. Геродот и Фукидид не написали и малой толики того, что было написано Геллаником. Собрание сочинений этого автора включало не менее тридцати названий больших трудов монографического характера. Весьма условно их можно разделить на следующие четыре группы: 1) мифографические; 2) этнографические; 3) хорографические и хронографические; 4) Varia: труды о переселениях народов, основаниях городов, народных обычаях, именах и изобретениях. В мифографических сочинениях Гелланика (сюда относятся «Форонида», «Атлантида», «Девкалиония», «Асопида», «Троика») систематически излагается вся греческая мифология, причем мифы распределяются по циклам. Например, в «Форониде» рассказывалось о переселениях пеласгов в Фессалию и Этрурию, о странствиях Геракла и Гераклидов. В «Атлантиде» были объединены сказания об Атланте и его потомстве, охватывавшие историю Крита и островов Эгеиды вплоть до Девкалионова потопа. В «Девкалионии» речь шла о самом потопе, о гибели первого поколения людей и о потомках Девкалиона, от которых пошли все эллинские племена. «Асопида» объединяла цикл фессалийских и вообще северогреческих мифов. «Троика» посвящена событиям Троянской войны. Таким образом, Гелланик систематизировал и литературно обработал почти все важнейшие греческие мифы. При этом, подобно Гекателю или Акусилаю, он позволял себе вносить в перелагаемые им мифы некоторые поправки и уточнения, устранял все, что ему казалось нелепым или невозможным с точки зрения здравого смысла. Так, Ахилл сражается у него не с речным богом Скамандром, как об этом повествует Гомер в XXI песни «Илиады», а борется с разлившейся вследствие выпавших дождей рекой того же названия. Мифологический эпизод, таким образом, демифологизируется, переводится в доступную пониманию читателя житейскую плоскость. В целом, однако, вопрос в достоверности мифов, по-видимому, не очень занимал Гелланика. В отличие от Гекатея он относился к ним более бережно и если и вносил какие-нибудь изменения, то в основном в назидательных целях.

Этнографические или географические сочинения Гелланика включают описания ряда варварских стран (в основном восточных). Среди них: «Египтиака», «Персика», «Скифика», «Лидиака», «Финикиака». По сохранившимся отрывкам видно, что Гелланика живо интересовала как история этих стран, так и обычаи населяющих их народов. «Египтиака»,

например, содержала подробное описание религии и быта египтян, а также некоторые сведения по политической истории Египта. Создается впечатление, что при работе над этим сочинением Гелланик использовал источники, отличающиеся от источников Геродота в его египетском логосе, и поэтому сообщает сведения, которых нет у Геродота. Так, об Амасисе I он сообщает, что до прихода к власти он был человеком незнатного происхождения и зарабатывал себе на жизнь плетением венков. Один из этих венков, подаренный царю Патармису, сыграл в жизни Амасиса решающую роль, так как позволил ему войти в число царских друзей.

Подобно Геродоту, Гелланик преклоняется перед мудростью египтян и считает их изобретателями многих полезных вещей, которые были заимствованы у них другими народами, в том числе и греками. Египтяне, по его словам, первыми начали культивировать виноградную лозу, хотя некоторые авторы приписывают это изобретение хиосцам. Египетское происхождение Гелланик приписывает некоторым греческим культам. Так, культ Диониса он связывает с почитанием Озириса. Много говорилось в его сочинении и о природе Египта (в одном из отрывков дается фантастическое объяснение причинам разливов Нила), о всякого рода достопримечательностях этой страны.

Другое этнографическое сочинение Гелланика «Персика» охватывало всю историю Персии, начиная с мифических времен и кончая греко-персидскими войнами. Интересна попытка историка связать персов и мидян с героями греческих мифов. Родоначальниками этих двух народов были, по его мнению, Перс, сын Персея и Андромеды, и Мед, сын Эгея и Медеи. В анонимном сочинении «О женщинах» содержится пересказ сообщения Гелланика о персидской царице Атоссе, дочери Ариаспа (очевидно, из того же его труда «Персика»). Атосса будто бы первой начала носить тиару и шаровары, ввела в царский дворец евнухов и начала отдавать распоряжения в письменном виде. Образ Атоссы (считалось, что она была дочерью Кира, супругой его сына Камбиса, а затем самозванца Лжесмердиса и, наконец, Дария I) вообще очень занимал воображение греческих историков и поэтов. Кроме Гелланика о ней писали также Геродот и Эсхил. В изложении хода греко-персидских войн Гелланик также кое в чем отступает от версии Геродота, хотя по-настоящему сравнить обе версии мы не имеем возможности.

Можно лишь пожалеть о том, что из книги Гелланика, посвященной Скифии, сохранились лишь три фрагмента. Судя по некоторым данным, в этом сочинении был собран обильный этнографический материал, который мог бы существенно дополнить информацию, содержащуюся в IV книге «Истории» Геродота и у других авторов.

Гелланику приписывается также древнейшее из всех известных сейчас специальных сочинений по истории Афин и Аттики — Ἀτθίς. Оно открывает собой целую серию сочинений этого рода.

Наконец, Гелланику принадлежит и еще одна важная заслуга перед исторической наукой. Он впервые попытался разработать четкую хронологическую систему для всей истории Греции. Следует иметь в виду, что как до Гелланика, так и после него в греческой историографии не было никакой общепринятой системы летоисчисления. В датировке отдельных событий существовал поэтому большой разнобой. Одни историки брали за основу своей хронологии списки высших должностных лиц своего родного города, как мы уже видели это на примере Харона Лампсакского, другие — списки жрецов или жриц какого-нибудь особо почитаемого святилища, третьи датировали все события по годам правления персидских царей и т. д. В периодизации древнейшего дописьменного периода греческой истории главную роль играл счет по поколениям. Хотя продолжительность одного поколения у разных историков могла сильно колебаться. Одни исчисляли его в 33 года, другие в 23, третьи в 40 лет. Гелланик попытался построить свою систему летоисчисления, взяв за ее основу списки жриц святилища Геры в Аргосе. Одно из его сочинений так и называется «Жрицы». По-видимому, это была хроника важнейших событий греческой истории, в которой датировка отдельных событий устанавливалась путем каких-то хитроумных калькуляций, и все они вместе взятые распределялись между жрицами аргосского святилища Геры. Там, где список жриц обрывался, Гелланик переходил к счету по поколениям, принимая за одно поколение хронологический отрезок длиною в 33 года. В этой части своего труда Гелланик целиком зависел от генеалогической поэзии, вследствие чего датировка отдельных событий здесь носила весьма произвольный характер. Впрочем, весьма приблизительной была, по-видимому, и хронология того периода, современником которого в его значительной части был сам историк, т. е. V в.

В своей работе Гелланик почти совершенно не пользовался письменными документами, которых в его время было, конечно, уже немало, а это почти неизбежно должно было лишить принятый им способ летоисчисления необходимой точности. Это необходимо иметь в виду, потому что разработанная Геллаником хронология использовалась в дальнейшем и многими другими греческими историками, в том числе Фукидидом, Эфором, даже Диодором. Да и вообще творчество Гелланика оказало, вне всякого сомнения, очень сильное воздействие на последующие поколения греческих историков. Огромная масса всевозможной исторической информации, которую он трудолюбиво собрал в своих

сочинениях, не могла исчезнуть без следа. Очевидно, она разошлась по рукам и использовалась в позднейшей историографии нередко без ссылок на первоисточник.

Подводя итоги всему изложенному выше, хочу напомнить еще раз о том, что, как и у всех народов древности, изучение прошлого у греков берет свое начало в мифологии и эпической поэзии. В течение долгого времени история была связана с мифологией через посредство генеалогии. Сами греки рассматривали эту связь как кровную связь «лучших» аристократических родов и всего народа в целом с его богами и героями. Мифы и пришедшие им на смену в архаическую эпоху исторические анекдоты или новеллы, т. е. материал устной фольклорной традиции, оставались главным источником фактической информации для каждого, кто пытался проникнуть умственным взором в более или менее отдаленное прошлое своей страны. Можно сказать, что без мифологии греческая историография, по крайней мере в древнейших ее разделах, вообще не могла бы существовать. По-настоящему ни один из греческих историков V в., даже Фукидид, так и не смог оторваться от материнского лона мифологической традиции. Никто из них так и не сумел подняться выше критики отдельных деталей в этой традиции и рационалистического истолкования чудес и вообще сверхъестественных явлений. Никому из них не приходила, да и не могла придти в голову та, для нас теперь совершенно естественная мысль, что лучше вообще отказаться от использования мифов и анекдотов в качестве полноправных исторических источников.

Главный прогресс в развитии исторической мысли, позволивший историкам V в. оторваться от их ближайших предшественников — эпических и всяких иных поэтов, был достигнут на другом направлении. Этим направлением было изучение современной или, как мы сказали бы теперь, новой и новейшей истории Греции и стран Востока. Развитие историографии этого рода стимулировалось в значительной мере теми важными историческими событиями (я имею в виду греко-персидские войны), в которые в первой половине V в. оказался втянутым весь греческий мир, и тесно связанным с этими событиями пробуждением этнического самосознания греческого народа.

Исторические труды, ориентированные на современность или на сравнительно недавнее прошлое, открывали широкий простор для научного поиска, позволяя историку использовать весьма многообразный, а главное, совершенно конкретный и живой материал — свидетельства очевидцев, письменные документы, сами места, где происходили недавно разыгравшиеся события. Сама пестрота этого материала (противоречивость свидетельств), а также и то, что он не успел еще превратиться

в традицию, застыть, не был окружен тем религиозным пиететом, которым были окружены мифы, — все это стимулировало широкое использование критического метода, использование таких приемов, как сличение свидетельств, происходящих из разных источников, выявление мотивов, которые побуждали одних информаторов говорить одно, других же совсем иное, наконец, собственные наблюдения историка, особенно если ему повезло и он сам стал участником описываемых событий, как это было с Гекатеем, а потом с Фукидидом и Ксенофонтом. Таким образом, приемы, уже прошедшие отчасти апробацию и отработанные в практике различных естественных наук, теперь переносились в совершенно новую область исследования — в изучение прошлого. По мере того как все дальше и дальше шел этот процесс, история все более отдалялась от мифологии и превращалась в науку. Первые успехи на этом нелегком пути были достигнуты уже логографами: Гекатеем, Геллаником и другими представителями этой плеяды греческих историков. Однако самые высокие достижения в применении критического метода по праву связываются с именами классиков греческой историографии V в. до н. э. — Геродота и Фукидида.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРУД ГЕРОДОТА

Биографические сведения о Геродоте крайне скудны (*ил. 8, 9*). Кроме тех немногих фактов, которые можно извлечь из его собственного сочинения, мы располагаем только краткими, малосодержательными и не, видимо, очень точными справками в словаре византийского лексикографа Суды.

Время рождения историка устанавливается с помощью сообщения писательницы Памфилы, современницы императора Нерона, о том, что к началу Пелопоннесской войны Геродоту было 53 года. Получается, таким образом, 484 г. до н. э., хотя свидетельство Памфилы вряд ли заслуживает доверия: оно опирается, видимо, на хронологические калькуляции александрийских грамматиков, которые, в свою очередь, могли отталкиваться от единственной твердо установленной даты в жизни историка — известно, что в 444 г. он участвовал в основании афинской колонии Фурии в Южной Италии. Если отбросить от этой даты назад 40 лет (сорокалетний возраст греки считали временем акмэ — физического и духовного расцвета человека), то как раз и получится 484 г.

Геродот, несомненно, еще застал начало Пелопоннесской войны: в IX книге «Истории» он упоминает о вторжении спартанцев в Аттику в первый год войны. В VI книге упоминается еще один эпизод, относящийся к 431 г., — выселение афинянами жителей Эгины с их родного острова. Известно, что спустя семь лет после этого, в 424 г., выселенные эгинеты были истреблены афинянами. Поскольку об этом событии Геродот ничего не сообщает, хотя он мог бы упомянуть о нем там же, где он говорит об изгнании эгинетов, кажется довольно правдоподобной догадка, высказанная Ф. Якоби, о том, что в 424 г. историка уже не было в живых. Так, путем весьма приблизительных подсчетов устанавливаются хронологические рамки жизни Геродота: родился около 484 г., умер между 431 и 424 гг.

Родиной Геродота был малоазиатский город Галикарнас. Основанный дорийскими колонистами, он находился на земле, издревле заселенной карийцами. Население Галикарнаса было поэтому смешанным — греко-карийским. Карийская кровь текла, по-видимому, и в жилах самого

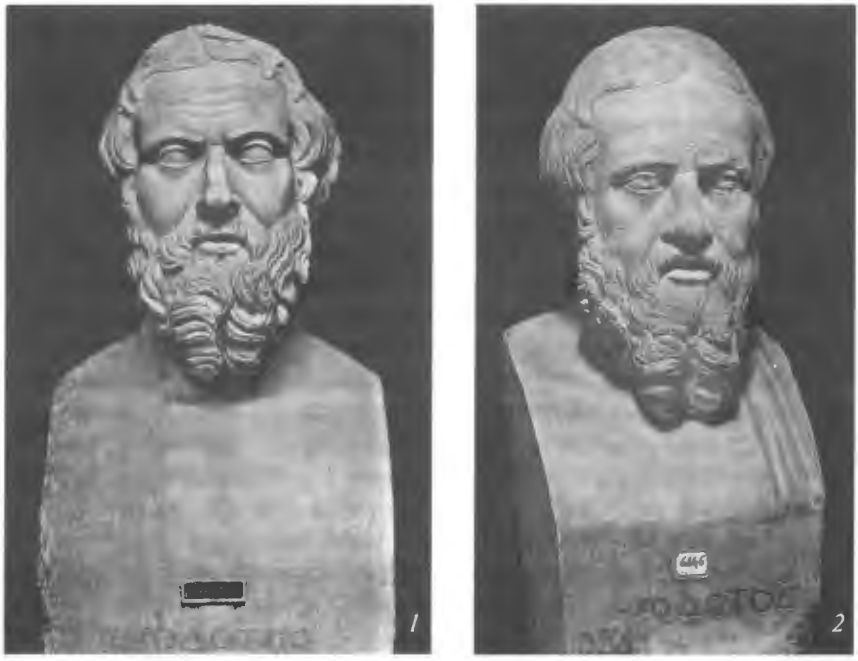
Ил. 8. Геродот и Фукидид. Двойная герма. Неаполь. Музей

Геродота. На это указывают явно негреческие имена его отца — Ликс и дяди (или, по другой версии, двоюродного брата) — Паниасид. Последний считался выдающимся эпическим поэтом своего времени и, кроме того, занимался жертвогаданиями. Геродот, таким образом, принадлежал к интеллигентной семье (конечно, по тогдашним понятиям), в которой литературный труд был весьма почитаем и, видимо, вошел в традицию.

В юности Геродот стал участником ожесточенной политической борьбы между галикарнасской знатью и тираном Лигдамидом, примкнув к антитиранической группировке. В этой борьбе сложил голову уже упоминавшийся Паниасид, дядя историка. Сам же Геродот вынужден был бежать, спасая свою жизнь.

Маршрут дальнейших скитаний Геродота нам неизвестен. Можно лишь догадываться о тех местах, где изгнаннику удалось найти хотя бы временный приют и гостеприимство. Одним из таких пристанищ был, вероятно, остров Самос, история которого занимает довольно много места в сочинениях Геродота (пространный рассказ о Поликрате в III книге). К жителям же острова историк питал такую симпатию, что в одном месте совершенно незаслуженно называет Самос «первым среди греческих и варварских государств».

Кроме Самоса Геродот, несомненно, хорошо знал близлежащие районы Малой Азии, в основном западную ее часть, заселенную греками. Судя по замечаниям, встречающимся в «Истории», он бывал в Эфесе, Сардах, Илионе, на Лесбосе, на берегах Геллеспонта. Хорошо знал Геродот и европейскую Грецию. В Беотийских Фивах он видел в храме Аполлона «кадмейские письмена», оставленные Амфитрионом и другими древними героями. По-видимому, довольно долго Геродот жил в Дельфах и сумел даже расположить к себе жрецов храма Аполлона. Об этом говорит его хорошее знакомство с закулисной историей знаменитого святилища. Так, в I книге, говоря о богатейших посвящениях, которые прислал в Дельфы лидийский царь Крез, Геродот упоминает о золотой кропильнице с надписью, из которой следует, что этот предмет был пожертвован в храм спартанцами. Историк, однако, тут же разоблачает подлог: «На самом деле и эта чаша — дар Креза, а надпись начертал один из дельфийцев в угоду лакедемонянам: имя его я знаю, но не назову». Побывал Геродот и в ряде городов Пелопоннеса. На Истме видел захваченный греками в бою финикийский корабль, который был установлен там как посвящение богам, бывал в Сикионе, в Тегее. Хорошо были знакомы Геродоту острова центральной части Эгейского моря, например Делос, а также и северные его берега. Не исключено, что им была предпринята специальная поездка в Македонию и Фракию. Об этих двух местностях он судит как



Ил. 9. Геродот: *1* — двойная герма. Неаполь. Музей; *2* — одинарная герма

очевидец, а к македонским царям испытывает даже особую симпатию, всячески стараясь затушевать их персофильскую позицию в годы греко-персидских войн. Наконец, у нас есть все основания для того, чтобы говорить о длительном пребывании Геродота в Афинах. Возможно даже, что он побывал здесь несколько раз в разное время.

Значительную часть своей жизни Геродот провел в длительных скитаниях по странам Востока. За эти годы он объездил огромное пространство от Ливии (район Кирены) до Вавилона и Экбатан, побывал в Финикии и Египте. В Египте он провел целых три месяца, поднявшись вверх по Нилу, до острова Элефантины, своими глазами видел знаменитые пирамиды, лабиринт и многие другие достопримечательности этой страны. Остается загадкой, на какие средства были предприняты все эти путешествия. Высказывалось предположение, в общем довольно правдоподобное, что Геродот, как и многие его соотечественники, совмещал чисто исследовательские цели с коммерческими, но в его собственном труде мы не находим даже намеков на это.

Наконец, в какое-то неизвестное нам время Геродот предпринял путешествие на крайний север греческого мира, добрался до Ольвии

и, возможно, посетил какие-то другие пункты на территории Северного Причерноморья (академик Рыбаков думает, что он побывал даже на Кавказском побережье в районе Диоскурии, но это маловероятно).

В 40-х годах V в. уже известным путешественником и ученым Геродот приезжает в Афины (возможно, не в первый раз). Здесь он, по-видимому, сблизился с Периклом и его кругом. В VI книге «Истории» (131) Геродот упоминает о рождении Перикла, которого сравнивает здесь со львом (матери Перикла Агаристе приснился сон, будто она родила льва). Эта вставка, хотя и очень краткая, видимо, была не случайна: историк, несомненно, хотел угодить вождю афинской демократии.

В Афинах Геродот мог познакомиться и, видимо, даже близко сошелся и с некоторыми другими выдающимися людьми. До нас дошла эпиграмма, написанная в его честь самим Софоклом, очевидно, подлинная. Сохранилось интересное свидетельство (у Евсевия) о публичных выступлениях Геродота в Афинах с чтением отрывков из «Истории» (в то время она, по-видимому, уже была написана, если не целиком, то в значительной своей части). Возможно, этими выступлениями Геродота был вызван выпад в его адрес со стороны Фукидида (его слова об историках-логографах, которые заботятся лишь о том, чтобы их сочинения были приятны для слуха). С этим сообщением можно связать и упоминание Плутарха о том, что афиняне специальным почетным декретом наградили историка большой денежной суммой в 10 талантов. Если это действительно так, то 10 талантов, заработанные Геродотом, представляют собой первый в истории пример литературного гонорара.

В 444 г. Геродот, как было уже сказано, покинул Афины с тем, чтобы участвовать в основании колонии в Фуриях. Колония эта была выведена в Италию по инициативе Перикла и должна была стать одним из очагов афинского влияния в Великой Греции. Кроме Геродота в основании Фурий принимали участие и некоторые другие известные в то время люди, в том числе знаменитый градостроитель Гипподам Милетский, философ-софист Протагор. В Фуриях Геродот провел остаток своих дней и здесь же, по-видимому, и умер. Поэтому некоторые из поздних античных авторов называют его «Галикарнасцем», другие «Фурийцем». Сохранилась эпитафия Геродота (ее приводит в своем словаре Стефан Византийский): «Гроб сей останки сокрыл Геродота, Ликсова сына. Лучший историк из всех, кто по-ионийски писал. Вырос в отчизне дорийской, но чтоб избежать поношенья, сделал Фурии он новой отчизной себе».

Сам Геродот, правда, продолжал считать себя гражданином Галикарнаса. Во всех дошедших до нас списках «Истории» она начинается следующими словами: Ἡροδότου Ἁλικαρνασσέος ἱστορίης ἀπόδειξις ἥδε («Это есть изложение исследования Геродота Галикарнасца»), и только

у Аристотеля в «Риторике» это начало изменено и читается вместо Ἁλικαρνασσέος — Ἡροδότου Θουρίου, но Аристотель мог и ошибиться, цитируя эту фразу по памяти, хотя сама его ошибка характерна: она показывает, как тесно связалось имя Геродота в сознании образованных греков с местом его последнего пристанища.

Тема и композиция труда Геродота

Сам Геродот формулирует свой замысел следующим образом: «Это есть изложение исследования Геродота Галикарнасца, (сделанное) для того, чтобы от времени не изгладилось в памяти все, что совершено людьми, а также чтобы не заглохла слава о великих и достойных удивления деяниях, совершенных частью эллинами, частью варварами, что касается как всего остального, так и причины, по которой между ними возникла война». Это вступление вызвало в свое время немало споров в науке, и до сих пор еще смысл его остается не вполне ясным. Неясно значение отдельных слов (например, слова ἔργα — одни переводят его как «деяния», другие как «сооружения») и всего этого предложения в целом.

Не вдаваясь в детальный анализ текста, т. к. это может завести нас слишком далеко в дебри филологической учености, можно выделить две основные идеи, заключенные в этом отрывке. 1). Историк видит свою цель в том, чтобы спасти от забвения «великие деяния, совершенные частью эллинами, частью варварами» (здесь замысел Геродота сближается с той главной целью, которую ставили перед собой еще эпические поэты, в том числе Гомер, — воспеть «славу мужей» (κλέα ἀνδρῶν, как сказано в «Одиссее»). 2). Однако вместе с этим Геродот стремится выяснить причину тех событий, о которых он собирается рассказывать, т. е. греко-персидских войн, и это говорит о том, что перед нами человек, который уже начинает отрываться от почвы мифологии, уже пытается мыслить научно. Эпические поэты никогда не ставили перед собой вопрос о причинах того, что произошло. Причины были известны им заранее — a priori. Они не занимались специальными изысканиями на этот счет. Правда, выяснением причин, а точнее «вины», вызвавшей то или иное бедствие, охотно занимались поэты трагические, например Эсхил, но это говорит только о том, что в сравнении с эпиками они могут считаться уже носителями какого-то иного типа мышления, который мы весьма условно можем определить как «рационалистический».

Конечно, Геродот был весьма далек от понимания подлинных причин событий, а тем более такого сложного события, как греко-персидские войны. В этом отношении он уступает Фукидиду, который уже приблизился к такому пониманию. Само слово αἰτία он употребляет скорее

в значении «вина», «прегрешение», чем «причина» или «источник» (это опять-таки сближает его с современными ему поэтами-трагиками). Однако уже одно то, что, не довольствуясь простым изложением фактов, он ставил своей целью найти главную причину или вину, породившую всю эту цепь событий, говорит о том, что он мыслил, как подобает настоящему историку.

Мы не знаем, как сложился замысел труда Геродота. С самого начала пришел он к мысли о том, что призван увековечить войну между греками и персами и доискаться до ее причин, или же этот замысел возник уже в процессе работы, а первоначальные его цели были иными? В свое время Ф. Якоби высказал предположение, что труд Геродота не был написан по заранее составленному плану, но вырос, можно сказать, стихийно, оформляясь постепенно, по мере того как шло накопление нового материала. В процессе работы замысел автора менялся. Первоначально Геродот собирался написать сочинение скорее географического или этнографического плана, чем собственно исторического, и, таким образом, превзойти Гекатея с его «Землеописанием». Однако в дальнейшем его увлекла история греко-персидских войн, и он на ходу изменил общее направление и цель своего изложения. Как думает Якóби, отдельные логосы, составляющие I книгу труда Геродота (экскурсы, посвященные Египту, Скифии, другим странам), первоначально не были логически связаны между собой. Каждый из них был задуман как вполне самостоятельное и логически завершенное повествование, и лишь на каком-то этапе работы они были слиты в единое целое, превратившись в экскурсы — отступления от основной темы. Первоначально число логосов могло быть больше, чем их теперь содержится в «Истории». Сам Геродот ссылается, например, на какой-то ассирийский логос, который в окончательной редакции его сочинения отсутствует.

Гипотеза Якоби встретила многочисленные возражения со стороны других исследователей, хотя мне она представляется весьма правдоподобной.

Сейчас трудно представить, как технически осуществлялась работа «отца истории» над его произведением. Едва ли все то, что мы находим в его труде, было написано по памяти. Вероятно, во время своих путешествий по Греции и другим странам Геродот вел нечто вроде дневников или путевого журнала, куда вносил все, что удавалось ему узнать о том или ином интересовавшем его событии или предмете. Позднее эти заметки подверглись отбору и литературной обработке. Некоторые выросли в пространные новеллы, другие так и остались краткими заметками.

Композиционно все сочинение Геродота распадается на две основные части. Первая представляет собой как бы необычно разросшееся введе-

ние к главной теме. Это введение охватывает целиком первые четыре книги из девяти и еще 27 глав пятой книги. Его основное содержание составляет рассказ о росте могущества Персидской державы, начиная с Кира и кончая Дарием I. В связи с этим в повествование вводится множество экскурсов этнографического, географического и собственно исторического характера. Они должны были дать читателю представление о тех странах и народах, которые были покорены персидскими царями и с которыми пришлось потом столкнуться грекам во время нашествия Ксеркса на Элладу. Некоторые из этих экскурсов разрастаются в целые книги (II — Египетская, IV — Скифская).

Вторая часть, которую можно считать главной, посвящена истории греко-персидских войн. Она распадается на три раздела. 1). Ионийское восстание (V, 28–VI, 32). 2). Походы Дария I на Грецию. 3). Поход Ксеркса. Заканчивается «История» описанием осады Сеста осенью 479 г. Едва ли Геродот собирался оборвать свой рассказ именно на этом месте. Скорее всего он просто не успел его закончить должным образом. На возможность дальнейшего развития темы указывают некоторые беглые заметки в тексте «Истории». Так, в VII, 213 автор обещает рассказать о смерти предателя Эфиальта в «последующих логосах». Обещание это не было, однако, выполнено.

В целом композиция труда Геродота отличается исключительной сложностью, можно даже сказать, прихотливостью. Она напоминает извилистую реку. Плывущий по ней никогда не знает, что ожидает его за следующим поворотом русла (сравнение принадлежит французскому филологу Круазе). Множество больших и мелких отступлений от основной темы (προσθῆκαι — «дополнения», как называет их сам Геродот) все время отвлекают внимание читателя, так что в конце концов он теряет логическую нить повествования и забывает о том, с чего, собственно, историк начал свой рассказ (ср. нанизывающий стиль восточных сказок). Отступления заключают в себе массу всевозможных любопытных сведений об удивительных происшествиях и явлениях природы, поступках великих людей, странных обычаях варварских народов, невиданных животных и растениях. Древние думали, что Геродот сознательно прибег к такой манере подачи материала, чтобы не слишком утомлять читателей однообразием повествования. Так думал, например, Дионисий Галикарнасский: «Геродот знал, — пишет он, — что слишком длинный рассказ утомляет уши слушателей, если говорить все время на одну и ту же тему. Но если через определенные промежутки делать паузы, это приятно воздействует на наш ум. Поэтому он хотел придать разнообразие своей работе, подражая Гомеру. Если мы берем его книгу, мы восхищаемся ею вплоть до последнего слога и хотим еще». Сравнение Геродота с Гомером,

к которому прибегает здесь Дионисий, не случайно. Древние догадывались о влиянии эпической поэзии на «отца истории» (Лонгин называл его ὁμηρικότατος), и эти догадки в общем не далеки от истины. Конечно, нельзя с уверенностью утверждать, что причудливая манера повествования, свойственная Геродоту, была результатом сознательного литературного приема. Такая расчетливость едва ли была в духе великого историка. Скорее всего обилие отступлений от главной темы следует приписать живой любознательности Геродота, которая дополнялась в его характере словоохотливостью, иногда переходящей в болтливость (и то и другое — чисто греческие черты). Вероятно, во многих случаях он и сам заранее не знал, в какую сторону повернет его рассказ в следующей главе.

Источники Геродота и его работа с ними

Главным источником информации были для Геродота, бесспорно, устные свидетельства очевидцев и участников событий (или просто людей, что-то слышавших и знавших). Поиски таких свидетелей и встречи с ними были, судя по всему, главной целью его разъездов. В этом отношении подготовительная работа Геродота была совершенно непохожа на работу современного историка, который имеет дело преимущественно с книгами и документами, а не с живыми людьми, и работает поэтому в библиотеках и архивах. В этом сказывается влияние на историю нашего бюрократического века. Любое событие, еще не успев произойти, тут же обрастает бумагами, входящими и исходящими. Историку поневоле приходится зарываться в эти бумажные груды, чтобы набрести хоть на крупицу истины. Вся прелесть исследовательской деятельности Геродота и других греческих историков до появления кабинетных ученых типа Эфора и Плутарха заключалась в том, что они шли по горячим следам событий и поэтому вынуждены были обходиться почти совершенно без письменных источников. Можно сказать, что они сами их создавали, записывая рассказы очевидцев. В этом смысле их работа ближе всего напоминает работу военных корреспондентов или следователей.

Среди информаторов Геродота мы видим людей всяких чинов и званий, различных национальностей, разной степени образованности. Здесь и греческие купцы, и персидские вельможи, египетские переводчики, жрецы и жрицы двух крупнейших греческих святилищ (Дельф и Додоны), даже два царя: Македонский Александр I Филэллин и спартанский царь — изгнанник Демарат. Изредка Геродот называет тех, от кого он получил те или иные сведения, поименно. Но чаще ограничивается ссылкой на каких-то анонимных свидетелей, указывая только на их место жительства, вроде «говорят коринфяне или афиняне», «рассказ этот передают арка-

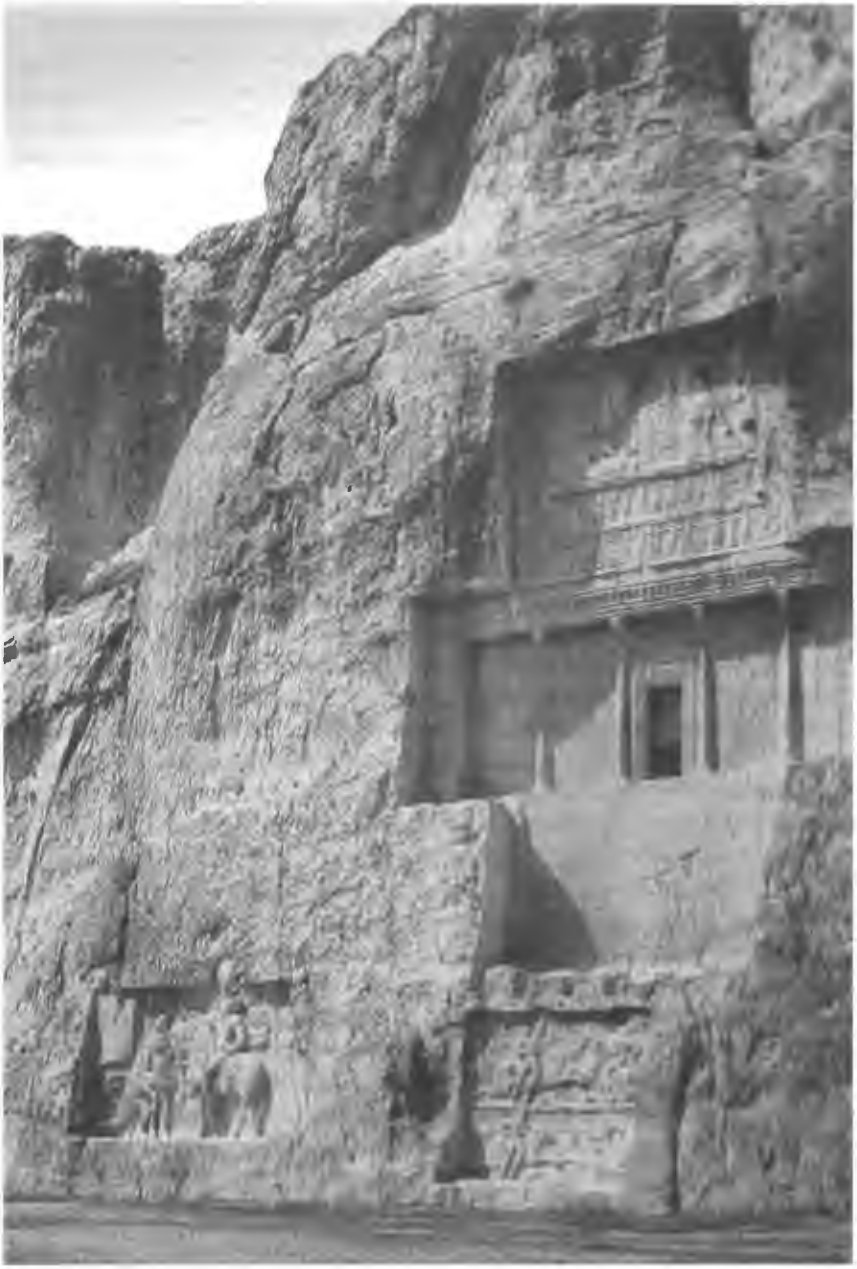
дяне» и т. п. В таких случаях обычно бывает неясно, что, собственно, имеется в виду: а) устная информация, полученная от жителей города или местности, где побывал автор, или в) информация, полученная каким-то окольным путем, но со ссылкой на первоисточник, или, наконец, с) информация, почерпнутая из какого-то письменного источника, происходящего из названного города или страны. Более вероятно все же, что в большинстве случаев Геродот вкладывает в глагол «говорят» его буквальный смысл, так как во время своих скитаний он наверняка старался добыть все необходимые ему сведения, так сказать, из первых рук.

Сам Геродот признает, что его информаторы наговорили ему много такого, во что он никак не мог поверить. Тем не менее как объективный исследователь он старался запомнить и записать все, что он слышал, очевидно, допуская, что среди его читателей найдутся люди, которые смогут по-иному взглянуть на тот же самый предмет и увидят истину там, где ему мерещился вымысел. Так, поясняя во II книге, какие источники он положил в основу своего египетского логоса, историк замечает: «Нынешними рассказами египтян пусть пользуются те, кому они кажутся правдоподобными: у меня же на протяжении всего моего рассказа предполагается, что я записываю со слуха то, что рассказывают все». И в другом месте та же мысль выражена еще короче: «Я обязан передавать то, что мне говорят, верить же всему не обязан». В действительности Геродот был, конечно, весьма легковерным человеком. Его легковерию, а в равной степени и словоохотливости мы обязаны теперь тем, что имеем в своем распоряжении богатейшее собрание фольклорных сюжетов как греческого, так и восточного происхождения. Окажись на месте Геродота сухой прагматик и скептик типа Фукидида, и все это бесценное богатство было бы для нас безвозвратно утрачено.

Следует иметь в виду, что во время своих путешествий за пределами Греции, например в Египте или Персии, Геродот всецело зависел, так как он не знал чужеземных языков, от своих проводников и переводчиков. В большинстве своем это были, по-видимому, случайные невежественные люди, имевшие самые сумбурные представления о прошлом своей собственной страны. Как и все гиды, они готовы были ради заработка наплести доверчивому иностранцу самые невероятные небылицы, нисколько не заботясь об их исторической достоверности. Хоу и Уэллс в своих комментариях ко II египетской книге «Истории» замечают: «Представим себе неглупого иностранца, составляющего историю Англии по рассказам служителей Вестминстерского аббатства или церкви Св. Павла в Кентербери. Это даст нам возможность ясно представить себе, в каком положении оказался Геродот, имея такие источники». Действительно, вся история Египта, за исключением сравнительно близкой

к историку эпохи правления Саисской династии, имеет у Геродота совершенно фантастический вид, в чем виноваты, конечно, в значительной мере его осведомители из числа самих египтян или греков, натурализовавшихся в этой стране.

Конечно, далеко не всегда наш историк оказывался в таком глупом положении, как это случилось с ним в Египте. Встречались и среди его осведомителей люди добросовестные, а, главное, хорошо информированные. Так, историю Персии Геродот писал, основываясь, судя по всему, на каких-то доброкачественных источниках. Многие его сообщения подтверждаются, как считают иранисты, показаниями документальных источников. Например, история переворота, учиненного самозванцем Лжесмердисом, и последующего контрпереворота Дария, сына Гистаспа, в изложении Геродота в основном совпадает с тем, что рассказывает сам Дарий I в знаменитой Бехистунской надписи. Опубликованная в 1932 г. так называемая гаремная надпись Ксеркса из Персеполя в целом подтверждает то, что сообщает Геродот о династических смутах и борьбе за престол после смерти Дария (*ил. 10*). К сожалению, нам неизвестно, на каких именно источниках основывался историк в этой части своего труда. Сам он их нигде не называет. На этот счет высказывались самые разнообразные предположения. Некоторые исследователи считают, что информаторами Геродота были знатные персы, хорошо осведомленные о всех тайнах внутриполитической истории Персидской державы. Называют, например, имя Зопира, сына персидского полководца Мегабиза, разбившего афинян в Египте в 454 г. В 40-х гг. V в. Зопир перебежал в Афины, и Геродот мог здесь с ним встречаться до того, как отправился в Фурии. Другие думают, что информаторами историка о персидских делах могли быть греки, натурализовавшиеся в Персии и близкие ко двору Ахеменидов, например потомки Фемистокла или Метиоха — сына Мильтиада, попавшего в плен к персам и с почетом принятого Дарием. Наконец, Геродот мог использовать и кое-какие официальные документы канцелярии Ахеменидов, переведенные на греческий язык и распространявшиеся в греческих городах Малой Азии. Было замечено, что иногда в его языке появляются обороты, типичные для фразеологии официальных персидских документов. Так, в V книге Геродот цитирует письмо царя Дария к милетскому тирану Гистиэю, начинающееся словами: «Гистиэй, царь Дарий говорит тебе...» Выражение «говорит царь Дарий» повторяется в одной только Бехистунской надписи 72 раза. Конечно, письмо Дария могло быть и сочинено Геродотом (ничего предосудительного ни он сам, ни его читатели в этом не увидели бы), но при этом он использовал некоторые клише, характерные для жаргона дворцовых канцелярий Персидского царства.



Ил. 10. Гробница Дария I. Накши-Рустам. V в. до н. э.

Вообще обращение к документальным источникам носит в «Истории» Геродота скорее эпизодический характер. Надписи и другие документы используются чаще всего не как самостоятельные источники, а только для иллюстрации какого-нибудь сообщения, полученного совсем другим путем. Иногда Геродот довольно точно близко к тексту передает содержание прочитанного им документа. Так, рассказав в VII книге о гибели спартанского отряда во главе с Леонидом в битве при Фермопилах, он дословно цитирует стихотворную эпитафию, вырезанную на памятной стеле. Встречаются, однако, и досадные случаи непонимания текста документа или прямой его фальсификации. Обычно это происходит с иноязычными текстами. Во II книге Геродот передает содержание нескольких египетских надписей со слов своих информаторов, в том числе содержание надписи, находившейся в нижней части пирамиды фараона Хеопса, надписи на каменной статуе фараона Сефа и других. Все эти надписи истолкованы им или, скорее, его переводчиками совершенно превратно. Прямой выдумкой Геродота или какого-то его осведомителя следует признать сообщение о стеле, на которой было вырезано изображение всадника с надписью: «Дарий сын Гистаспа обрел себе персидское царство доблестью своего коня и конюха Эбара». Ошибку историка здесь можно объяснить тем, что он что-то слышал о надписи Дария I на Бехистунской скале, но неправильно истолковал ее значение, подогнав его к истории о том, как Дарий с помощью своего конюха обманул своих соперников — других претендентов на царский трон из числа персидских вельмож. Еще один случай того же рода (правда, он произошел с Геродотом у него на родине, в Греции). В беотийских Фивах, в святилище Аполлона Исмения, историк увидел надписи, сделанные кадмейскими письменами на древних треножниках. Одну из этих надписей он довольно уверенно переводит: «Амфитрион меня посвятил, одолев телебоев» и даже пытается датировать: «Эта надпись, быть может, относится ко временам Лаия, сына Лабдака, внука Полидора, правнука Кадма». Несмотря на свою самоуверенность, Геродот здесь явно попал впросак. Мы не знаем, правда, что он называет в данном случае «кадмейскими письменами». Если предположить, что это были знаки микенского слогового письма, то Геродот, конечно, не смог бы их прочесть. Если же, что более вероятно, надписи были сделаны литерами древнейшего греческого алфавита, изобретение которых приписывалось Кадму (отсюда и их название), тогда историку была подсунута заведомая фальшивка: Амфитрион не мог сообщать о своей победе с помощью письменности, появившейся в Греции лишь в VIII в.

Кроме надписей Геродот использовал и некоторые другие письменные источники: храмовые хроники, сборники оракулов вроде так назы-

ваемых Дельфийских гипомнемата, сочинения греческих историков предшествующего поколения (правда, из них всех он ссылается на одного лишь Гекатея, да и то только четыре раза), наконец, произведения древних поэтов и прежде всего Гомера. Труды логографов и эпическая поэзия были для Геродота главными источниками информации в тех разделах его сочинения, которые были посвящены древнейшему мифическому прошлому Греции и стран Востока. Хотя преимущественно — мне хочется еще раз это подчеркнуть — Геродот писал свою «Историю» по слухам, а не по книгам.

Методы критики источников, используемые Геродотом, крайне несовершенны. Они не выходят за пределы того наивного рационализма, с которым подходили к своим источникам Гекатей и другие логографы. Если верить Геродоту, он не довольствовался простой записью доходивших до него слухов, но пытался их проверять, сопоставлять и на основании таких сопоставлений делать собственные умозаключения. Это и есть то, что сам он называет «исследованием» (ἱστορίη).

В действительности наглядная демонстрация этих исследовательских принципов Геродота встречается в его сочинениях не столь уж часто. Нередко он идет по линии наименьшего сопротивления, предоставляя читателю самому выбирать одну из нескольких версий, имеющихся в сообщениях о том или ином событии. «Приводят две причины смерти Поликрата. Можно верить какой угодно из них», — меланхолически замечает Геродот в заключении своего рассказа о знаменитом самосском тиране. Или выбирает ту версию, которая кажется ему наиболее правдоподобной, но не объясняет, почему именно. Так выбирается, например, вариант кончины Кира в битве с массагетской царицей Томирис — I, 214. Иногда историк честно сознается в своей неспособности выбрать наиболее правдоподобную версию, как, например, в рассказе о битве при Ладе: «С того момента как флоты сблизились и вступили в бой, я не могу в точности описать, кто из ионийцев в этом сражении оказался храбрецом, а кто трусом. Они ведь взаимно обвиняют друг друга» (VI, 14). В некоторых случаях Геродот лишь отделяет то, что он видел своими собственными глазами и за достоверность чего он, следовательно, ручается, от того, о чем он знал только с чужих слов. Так предупреждает он читателя во II книге о неполноте своих знаний о Египте: «До города Элефантины я все видел своими глазами, а о том, что находится за ним, знаю уже только понаслышке и расспросам».

Лишь изредка получаем мы возможность заглянуть в исследовательскую лабораторию великого историка, и тогда выясняется, что главным критерием истины был для него так же, как и для большинства греческих историков, начиная с Гекатея, нормальный человеческий рассудок,

способный без большого труда отличить правдоподобное свидетельство от неправдоподобного. Этим орудием научной критики Геродот пользуется подчас с большим блеском и остроумием. Примерами могут служить история гетеры Родопис во II книге (134–135) или рассказ о возвращении Ксеркса из его похода на Грецию (VIII, 118–119). Иногда рационализм Геродота заводит его даже слишком далеко, и он ставит под сомнение те факты, которые нам теперь представляются бесспорными. Так, в рассказе о плавании финикийцев вокруг Ливии (IV, 42) оспаривается именно та единственная деталь, которая для нас теперь является главным залогом достоверности всего рассказа.

Критерий правдоподобия применяется Геродотом крайне непоследовательно. В одних случаях он ставит под сомнение или даже совсем отвергает фантастические домыслы своих информаторов. Так, категорически отвергаются в IV книге сообщения о людях с козьими ногами (гл. 25) и о других людях, которые спят 6 месяцев в году, о превращении людей из племени невров в волков, о происхождении скифов от Зевса и дочери Борисфена. В других случаях, однако, принимаются на веру без какой-либо критики вымыслы ничуть не хуже первых. Таковы сообщения в той же IV книге (в Ливийском логосе) о людях-песьеглавцах и людях, совсем лишенных головы, с глазами на груди, или в III книге (102–105) леденящий кровь рассказ о муравьях величиной с собаку, будто бы обитающих где-то в Индии, в местности, богатой золотым песком.

Чаще всего без всякой критики переносит Геродот в свой труд и множество всевозможных логосов, т. е. рассказов, новелл, анекдотов о необыкновенных событиях. Как правило, в этих новеллах действуют нормальные люди, отнюдь не песьеглавцы и не какие-нибудь иные сверхъестественные существа. Нередко их героями являются достаточно известные и, несомненно, существовавшие исторические личности: Солон, Крез, Дарий I, знаменитые греческие тираны и многие другие персонажи, хорошо известные из истории Греции и стран Востока. События, которые в них происходят, в общем вполне правдоподобны, и нас не должно особенно удивлять то обстоятельство, что Геродот принимал их на веру, по-видимому, безо всякой проверки. В большинстве своем эти рассказы весьма занимательны по содержанию и в то же время заключают в себе какое-нибудь полезное нравоучение. Этим они отличаются от древних мифов, которые, во-первых, повествуют о вещах невероятных, во-вторых же, совершенно аморальны. Эти новеллы составляют едва ли не главное очарование книги Геродота. Благодаря им за ним утвердилась слава одного из лучших рассказчиков всех времен, который писал, как сказал когда-то Гиббон, иногда для детей, а иногда для философов.

Однако, если подходить к этим занятным историям с позиций строго научного источниковедения, подавляющее их большинство придется отбросить в сторону как не представляющее никакого интереса для исторической науки. Степень их исторической достоверности ничтожно мала. Историку просто нечего делать с этими новеллами. Фольклористу же или филологу они могут дать очень много. Благодаря Геродоту дошли до нас настоящие жемчужины устного народного творчества как греков, так и народов Востока. Следует, правда, заметить, что в своем чистом виде образцы восточного фольклора встречаются у Геродота сравнительно редко. Обыкновенно он использует переработки восточных сказок и легенд, к которым явно приложили руку какие-то греческие рассказчики, купцы или матросы, вообще бывалые люди, с которыми историку доводилось встречаться во время его путешествий.

Образцом такого синтеза греческих и восточных фольклорных традиций в книге Геродота может служить прелестная сказка о двух братьях — ловких ворах и обманщиках, которым удалось одурачить самого египетского царя Рампсинита (II, 121). Один из них, правда, лишился при этом головы. Однако другой довел начатое ими дело до конца и получил в награду руку царской дочери. Место действия и действующие лица здесь, конечно, во многом условно египетские; но дух предприимчивости и необыкновенной изворотливости, пронизывающий всю сказку, безусловно, чисто греческий.

Многие геродотовские новеллы имеют своей основой бродячий сюжет, в котором по произволу рассказчика могут быть изменены имена действующих лиц, название страны, эпоха и т. д., но фабульная схема остается прежней. Так, знаменитый перстень Поликрата, брошенный в море, чтобы испытать судьбу, первоначально расценивался, как думают фольклористы, как символ морского могущества тирана, его талассократии (сам жест тирана, швырнувшего перстень в морскую пучину, вероятно, символизировал обручение земного властителя с морской стихией). Во многом сходную символику можно найти в еще одном памятнике греческой литературы классического периода — в поэме о Тезее, принадлежащей поэту Бакхилиду. Но у Бакхилида кольцо бросает в море уже не Поликрат, а Минос, царь Крита. Кольцо чудесным образом возвращается к нему, после чего он погибает.

Конечно, Геродот сам не может считаться автором этих новелл. Многие их них были известны задолго до него. Немало такого рода материала, вероятно, можно было бы найти в сочинениях логографов — предшественников Геродота. Вероятно, существовали и пользовались популярностью (может быть, уже в VI в.) специальные сборники всякого рода занимательных историй так же, как были в ходу, например, сборники

басен Эзопа. Уже Ксенофан Колофонский противопоставлял нравоучительные новеллы нового времени нелепым и безнравственным древним мифам:

> Это рассказывать надо зимой, развалившись небрежно
> Возле огня, на лежанке, наполнив едою желудок,
> Сладким вином запивая, горох грызя помаленьку...
> Тот лишь достоин хвалы, кто за бокалом вина
> То, что запомнил, расскажет, стремясь к благородному в сердце,
> Вместо нелепой брехни, выдумок прежних людей,
> Будто боролись с богами титаны, гиганты, кентавры.

Геродот, таким образом, не несет ответственности за все те вымыслы, которые проникли в его «Историю» вместе с многочисленными логосами. В большинстве случаев он лишь пересказывал то, что он где-то прочел или услышал. Историческая критика в новеллах встречается довольно редко и обычно касается лишь каких-нибудь второстепенных деталей. Так, в рассказе о ловком воре, обманувшем царя Рампсинита, историк усомнился лишь в одной детали — в том, что царь действительно сделал свою дочь гетерой и заставил ее принимать на своем ложе всех мужчин без разбора в расчете на то, что один из них окажется вором.

Итак, весьма значительная часть «Истории» Геродота имеет к настоящей истории лишь самое отдаленное отношение, поскольку основой ее является фольклорная традиция. Хорошо сказал по этому поводу Масперо: «Памятники некогда поведают нам о делах Хеопса, Рамзеса, Тутмоса, от Геродота же мы узнаем то, что говорили о них на улицах главного города». Эту цитату можно дополнить остроумным наблюдением А. Боннара: «...Геродоту словно хочется, чтобы история была чем-то вроде сказки, но с доказательством того, что описанное в ней случилось на самом деле»[11].

Достоверность различных частей труда Геродота неодинакова. Как правило, она зависит от тех источников, которыми историк располагал при работе над тем или иным разделом своего сочинения. Можно установить довольно простую закономерность: чем дальше отстоят от Геродота во времени или в пространстве какие-то события или факты, тем хуже он их себе представляет, тем больше нелепого и фантастического в его рассказе. Так, совершенно фантастической выглядит в его изображении древнейшая история Египта. Само Египетское царство существует уже более 15 тыс. лет. Сначала страной правили боги. Первым из смертных царей был Мин, начиная с которого правили 330 царей, и только двое

[11] *Боннар А.* Греческая цивилизация. Т. II. М., 1959. С. 161.

из них совершили что-либо значительное. Это — царица Нитокрис (личность, видимо, мифическая) и царь Мерид (Аменемхет III, правивший в конце XIX в. до н. э.). Довольно много рассказывает Геродот о царе Сесострисе, который в действительности никогда не существовал. Его образ составлен, как считают египтологи, из двух исторических личностей: царя XII династии (нач. II тыс. до н. э.) Сенусерта III и Рамзеса II (XIII в. до н. э.). Никогда не существовал и царь Ферон. Скорее всего это — искаженный титул фараон. Царь Протей заимствован из греческой мифологии (впервые он появляется в «Одиссее» Гомера как морской старец, способный превращаться в различных животных). Древнейшие фараоны — Хеопс, Хефрен и Микерин, — правившие в начале III тысячелетия, стоят в самом конце списка Геродота. Более или менее достоверные сведения сообщает он лишь о царях саисской династии (VII–VI вв.), хотя и здесь тоже много всякого анекдотического материала.

Другой пример: геродотовское описание Скифии в IV книге «Истории» считается в общем довольно достоверным. Специалисты-археологи и историки Северного Причерноморья находят все новые подтверждения правдивости сообщений Геродота о культуре и обычаях скифов в данных раскопок, главным образом в произведениях изобразительного искусства, происходящих из курганов скифской знати. Так, Геродот описывает обряд побратимства у скифов, при котором братающиеся подмешивали в чашу с вином свою кровь и пили, одновременно касаясь губами краев чаши. Эта сцена довольно точно воспроизведена на скифских золотых бляшках, найденных в одном из курганов. Информацию о жизни и обычаях скифов историк мог получить от греческого населения Ольвии, жившего в непосредственном соседстве с этими воинственными кочевниками. Однако представления Геродота о племенах, живущих дальше к северу и северо-востоку от скифских степей (андрофагах, неврах, будинах, аргиппеях, исседонах) уже гораздо более туманны, расплывчаты и перемешаны со всякой небывальщиной. Очевидно, информаторы Геродота сами не бывали в этих краях, населенных совершенно дикими и поэтому опасными людьми, а знали о них лишь понаслышке, со слухов, которые передавались по цепочке от одного племени к другому, постепенно обрастая новыми и все более невероятными подробностями.

Наиболее достоверной считается вторая, основная, часть «Истории», посвященная событиям греко-персидских войн, и в особенности три последние книги, содержащие рассказ о походе Ксеркса, хотя и здесь можно при желании найти сколько угодно как сознательных, так и неосознанных отклонений от истины.

Специального рассмотрения заслуживает вопрос об использовании Геродотом мифологической традиции. Как и все греческие историки

старшего поколения, он обращается к мифам в силу необходимости, просто потому, что никаких других источников информации о древнейшем прошлом Эллады и соседних с ней стран у него не было. В крайне противоречивый, хаотически перемешанный материал мифологической традиции он пытается внести хотя бы относительный порядок. Для этого устанавливаются основные точки отсчета, позволяющие дать хотя бы приблизительную датировку важнейшим событиям мифической эры. Так, неизвестно каким путем Геродот приходит к выводу, что Гомер жил за 400 лет до его собственного времени, т. е. около 850 г. Троянская же война была за 400 лет до Гомера, т. е. около 1250 г. Также уточняется происхождение некоторых мифологических свидетельств. На основании противоречий, существовавших между «Киприями» (одной из поэм так называемого Цикла) и «Илиадой», Геродот приходит к выводу, что первое из этих произведений не могло принадлежать Гомеру, что делает честь его историческому чутью. Сами свидетельства мифов, однако, никогда не отвергаются историком. Как правило, он принимает их за истину, но при этом позволяет себе весьма свободно обращаться с их сюжетами, всячески переделывая и перекраивая их, стремясь по возможности свести к минимуму элемент сказочной фантастики и, таким образом, превратить миф в обычный логос или историческую новеллу. С необыкновенными образцами такого перетолковывания мифов на новый лад мы сталкиваемся на первых же страницах «Истории», там, где Геродот говорит о начальных истоках вражды между греками и азиатскими варварами (см. I, 1–2, 5). Ссылка на персидские и финикийские источники здесь носит явно мистифицирующий характер, хотя и трудно понять, сам Геродот был введен в заблуждение какими-то своими собеседниками, или же он сознательно пошел на подлог, придумав персидских и финикийских информаторов, чтобы придать больше веса своему рассказу. В действительности ни персам, ни финикийцам не было, конечно, никакого дела ни до Ио, ни до Европы и Медеи, ни до Елены Прекрасной. Едва ли они вообще о них что-нибудь знали. Заметим также, что в своем перетолковывании мифов Геродот заходит гораздо дальше всех своих предшественников, включая Гекатея. По существу, он совершенно выхолащивает содержание мифа, устраняя из него богов как главных действующих лиц. Так, из истории Ио исчезает Зевс, влюбленный в прекрасную нимфу, а с ним и его ревнивая супруга, обратившая Ио в телку. Ничего не говорится и о самом превращении. Точно так же поступает Геродот и с мифом о похищении Европы. Вместо Зевса, от любви к финикийской царевне ставшего быком, здесь появляются какие-то эллины, не названные даже по имени (историк ограничивается лишь догадкой о том, что это были, видимо, критяне). Не оспаривая прямо

древние канонические версии каждого использованного им мифа, Геродот недвусмысленно намекает читателю на их лживость, предлагая свою исправленную и отредактированную, так сказать, в духе времени версию сказания. При этом он как бы подмигивает и потихоньку говорит своему читателю: «Вот мы-то с вами знаем, какими глупыми были эти древние сочинители, вообразившие, что Зевс превратился в быка, а Ио по прихоти Геры стала коровой». Не исключено, что испугавшись своей собственной смелости и понимая, что найдется немало людей, которым его переделки мифов придутся не по вкусу, историк как раз и решил укрыться за вымышленными персидскими и финикийскими источниками. Интересна также и смелая попытка Геродота связать все эти события прошлого, весьма удаленные друг от друга как географически так и хронологически, единой логической нитью и построить, таким образом, некое подобие общей концепции всемирной истории, в основу которой была положена идея извечной вражды между эллинами и варварами. В этом смысле Геродот стоит как бы на полпути между логографами и Фукидидом, который будет использовать материал мифов для построения уже не просто событийной, но политической и даже социально-экономической истории древности.

Примеры критической переоценки мифов можно найти и в других частях сочинения Геродота. Так, во II книге (гл. 43–44) историк рассказывает, что ему удалось узнать во время его пребывания в Египте о Геракле. Итог предпринятого исследования был ошеломляющим. Оказалось, что Гераклов было двое, а не один, как по простоте душевной думали все эллины. Первый Геракл — древний египетский бог, входивший в число 12 главных богов этой страны. Поклонялись Гераклу и финикийцы (Геродот предпринял специальную поездку в Тир, чтобы посетить там древний храм этого божества, очевидно, святилище Мелькарта, которого греки отождествляли со своим Гераклом). Другой Геракл был просто героем, сыном смертных родителей Амфитриона и Алкмены, родился он тогда, когда его божественный тезка был уже давно известен и почитаем. «Поэтому, — заключает Геродот, — как я думаю, совершенно правильно поступают некоторые эллинские города, воздвигая два храма Гераклу. В одном храме ему приносят жертвы как бессмертному олимпийцу, а в другом — заупокойные жертвы как герою». Попутно изобличаются во лжи авторы занятной сказки о том, как Геракл во время своих скитаний по свету забрел в Египет и там едва не был принесен в жертву на алтаре Зевса (см. гл. 45). Другой пример — рассказ о голубках (II, 57).

Весьма любопытна и явно рассчитана на сенсацию и новая редакция мифа о Троянской войне, которую предлагает Геродот своим читателям

в той же II египетской книге (113–120). Согласно этой редакции (ее источником были, как уверяет Геродот, рассказы каких-то египетских жрецов), во время осады Трои Елены Прекрасной и похищенных Парисом сокровищ Менелая в городе не было. И то и другое будто бы изъял у похитителя мудрый и справедливый египетский царь Протей, когда корабль Париса был занесен ветром в устье Нила. Греки, таким образом, совершенно напрасно осаждали Трою целых десять лет, и вся эта история была лишь сплошным трагическим недоразумением. Геродот довольно остроумно обосновывает свою особую позицию в этом вопросе в 120-й гл.: «...Конечно, ведь ни Приам, ни остальные его родственники не были столь безумны, чтобы подвергать опасности свою жизнь, своих детей и родной город для того лишь, чтобы Александр мог сожительствовать с Еленой. Если бы они даже и решились на это в первое время войны, то после гибели множества троянцев в битвах с эллинами, ...я уверен, что живи даже сам Приам с Еленой, то и он выдал бы ее ахейцам, чтобы только избежать столь тяжких бедствий... Все это, по-моему, было заранее уготовано божеством, чтобы их полная гибель показала людям, что за великими преступлениями следуют и великие кары богов. Вот что я сам думаю об этом»[12]. Этот пример, пожалуй, ярче и наглядней, чем какой-нибудь другой, показывает, насколько глубоко мифологический стиль мышления сидел еще в сознании Геродота. Мифология была для него, если можно так выразиться, его родной стихией. Сама бесцеремонность, с которой он поправляет древних поэтов и иных рассказчиков мифов, говорит о том, что традиции мифотворчества были еще живы в сознании историка и его современников, что они ощущали себя полноправными участниками этого увлекательного процесса.

Конечно, новые мифы, которыми Геродот хотел заменить старые, уже отжившие свое сказания, во многом от них отличались. Как было уже сказано, они были более рационалистичны, из них почти совершенно была изгнана всякая фантастика, все сверхъестественное. И стилистически, и по содержанию они, как мы уже говорили, уподобляются обычным геродотовским логосам.

Но, несмотря на все это, они остаются мифами, пока и поскольку в них продолжают действовать древние герои, хорошо известные каждому эллину. Да и боги, хотя Геродот нередко вычеркивает их из списка действующих лиц в своих переработках мифологических сюжетов, так, в сущности, и не ушли из его повествования, оставшись тут же неподалеку.

Таким образом, мы вплотную подошли к следующему вопросу.

[12] *Геродот*. История в девяти книгах / пер. и примеч. Г. А. Стратановского. Л.: Наука, 1972. С. 115 сл.

Мировоззрение Геродота и его религиозные взгляды

Как это ни парадоксально, но при всем своем свободомыслии, сказавшемся в критике мифологической традиции, подчас довольно смелой, великий историк оставался человеком благочестивым и, можно даже сказать, богобоязненным. Весьма характерна для него оговорка, которой заканчивается рассуждение о двух Гераклах: «Да помилуют нас боги и герои за то, что мы столько наговорили о них». Смелые вылазки в запретную зону мифологической премудрости совершаются в «Истории» с оглядкой на обитателей этой зоны — олимпийцев: как бы их чем-нибудь не прогневить.

Иногда мы встречаем у Геродота довольно здравые суждения о природе вещей, в которых, по-видимому, сказывается влияние на него ионийской натурфилософии. Вот несколько примеров. Когда на флот Ксеркса, вставший на якорь у мыса Сепиада, обрушилась страшная буря, персидские маги с помощью жертв и заклинаний усмирили ее, «а, может быть, — добавляет историк скептически, — она сама по себе улеглась». В другом месте персидский вельможа Артабан высказывает здравую мысль о природе сновидений, довольно близко смыкающуюся с мнением Демокрита на этот счет: во сне в виде призраков или образов перед нами является то, о чем мы думаем днем. Геродот не берется решать, была ли психическая болезнь Камбиза наказанием богов за кощунственное убийство священного быка Аписа, или же ее вызвала какая-нибудь другая причина. Он замечает, однако, что так как Камбиз с самого рождения страдал так называемой священной болезнью, т. е. эпилепсией, то вполне естественно, что и рассудок его не мог быть в полном порядке.

Однако рядом с этими проблесками рационализма мы обнаруживаем в сочинении Геродота детски наивную веру в чудеса, гадания, вещие сны. Чудо спасает храм Аполлона в Дельфах от захвата и осквернения его персами. Как только варвары приблизились к святилищу, на них обрушились молнии, с Парнаса со страшным грохотом низверглись две вершины, раздавив множество персидских воинов, из святилища доносились тем временем загадочные голоса и боевой клич. Напуганные всеми этими грозными знамениями персы обратились в бегство. Многие из них потом рассказывали, что бегущих преследовали два воителя, ростом намного превосходившие простых смертных. Впоследствии оказалось, что это были два местных дельфийских героя: Филак и Автоной. На самом деле никаких чудес и никакого побоища в Дельфах, конечно, не было. Персы просто обошли этот город стороной, зная о лояльности дельфийского жречества, занимавшего в те годы определенно

персофильскую позицию. Геродот, ничтоже сумняшеся, принял на веру всю эту чудесную историю, явно сочиненную жрецами Аполлона для того, чтобы обелить себя в глазах греческого общественного мнения. Точно так же, по словам историка, и богиня Деметра не пустила варваров в свое святилище в Элевсине.

Очень много места занимают в «Истории» рассказы о всевозможных оракулах, предзнаменованиях, вещих сновидениях. Зловещие знамения преследуют Ксеркса на всем пути из Азии в Европу, но он не хочет им верить, потому что боги уже обрекли его на бесславное поражение (см., например, VII, 57). Чтобы увеличить число знамений, предвещавших беду персидскому владыке, Геродот даже передвинул назад солнечное затмение, которое в действительности произошло уже после похода в 478 г., и из частичного сделал его полным.

Нередко историк напускает на себя таинственный вид и говорит, что не хотел бы подробно рассказывать о том или ином священном обряде или даже просто назвать имя того или иного божества, так как боится навлечь на себя его гнев. Так, во II книге (гл. 170): «В том же саисском святилище Афины есть и гробница того, чье имя я не считаю позволительным здесь разглашать» (имеется в виду, вероятно, Озирис).

Религиозные взгляды Геродота не отличались особой последовательностью, по-видимому, так же, как и взгляды большинства его современников. Он, например, явно неспособен был разобраться в сложном теологическом вопросе, кто главнее: божество или рок? «Что по определению божества должно случиться, того человек не в силах предотвратить», — говорит у него один старый перс в предвидении гибели Мардония и его войска. В другом месте историк говорит о великой мудрости «божественного промысла» (τοῦ θεοῦ ἡ πρόνοια): «Божественный промысел, как это и естественно, в своей премудрости сотворил всех робких и годных в пищу животных весьма плодовитыми, чтобы у нас не было недостатка в пище, хищных же и вредоносных — малоплодовитыми». Этому противоречит, однако, другая мысль, проскальзывающая в некоторых местах «Истории», о том, что и сами боги являются лишь слепыми орудиями в руках всемогущего Рока. Так, Пифия, отвечая мидийским послам, присланным Крезом, говорит: «Предопределенного Роком не может избежать даже бог».

Как бы то ни было, боги для Геродота есть несомненная реальность, и как реальная сила, управляющая миром, они постоянно вмешиваются в дела людей. Это вмешательство, однако, происходит не просто по произволу. Оно подчиняется определенному закону, который Геродот открывает в истории человечества. В его понимании, боги выполняют функцию своеобразного регулятора в отношениях между людьми. Они

внимательно следят за тем, чтобы никто из смертных не превысил отведенную ему судьбой меру земного счастья, не вознесся слишком высоко над другими. Как только где-нибудь появляется такой счастливец, его тут же настигает карающая длань божества. Поэтому всякое чрезмерное счастье чревато бедой. Никто не может быть уверен в своем счастье до самого смертного часа. Эта мысль выражена в обращенных к Ксерксу словах персидского вельможи Артабана: «Ты видишь, что бог поражает молнией выдающиеся величиной и силой живые существа, стараясь их уничтожить, малых же он не замечает. Ты видишь, как он поражает своими молниями всегда самые высокие сооружения и деревья: любит ведь бог все выдающееся смирять». Как заметил С. Я. Лурье, хотя и без некоторого преувеличения, чуть ли не вся книга Геродота представляет собой ряд иллюстраций этого общего положения. Такова новелла о Крезе и Солоне (одна из самых длинных во всей «Истории»). Царь Крез нажил огромное богатство и вообразил себя самым счастливым человеком во Вселенной. И вот счастливец Крез встречается с мудрецом Солоном. Возникает спор о том, что такое человеческое счастье. С точки зрения Солона, счастливым можно назвать человека, который вырастил и воспитал доблестных сыновей, увидел, как они родили ему внуков, и после этого умер достойной смертью (примером такого счастливца является земляк Солона афинянин Телл). Крез не согласен с таким пониманием счастья и признает Солона «совершенно глупым человеком, т. к., пренебрегая счастьем настоящего момента, он всегда советует ждать исхода всякого дела». Божество, как и следовало ожидать, подтвердило правоту мудреца, обрушив на Креза одну за другой кары, «вероятно, — объясняет Геродот, — за то, что тот считал себя самым счастливым из смертных». От несчастного случая на охоте погибает сын Креза. После этого, неправильно истолковав ответ оракула, он начинает войну против Кира, терпит поражение, попадает в плен и приговаривается к сожжению на костре, т. е. испивает до дна всю чашу человеческих бед. Однако в последний момент Крез был спасен тем же самым Аполлоном, который погубил его державу (посредством двусмысленного оракула) и чуть не погубил его самого. Так божество играет с человеком, — очевидно, хочет сказать нам историк, — «то вознесет его высоко, то в бездну бросит глубоко». В том же духе выдержаны и многие другие новеллы в книге Геродота, например история Поликрата, история Ксеркса, — пожалуй, самого несимпатичного из всех геродотовских честолюбцев. Рассказу о походе Ксеркса на Элладу (в VII книге) предпосылается описание царского совета, на котором решается вопрос о войне. Сам Ксеркс и все его вельможи решительно настроены в пользу похода. Один только Артабан, мудрый дядя царя, высказывается против и призывает не торопиться

с решением. Слова Артабана зарождают в душе Ксеркса сомнения. Он колеблется, не зная что предпринять. Ночью ему является во сне призрак и советует идти войной на греков. Ксеркс, однако, вопреки этому совету решает отменить поход. Но призрак продолжает его преследовать, настойчиво внушая царю мысль о войне. Ксеркс решает испробовать последнее средство. Он просит Артабана, чтобы тот, одев его царскую мантию, лег спать на его ложе. Во сне ему является все тот же призрак и грозит страшными карами, если войска не будут двинуты в Элладу. Артабан сдается и, отказавшись от своих прежних сомнений, советует царю немедленно выступать в поход. Еще один сон, уже непосредственно перед выступлением, окончательно убеждает Ксеркса в том, что он на правильном пути. Ему снилось, будто он увенчан оливковым венком, ветви которого распространились по всей земле. Услужливые маги немедленно истолковали этот сон, как указание на то, что все народы будут подвластны царю персов, и лишь после этого, окончательно уверившись в победе, Ксеркс повел свое войско на запад, навстречу гибели.

Вся эта история должна показать читателю коварство божества, которое нарочно с помощью всевозможных уловок и ухищрений толкает человека на неразумные поступки и таким образом заманивает его в ловушку, где его ждет гибель или позор.

Нередко в таком подходе Геродота к историческим событиям усматривают влияние на него великих трагических поэтов и прежде всего Эсхила. Действительно, у Эсхила в «Персах» так же, как у Геродота, Ксеркс представлен как жертва ненависти богов, обманом заманивших его в западню. По Эсхилу, Ксеркса преследует Ата, богиня безумия, завлекающая смертных в свои сети. Как и у Геродота, он становится жертвой лживого сна: не Фемистокл, а какой-то демон, явившийся ему во сне, подговаривает Ксеркса ввести свой огромный флот в узкий пролив, где он неминуемо погибнет. «Персы» были созданы лет за 25 до того, как была написана «История». Отсюда заключают, что все эти столь важные для Геродота мотивы были заимствованы им у Эсхила. При этом забывают, однако, о том, что и у историка, и у драматурга мог быть один общий источник, а именно Гомер, впервые во всей греческой литературе использовавший мотив обманного сна во II песни «Илиады». Вообще представления Геродота о богах еще довольно близки к религиозным воззрениям Гомера. Как и в гомеровской поэзии, божество чаще всего действует у него, повинуясь самым примитивным чувствам ненависти или зависти к выдающимся людям. Оно упорно хочет их погубить не потому, что они совершили что-то дурное, а именно потому, что оно не терпит ничего выдающегося. Фараон Амасис в своем письме к Поликрату напоминает ему о том, сколь завистливо относится божество

к человеческому счастью. «Людские несчастья доставляют наслаждение богам», — пишет историк в другом месте.

Лишь в сравнительно редких случаях божество выступает у Геродота как орудие справедливого мщения за нечестивые деяния и иные прегрешения. Так, Фемистокл, объясняя, почему маленький флот эллинов разгромил огромную персидскую армаду, говорит: «Этот подвиг совершили не мы, а боги и герои, которые воспротивились тому, чтобы один человек стал властителем Азии и Европы, так как он нечестивец и беззаконник. Он ведь не щадил ни святилищ богов, ни человеческих жилищ, предавая огню и низвергая статуи богов. И даже море повелел он бичевать и наложить на него оковы». Буквально те же самые прегрешения ставит в вину Ксерксу и вызванная из могилы тень его отца Дария в «Персах» Эсхила. Очевидно, этический постулат, определяющий поведение богов в трагедиях Эсхила, идея высшей божественной справедливости были в какой-то степени близки и Геродоту, хотя обычно он все же более склоняется к наивным народным представлениям о богах как злобных, мстительных и, в общем, недалеких существах.

Взятое в целом мировоззрение Геродота отличается удивительной противоречивостью, можно даже сказать, хаотичностью. Судя по всему тому, что мы о нем знаем, в его голове теснилось множество разнородных идей и догадок, нередко взаимоисключающих, но вместе образующих какой-то причудливый сплав, мешанину, в которой очень трудно обнаружить что-нибудь хотя бы отдаленно напоминающее какую-то систему или порядок. Попытки наивно-рационалистического объяснения событий мирно уживались в его сознании с самыми грубыми суевериями и предрассудками, представления о божественной справедливости соседствуют с примитивной, почти дикарской верой в богов, психологически ничем не отличающихся от людей, проблески монотеизма перемежаются с самым вульгарным и заурядным политеизмом. Такая неразборчивость, можно даже сказать, беспринципность Геродота ставит его как мыслителя намного ниже таких выдающихся его современников, имевших четкую и хорошо продуманную систему религиозно-философских убеждений, как Анаксагор, Эмпедокл, Эсхил. Однако, с другой стороны, именно это отсутствие какой бы то ни было системы во взглядах, пестрота мировоззрения великого историка делают его фигуру особенно интересной и привлекательной для нас, так как позволяют видеть в нем типичного носителя того, что принято называть «массовым сознанием» или «обыденным мышлением». Как подлинный сын своей страны и своего времени Геродот разделял с массой своих современников их религиозные сомнения и шатания, бросаясь от набожности к скептицизму и каждый раз снова возвращаясь назад.

Взгляды Геродота на исторический процесс

Исследователи давно уже пытаются найти в книге Геродота какую-то единую концепцию, объясняющую все происходящие в ней события под каким-то общим углом зрения, иначе говоря, пытаются понять, в чем же заключалась философия истории «отца истории». Однако ни одна из этих попыток так и не увенчалась успехом. Геродот оказался подлинным Протеем: в последний момент он всегда ловко ускользает из рук своих преследователей, на глазах преображаясь, меняя свой внешний облик. Чуть ли не в каждой части его труда мы находим у него уже иной взгляд на причины событий, иную мотивировку того, что произошло.

Очень верно и точно объясняет происхождение этого разнобоя во взглядах Геродота на исторический процесс А. И. Доватур в своей прекрасной книге «Повествовательный и научный стиль Геродота»: «Исторические рассказы, отовсюду собранные, несли с собой неодинаковую философию истории. Геродот не чувствовал потребности подвергнуть их какой-либо существенной переработке в смысле примирения или сведения к единству разнообразных и противоречивых точек зрения на движущие силы истории, лежавших в основе разных преданий»[13]. В примечании эта мысль пояснена следующим образом: «Геродот ни в какой мере не представляется нам оригинальным мыслителем; он тщательно собирает материал, стремится добросовестно воспроизводить то, что он получил, и вместе с рассказами усваивает общие точки зрения, присущие этим рассказам»[14].

Во многих случаях Геродот, как мы уже видели, прибегает к теологической концепции, объясняя то или иное событие вмешательством богов или судьбы. Так, предначертанием судьбы объясняются самые разнообразные явления человеческой жизни: смерть великих людей, падение больших городов, государственные перевороты, многие крупные события, как, например, опустошение Аттики персами, исход Платейской битвы, даже сам факт похода Ксеркса. Нередко встречаются в «Истории» примеры условных предначертаний судьбы: спартанцы победят персов, если погибнет спартанский царь (Леонид); жители Кимы погибнут, если выдадут персам укрывшегося в их храме Пактия и т. д.

Другое весьма распространенное объяснение причин того, что произошло, — кара, ниспосланная богами на одного человека или целый народ за совершенное им преступление или нечестие. В таких ситуациях бо-

[13] *Доватур А. И.* Повествовательный и научный стиль. Л.: Изд-во ЛГУ, 1957. С. 144.
[14] Его же. Там же. С. 197.

ги обычно используют людей как свое орудие. Так, персидский сатрап Оройт погибает от рук своих телохранителей, исполняющих приказ царя Дария, который хочет наказать Оройта за его преступления и в частности за убийство Митробата. Но в действительности, как дважды указывает историк (в начале и в конце рассказа), Оройта наказывают боги за предательское убийство Поликрата. При этом Геродот, видимо, забывает о том, что и сам Оройт был лишь орудием в руках завистливых богов, которые хотели покарать Поликрата за его гордыню. На этом примере можно видеть, как беспечно нанизывал «отец истории» свои новеллы на общую нить повествования, не особенно заботясь о их согласовании друг с другом.

При всей набожности Геродота теологическая концепция исторического процесса нигде не проводится им с полной последовательностью. Очень часто происходящие события находят у него вполне разумное, земное, отнюдь не метафизическое объяснение, вытекающее из отношений между самими людьми и не предполагающее никакого вмешательства богов. Излюбленной мотивировкой, к которой охотно прибегает историк в таких случаях, является месть (τίσις) за совершенное преступление или обиду. Этот принцип, восходящий, вне всякого сомнения, к первобытному правилу «око за око, зуб за зуб», одинаково успешно действует как в отношениях между богами и людьми, так и в отношениях людей между собой. Далеко не всегда месть того или иного персонажа «Истории» своему обидчику представляется нам справедливой, но это не меняет существа дела. Возмездие остается одной из главных пружин, приводящих в действие механизм геродотовского повествования. Уже в I книге «Истории» Крез хочет отомстить Киру за своего родственника Астиага, Астиаг (в свою очередь) мстит Гарпагу за невыполнение его распоряжения насчет младенца Кира, массагетская царица мстит Киру за смерть сына и т. д.

Нередко цепь обид и возмездий растягивается на весьма длительные исторические сроки, связывая, как это обычно бывает в мифах и в трагедии, сменяющие друг друга поколения кровавой порукой. Каждое звено в этой цепи является обидой (ἀδικίη) по отношению к последующему и возмездием (τίσις) по отношению к предыдущему. В сущности, к такому нехитрому чередованию ударов и контрударов сводится у Геродота вся предыстория греко-персидских войн, а также и сама их история. Как мы уже видели, истоки вражды между греками и персами историк возводит к самым отдаленным мифическим временам: вражда эта началась, в его понимании, взаимными обидами, причиненными друг другу обитателями Азии и Европы, причем бóльшая доля вины лежит (здесь Геродот ссылается на каких-то персов, будто бы сообщивших ему все это) на греках, ибо

они первыми пошли войной на азиатов (троянцев) из-за такого, в сущности, ничтожного повода, как похищение Елены Прекрасной.

За этим вступлением следует довольно большая пауза протяженностью в несколько столетий, после чего Геродот заявляет, что он намерен назвать имя того человека, «который, как мне самому известно, положил начало враждебным действиям против эллинов». Этим человеком оказывается Крез. Он покорил греков, живших в Малой Азии, и этим нанес первую обиду всем эллинам (уже в новое время). После него ионийцы были еще раз покорены Киром. Спустя много лет греки попытались взять реванш за нанесенные им обиды: Афины и Эретрия посылают свои корабли на помощь восставшим ионийцам и этим, в свою очередь, наносят страшную обиду персидскому царю Дарию I. Начиная с этого момента, Дарий только и думал о том, как бы отомстить афинянам: одному из своих слуг он приказал каждый раз перед обедом трижды повторять: «Владыка! Помни об афинянах!» (очевидно, злоба на афинян должна была способствовать аппетиту царя). Неудача при Марафоне еще более усиливает озлобленность персидского царя и побуждает его готовить новый поход. В рассказе о подготовке похода Ксеркса также несколько раз вновь всплывает мысль о необходимости отомстить грекам за их вмешательство в ионийские дела, за сожжение Сард и за Марафон. В свою очередь, греки мстят персам за поругание святынь.

Все это нисколько не мешает Геродоту подыскивать, как говорится, на ходу также и всякие иные объяснения происходящих событий. Так, в рассказ о походе Ксеркса вводится мотив зависти богов, который занимает в нем господствующее положение.

Наряду с божественным промыслом и законом кровной мести огромную роль играет в «Истории» Геродота человеческий разум или σοφίη (слово это чаще всего приобретает у него оттенок находчивости, ловкости, умения, даже изворотливости). Героями целого ряда геродотовских новелл являются смелые и удачливые люди, которые благодаря своему уму, энергии и находчивости пробивают себе дорогу в жизни, выпутываются из самых затруднительных положений. Таков спартанец Лихас, который разыскивает в Аркадии и доставляет в Спарту останки древнего героя Ореста, имеющие большое стратегическое значение (спартанцам было предсказано, что только перетащив к себе эти останки, они смогут одержать победу над своими врагами — тегеатами). Таков другой спартанец Офриад. Он один уцелел во время сражения трехсот спартанцев с тремястами аргосцев. Но два уцелевших аргосца покинули поле боя, а он остался и тем обеспечил своему отечеству победу. К этой же категории персонажей принадлежит и Алкмеон, родоначальник рода Алкмеонидов. В одной из новелл Геродот так объясняет происхождение

огромных богатств, принадлежавших этому роду: Алкмеон получил у Креза разрешение взять из его сокровищницы столько золота, сколько он будет в состоянии унести с собой. Находчивый грек надел на себя самые широкие одежды и самые большие башмаки из всех, какие мог найти. Наполнив одежду и обувь золотым песком, он насыпал золото в волосы и набрал его в рот. В таком виде он вышел, похожий, как говорит Геродот, на кого угодно, но только не на человека. Увидев его, Крез весело рассмеялся и подарил ему еще такое же количество золота. Можно было бы подумать, что Геродот ввел этот рассказ специально, чтобы опорочить Алкмеонидов, но это не так. В действительности он с большой симпатией относится к этому роду. Смех, который должен был вызвать у читателей его рассказ, мог быть только смехом сочувствия. Недаром Геродот заканчивает новеллу типичным, в греческом понимании, хэппи эндом: «Так разбогател этот дом, а Алкмеон, выкормив четверку коней, одержал победу на олимпийских играх». В числе удачливых и ловкачей, о которых с восторгом повествует историк, мы видим и его знаменитую соотечественницу, карийскую царицу и правительницу Галикарнаса Артемисию. Геродот, буквально захлебываясь, рассказывает о том, как замечательно вела себя эта дама в горестный для персов день Саламинской битвы (см. VIII, 87–88). В эту же славную компанию знаменитых хитрецов Геродот включает и Фемистокла. Весь цикл историй, связанных с его именем, построен по образцу рассказов о ловком обманщике, который умеет найти выход из любого тяжелого положения. Все в один голос называют его «мудрейшим» (σοφώτατος) из эллинов. Кстати, самому Фемистоклу принадлежит, если верить Геродоту, одно весьма примечательное суждение как раз на этот счет. «Здравые замыслы людей обычно удаются, — говорит герой Саламина, — если же замыслы не являются здравыми, то и божество не хочет способствовать человеческим планам» (VIII, 60). Этим историк, по-видимому, хотел сказать, что все, вообще говоря, находится «в руце божией», но при этом человеческий разум обладает известной автономией, и поэтому любое самое дерзкое решение, принятое мудро и с пониманием обстоятельств, будет санкционировано богами.

Итак, в своих взглядах на движущие силы исторического процесса так же, как и в своих представлениях о мире в целом, Геродот остается типичным плюралистом. Его сознание компромиссно и без какой-либо логической последовательности соединяет в себе множество разнородных и противоречивых воззрений. Некоторые из этих воззрений коренятся в религиозном сознании историка и его современников, другие прямо с этим сознанием не связаны и тяготеют скорее к рационалистическим веяниям эпохи (таково, например, типичное для Геродота убеждение

в том, что человек сам есть кузнец собственного счастья). Отсюда крайняя пестрота, можно сказать, мозаичность самой картины исторического процесса в изображении «отца истории». В ней нет логики, нет общего плана или какой-то большой идеи, которая пронизывала бы все сочинение Геродота от начала и до конца.

Некоторые западные авторы считают, что такой идеей была концепция извечной вражды между Западом и Востоком, между греками и варварами, якобы лежащая в основе всего труда Геродота. Впервые эта мысль была высказана М. Поленцем еще в 1932 г. Согласно Поленцу, Геродот видел в греко-персидских войнах фатально предопределенное столкновение двух изначально враждующих рас. Греки и персы противостоят друг другу, в его понимании, как два враждебных мира, две цивилизации, основанные на полярно противоположных принципах (на одном полюсе — рабство, на другом — свобода, на одном — деспотия, на другом — народоправие, на одном — необузданная гордыня, на другом — умеренность и благоразумие).

При внимательном знакомстве с трудом Геродота теория Поленца не выдерживает критики. Нигде в «Истории» мы не находим ничего похожего на чувство расовой вражды или расового превосходства греков над варварами. Напротив, Геродот охотно замечает и даже подчеркивает все то положительное, что ему удается найти в обычаях и нравах чужих народов (филобарбарос — Плутарх). Так, он с восхищением отзывается о том, как персы воспитывают своих детей. Благодаря хорошему воспитанию у них не было ни одного случая, когда кто-нибудь убил бы своего отца или свою мать. У греков такое случается довольно часто. «Мудрейшим» называет Геродот вавилонский обычай продажи невест с аукциона (I, 196). Очень хвалит он и другой обычай этого народа: выносить на площадь всех больных с тем, чтобы прохожие могли давать им советы, как избавиться от недуга.

Мудрость Востока Геродот даже склонен преувеличивать. Восток для него — колыбель всей человеческой культуры. Многие греческие обычаи и культы он считает заимствованными у народов Востока. Особенно большое значение придает он египетскому влиянию на греков. Египтяне были наставниками греков во всех важнейших религиозных делах. Египетского происхождения 12 олимпийских богов, а также Геракл и Дионис. Имена почти всех прочих богов перешли в Грецию либо из Египта, либо от других варваров. У египтян эти имена туземные и имеют свой смысл, у греков — заимствованные. Оттуда же идут оракулы, жертвоприношения, торжественные процессии, даже обычай женских воплей на похоронах. Египетскими изобретениями Геродот считает геометрию, солнечный календарь. Многие греческие герои — восточ-

ного происхождения: Персей — ассириец, Гераклиды — египтяне, афинский род Гефиреев, к которому принадлежали тираноубийцы Гармодий и Аристогитон, происходит из Финикии.

С нескрываемой симпатией относится Геродот и к главным противникам греков — персам, изображая их как мужественный, справедливый и преданный своим обычаям народ. Вообще приверженность к своим обычаям, какими бы странными и дикими ни казались они со стороны, представляется историку чертой, достойной всяческой похвалы. Но и пренебрежение к обычаям другого народа заслуживает, в его глазах, самого резкого осуждения. «Каждому — свое», — вот правило житейской мудрости, которого Геродот довольно последовательно придерживается в своей книге. В этом отношении весьма показателен один эпизод, который мы встречаем в III книге «Истории» (гл. 38). Развивая эту мысль, Геродот приходит к тому выводу, что каждый народ заслуживает той формы правления, которая существует у него испокон веков, и должен строго ее придерживаться. С другой стороны, навязывать свои обычаи и свой государственный строй другим народам в его глазах — преступление против божеских и человеческих законов. То, что хорошо для персов и других обитателей Азии, привыкших считать себя рабами своих царей, плохо для эллинов, искони привыкших к свободе. Следуя этой логике, Геродот завершает дискуссию трех знатных персов о наилучшей форме правления в одном из известных эпизодов III книги признанием справедливости доводов Дария в пользу монархического строя, хотя отсюда отнюдь не следует, что он и сам был приверженцем монархии.

Демократия характеризуется одним из участников спора Мегабизом как «владычество необузданной черни» (III, 81). Однако у Геродота можно найти и совсем иную оценку той же формы правления. Рассказав о том, как афиняне после изгнания тиранов и установления демократического строя разгромили объединенные силы беотийско-халкидской коалиции, историк замечает (V, 78): «Ясно, что равноправие для народа... — драгоценное достояние. Ведь пока афиняне были под властью тиранов, они не могли одолеть на войне ни одного из своих соседей. А теперь, освободившись от тирании, они заняли безусловно первенствующее положение...»

Исходя из принципа «каждому — свое», Геродот оценивает и ход греко-персидских войн. Ответственность за начало войны он возлагает в конечном счете на персов. Вину Дария I и особенно Ксеркса он видит в том, что они, покинув принадлежавшую им территорию Азии, попытались наложить на свободных эллинов ярмо своей деспотии. Но и эллины, в его глазах, тоже не безгрешны. Ионийцы, восставшие против власти персидского царя, поступили безрассудно: волею судеб они

оказались на чужой земле, в Азии, где традиционной формой правления была царская деспотия, и, следовательно, должны были безропотно подчиняться местным обычаям. Ионийское восстание Геродот изображает без особого сочувствия и скорее видит в нем цепь необдуманных поступков и политических интриг. Вожди восстания — Аристагор и Гистиэй — представлены им как политические интриганы и авантюристы, не заслуживающие доброго слова. Величайшее безрассудство совершили и афиняне, послав на помощь ионийцам эскадру из 20 кораблей: этим они навлекли на себя гнев Дария и, как замечает историк: «Положили начало бесчисленным бедам как для эллинов, так и для варваров».

Но даже и там, где Геродот переходит к повествованию об освободительной борьбе греков против персидского нашествия, мы не находим в его рассказе ничего похожего на патриотическое воодушевление или сознание какого-то расового превосходства эллинов над варварами. Много внимания (даже чересчур много, как казалось позднейшим хулителям Геродота) он уделяет разобщенности греческих государств и всего греческого народа перед лицом персидской угрозы, фактам измены и предательства как отдельных лиц, так и целых племен и городов, всевозможным распрям и склокам, происходившим в греческом лагере во время войны с персами. Вот как описываются, например, настроения, царившие в Греции перед походом Ксеркса: «Давшие персам землю и воду, были вполне спокойны, зная, что персы не сделают им ничего дурного... те же, которые не дали им земли и воды, были в большом страхе, ибо народ в этих городах не желал участвовать в войне и был ревностным сторонником персов». Геродот не без издевки отмечает, что многие из государств, примкнувших к антиперсидской коалиции, руководствовались при этом отнюдь не высокими патриотическими чувствами, а только стремились насолить своим соседям, державшимся проперсидской ориентации. Так, фокидяне сражались на стороне греков, чтобы сделать назло фессалийцам — своим давним врагам. Аргивяне, напротив, «предпочли покориться варварам, нежели уступить лакедемонянам».

С ядовитой усмешкой Геродот фиксирует в своем сочинении многочисленные примеры человеческой низости, трусости и тщеславия, проявившихся в связи с тяжелыми бедствиями, обрушившимися на Элладу. Так, не упускает он случая, чтобы поведать о трусливом и предательском поведении коринфского военачальника Адиманта во время Саламинского сражения. Уже при Артемисии он собирался бежать с поля боя, и Фемистоклу пришлось дать ему взятку, чтобы удержать его на месте. При Саламине он все-таки бежал, увлекая за собой всю коринфскую эскадру (см. VIII, 94). Эпизоды такого рода, а их можно собрать довольно

много, дают повод для прямых обвинений Геродота в сознательном искажении фактов с клеветнической целью. Рассказывая о Платейской битве 479 г., историк опять-таки не без ехидства отмечает, что, хотя в сражении на стороне греков участвовали только три государства (афиняне, спартанцы и тегеаты), остальные греки «устыдившись своего безучастия в решительной битве, насыпали, чтобы обмануть потомство, пустые надгробные курганы».

Все эти разоблачения были оценены позднейшими, в основном патриотически настроенными греческими историками как злобная клевета и очернение того великого подвига, который был совершен эллинами в суровую годину мидийских войн. Плутарх написал специальный трактат «О злокозненности Геродота», в котором доказывал, что он намеренно, со злым умыслом оклеветал почти всех греческих героев этой славной эпохи. В числе прочих Плутарх ссылается для доказательства своего утверждения также и на историю с Адимантом. Адимант был, по его словам, человеком величайшей доблести. После смерти он удостоился эпитафии, в которой было сказано, что за его подвиги ему был дарован «венок свободы от всей Эллады». Геродот нарочно представил его в своем сочинении жалким трусом, чтобы тем самым принизить коринфян и угодить афинянам. Еще бóльший гнев Плутарха вызывает разоблачение Геродотом предательской роли фиванцев и вообще беотийцев (напомню, что Плутарх и сам был беотийцем, и слова историка о том, что «фиванцы всей душой были преданы персам», не могли не ранить его самолюбие). Завершая свои нападки на «отца истории», Плутарх признает его человеком крайне злонравным, а главное, плохим патриотом своего отечества.

В действительности дело здесь, конечно, не в дурном и злокозненном характере Геродота и не в отсутствии у него патриотических чувств. Нельзя забывать о том (мне уже и раньше приходилось обращать на это ваше внимание), что по своим взглядам и психологии Геродот был подлинным сыном своего времени. Никакого общегреческого патриотизма или того, что принято называть теперь панэллинской идеей, в то время, когда создавалась «История», еще не существовало. Поэтому мы не находим этой идеи и в сочинении Геродота. Греческий мир представлен историком таким, каким он и был в действительности — разрозненным, разобщенным конгломератом, состоящим из множества самостоятельных карликовых государств — полисов. Отсюда не следует, однако, что чувство любви к родине вообще неведомо Геродоту. Патриотизм, несомненно, был в его характере. Но это был патриотизм особого рода — узкий полисный патриотизм, выражавшийся в любви историка к своему родному городу Галикарнасу. В некоторых местах «Истории» галикарнасский

патриотизм Геродота проявляется достаточно ярко и выпукло. Примером может служить уже упоминавшийся рассказ о подвигах карийской царицы Артемисии. Геродот с видимым восхищением и гордостью повествует об этой выдающейся женщине, несмотря на то, что она участвовала в беззаконном и грабительском нашествии персов на Элладу. Восхищение историка перед Артемисией так велико, что он впадает здесь даже в известное преувеличение. По его словам, греки считали карийскую царицу едва ли не самым страшным своим врагом и «тому, кто доставит ее живой или мертвой, назначили награду в 10 тыс. драхм, ибо их возмущало, что женщина идет войной на Афины».

Если не обращать внимания на то, что сам Геродот называет себя в самом начале своей книги «Галикарнасцем», очевидно, желая тем самым показать, что память о родном городе была еще жива в его сердце, его мировоззрение может быть определено как типично космополитическое. Как киплинговская кошка, гуляющая сама по себе, он, видимо, так и не сумел привязаться по-настоящему ни к одному из тех городов или стран, которые ему довелось посетить за его наполненную бесконечными скитаниями жизнь. Как греки, так и варвары, вместе взятые, в целом были ему глубоко безразличны. И уже поэтому ему не могла придти в голову нелепая мысль о том, чтобы отдать решительное предпочтение одной из двух противоборствующих сторон, возвысить ее за счет принижения другой, как это делали обычно почти все историки, писавшие о войнах в более поздние времена (тот же Плутарх или Тит Ливий).

Как указывал С. Я. Лурье, в своей оценке греко-персидских войн Геродот стоит в основном на точке зрения тех малоазиатских греков, которые давно уже успели смириться с персидским владычеством и находили его не слишком для себя обременительным, а в экономическом отношении даже и весьма выгодным. Можно полагать, что эти азиатские греки, жившие под властью персов и от персов же получавшие значительную часть информации о происходивших тогда событиях, воспринимали эти события совсем не так, как греки Балканского полуострова. Им были хорошо известны колоссальные размеры и ресурсы Персидской державы. Поэтому они понимали, что неудачи Ксеркса под Саламином и при Платеях не могли так страшно потрясти его, как это изображает Эсхил в «Персах». По-видимому, взгляды такого рода, усвоенные Геродотом еще в ранней юности, не были изжиты им и в самом преклонном возрасте. Несмотря на то, что его мировоззрение претерпело известную эволюцию в течение его жизни, в целом оно продолжало сохранять свою изначальную ионийскую окраску.

Как всякий космополит, Геродот легко приспосабливался к настроениям и взглядам тех людей, с которыми сводила его судьба и у которых

ему удавалось найти хотя бы временный приют. А так как наиболее тесными и длительными были связи историка с демократическими Афинами, идеология правящих кругов этого государства и прежде всего взгляды Перикла, тогдашнего вождя афинской демократии, должны были оказать на него известное влияние. Кое-где Геродот явно старается подладиться к своим покровителям, оценивая события определенно с проафинской точки зрения. Настоящий панегирик афинянам, которых историк объявляет «подлинными спасителями Эллады», заключает в себе 139 глава VII книги: «...Ибо ход событий зависел исключительно от того, на чью сторону склонятся афиняне. Но так как афиняне выбрали свободу Эллады, то они вселили мужество к сопротивлению всем остальным эллинам... Не могли устрашить афинян даже грозные изречения дельфийского оракула и побудить их покинуть Элладу на произвол судьбы. Они спокойно стояли и мужественно ждали нападения врага на их землю». Плутарх прямо намекает на то, что именно за эти свои слова Геродот был награжден афинским правительством десятью талантами, что, вообще говоря, вполне вероятно, если только сама эта сумма не была сильно раздута молвой. Проафинскими симпатиями Геродота могут быть объяснены и его выпады против коринфян и фиванцев, которые, как известно, в годы, предшествующие Пелопоннесской войне, когда создавался труд Геродота, были злейшими врагами Афин и преданными союзниками Спарты.

И все же было бы ошибкой утверждать, что «отец истории» настолько проникся официозной афинской идеологией, что стал последовательным сторонником установленного Периклом демократического строя и пропагандистом идей так называемого афинского империализма, подчинив этим идеям всю свою историческую концепцию (такого мнения придерживался, например, Эд. Мейер).

В действительности в «Истории» можно найти сколько угодно сообщений, которые (это было отмечено уже Плутархом) никак не могли придтись по вкусу афинскому правительству, например указание на безрассудность его действий во время ионийского восстания. К тому же с панегириком Афинам в сочинении Геродота мирно соседствует самая откровенная апология Спарты. Государственный строй Спарты Геродот признает прекрасным, едва ли не самым лучшим во всей Греции. В связи с этим он довольно подробно останавливается в I книге на вопросе о законодательстве Ликурга (самое первое во всей греческой историографии сообщение об этой загадочной личности).

Наглядно преимущества спартанского государственного строя были продемонстрированы Геродотом в рассказе о Фермопильском сражении, являющемся кульминацией его повествования в VII книге «Истории».

Геродот явно хочет внушить здесь читателю, что спартанцы представляют собой какую-то особую породу людей, отличающуюся от всех прочих как эллинов, так и варваров. Именно поэтому они решились бросить вызов самому Ксерксу и его неисчислимой армии, заняв небольшими силами узкий горный проход, через который должна была пройти персидская орда. Геродот великолепно передает спокойное мужество спартанцев, готовящихся к битве в ущелье, и замешательство персидского владыки перед лицом столь неожиданного для него отпора (см. VII, 208–209). По контрасту с героическим поведением трехсот воинов Леонида особенно отвратительной выглядит трусость отряда фиванцев во главе с Леонтиадом, которые хотя и сдались персам, но получили достойное воздаяние за свою измену и были частью перебиты, частью же заклеймлены как беглые рабы.

Своим рассказом о Фермопильском сражении Геродот, несомненно, сделал очень много для прославления Спарты и способствовал широкому распространению в Греции так называемой спартанской легенды.

Однако и в своем отношении к Спарте, как и в отношении к Афинам, историк не проявляет должной последовательности и в отдельных случаях позволяет себе такие высказывания, которые могли лишь опорочить спартанцев в глазах его читателей. Несколько раз отмечается в последних книгах «Истории» крайняя медлительность спартанцев, их нежелание придти на помощь своим союзникам. К Фермопилам они прислали так мало людей лишь потому, что основная часть армии участвовала в это время в праздновании Карней. Еще раньше спартанцы опоздали придти на помощь афинянам при Марафоне опять-таки потому, что их удерживали какие-то религиозные дела. Перед битвой при Платеях они снова долго оттягивали выступление, ссылаясь на этот раз на празднование Гиакинфий. Настойчивое повторение одной и той же, причем достаточно вздорной, мотивировки должно было зародить в душе читателя искру сомнения в искренности спартанцев. По крайней мере в одном случае Геродот прямо намекает на двуличие спартанцев: во время Платейской битвы афиняне проявляют большую осторожность, зная «каковы души лакедемонян — они всегда говорят одно, а думают другое». Даже общепризнанный героизм спартанских воинов кое-где ставится историком под сомнение. Правда, делает он это довольно осторожно с помощью косвенных намеков. Говоря о той же битве при Платеях, он как бы вскользь замечает, что в мужестве и силе персы нисколько не уступали грекам. Но они были неопытны в военном деле, а самое главное, у них не было тяжелого вооружения, которым были снаряжены греческие гоплиты. Ясно, что профессиональным, хорошо тренированным солдатам, какими

были те же спартанцы, не требовалось особого труда, чтобы справиться с толпой недисциплинированных, плохо вооруженных варваров.

Можно предположить, что, начиная свой труд, Геродот предназначал его для самой широкой, поистине всеэллинской читательской аудитории, и уже в силу этого хотел сделать его по возможности свободным от политических пристрастий, чтобы все увидели, что сам историк стоит выше интересов отдельных государств или партий и каждому воздает по заслугам. Именно поэтому Геродот считает нужным сообщать все, что ему удалось узнать о том или ином событии, хотя тут же добавляет, что верить всему, что говорят, он не обязан. Реализовать свой замысел в полной мере историк так и не сумел. Политическая «злоба дня» нет-нет да и проскользнет в его размеренном повествовании, то в виде панегирика афинянам или спартанцам, то в злобном выпаде против какого-нибудь из их врагов. Однако, если сравнить рассказ Геродота с тем, что писали об этой же эпохе и этих же событиях другие, более поздние авторы (хотя бы тот же Плутарх), преимущества метода «отца истории» становятся очевидными. Созданная им картина эпохи персидских войн отличается гораздо большей широтой, наполненностью фактами и в конечном счете более объективна. Правда, объективизм Геродота особого рода. Он обусловлен не столько субъективным намерением историка (его желанием быть правдивым, хотя такое желание у него, несомненно, было), сколько его особой, можно сказать, надпартийной позицией, т. е. тем, что он не был сколько-нибудь прочно связан ни с одним из государств, участвовавших в войне, и мог следить за ее ходом как сторонний наблюдатель. Кроме того, свою роль здесь сыграла и уже неоднократно отмечавшаяся словоохотливость великого историка. Если даже он и пытается кое-где подольститься к таким влиятельным государствам, как Афины или Спарта, то делал это недостаточно обдуманно и последовательно и спустя несколько страниц мог проговориться и поведать читателям что-нибудь такое, что никак не могло придтись по вкусу его афинским или спартанским читателям.

Можно сказать, что неуправляемый поток информации, подхватив историка, нередко заносил его туда, куда он вовсе не стремился.

Значение труда Геродота

Дать однозначную оценку книге Геродота довольно трудно. Настолько сложное и противоречивое это явление, настолько зыбкими кажутся грани, отделяющие достоинства историка от его недостатков. Если приглядеться внимательнее, одно постоянно переходит в другое: широта взглядов и беспристрастие Геродота нередко оборачиваются

беспринципностью, отсутствием твердых убеждений, живость и занимательность рассказа переходят в болтливость и анекдотизм. Отсюда крайняя противоречивость суждений о Геродоте как в античную эпоху, так и в Новое время. В древности за Геродотом довольно прочно закрепилась репутация лжеца. Серьезные историки, представители академической науки смотрели на него свысока как на поставщика чуть ли не бульварного чтива для не слишком разборчивых читателей (ср. Пикуль). Первым бросил в него свой камень Фукидид: пренебрежительно отзываясь во введении к своей «Истории» о всей пестрой и разнокалиберной толпе логографов, он явно метил и в Геродота. С прямыми обвинениями в сознательном искажении истины обрушился на Геродота уже в IV в. Ктесий, сам, кстати, не отличавшийся особенной правдивостью. «Мифологом» называл его Аристотель. Впоследствии Авл Геллий перевел это прозвище на латынь, и Геродот стал homo fabulator. Страбон считал, что даже такие древние поэты, как Гомер и Гесиод, заслуживают большего доверия, нежели Геродот. Цицерон, хотя и окрестил Геродота «отцом истории», находил невыносимым пристрастие этого историка к басням и сказкам. О антигеродотовском трактате Плутарха мы уже говорили, Лукиан на закате античной эпохи отправил Геродота в преисподнюю вместе с его врагом Ктесием.

В Новое время также не было недостатка в хулителях и гонителях Геродота. Его сравнивали с Марко Поло и другими средневековыми рассказчиками небылиц. Обвиняли в плагиате у других историков (главным образом у Гекатея), в «вопиющей недобросовестности» (Сэйс), в тенденциозных искажениях исторической истины в интересах Афин, Дельфийского оракула или каких-нибудь других влиятельных политических сил. Конечно, нельзя признать эти обвинения совершенно беспочвенными и на этом основании просто отмахнуться от них. Выше мы уже имели возможность убедиться во многих прегрешениях «отца истории»: в его наивности, легковерии, иногда в сознательном и недобросовестном отступлении от истины (трудно согласиться с одним из рьяных почитателей и заступников Геродота А. Боннаром, который писал: «Никакие ученые труды, подвергавшие Геродота не только строгой, но порой и подозрительной критике, никогда не смогли уличить его во лжи. Это очень честный человек с пылким воображением, но безупречно правдивый». Конечно, о безупречной правдивости Геродота можно говорить лишь с большой натяжкой, игнорируя некоторые совершенно очевидные факты).

Но при всех своих недостатках Геродот был от природы наделен и одной, безусловно, симпатичной чертой. Этой чертой была его любознательность. Именно она гоняла его по свету в поисках еще невидан-

ных и неслыханных чудес, в поисках исторических свидетельств. Она наполняла его записные книжки пестрой и противоречивой информацией, которую он затем, по-видимому, без сколько-нибудь серьезного разбирательства переносил в свое сочинение. Геродот представляет собой ярко выраженный тип ученого энтузиаста, стремившегося знать все обо всем, и уже одно это делает его фигуру в высшей степени привлекательной для нас.

Как мы уже говорили, Геродот не может считаться сколько-нибудь интересным и оригинальным мыслителем. Его религиозно-философские взгляды предельно банальны и к тому же страшно противоречивы и непоследовательны. У него нет своей особой точки зрения на исторический процесс. Он не ищет в истории никаких закономерностей, довольствуясь частными поверхностными наблюдениями. Интересы Геродота лежат всецело в плоскости истории событийной или прагматической. Его интересуют только факты и ничего больше. Однако в этой весьма ограниченной области исторического исследования Геродот был в полном смысле слова первопроходцем и сумел сделать очень много. Ему принадлежит бесспорная заслуга реконструкции целого большого периода истории Греции и стран Востока (по крайней мере, с середины VI до 70-х годов V в.). Как бы мы ни относились к этой реконструкции, как бы ни пытались оторваться от нее, она была и остается основой соответствующих разделов в любом современном курсе греческой или восточной истории. Без Геродота нам не обойтись.

При всех своих слабостях и недостатках Геродот был, бесспорно, наделен настоящим чутьем историка. Он остро чувствовал драматизм, напряженность исторического процесса, еще не понимая толком, что скрывается за этим драматизмом. Именно это чувство позволило ему написать увлекательную художественную книгу, которая, что бы там ни говорили ученые педанты вроде Аристотеля, несомненно, пользовалась большой популярностью среди широкой читающей публики. Только благодаря этому она дошла до нашего времени, пережив всю остальную историческую литературу, кроме Фукидида, в том числе и труды логографов. Даже враги Геродота признавали очарование присущей ему литературной манеры, считая его замечательным рассказчиком. Так, Плутарх считает нужным предупредить читателя, чтобы он не слишком поддавался этому очарованию: «Что же можно сказать после этого? Геродот ловко умеет писать и речь его приятна; его рассказы очаровательны, производят сильное впечатление и изящны. "Речь же он, точно певец преискусный, ведет" (Гомер). Ну, о высоком искусстве, пожалуй, говорить не приходится, но как-никак его речь мелодична и отделанна. Вот это-то, конечно, очаровывает и привлекает к себе всех. Однако его

клеветы и злоречия надо остерегаться, как ядовитого червя на розе — они скрыты за тонкими и лощеными оборотами». Действительно, Геродот добивается в своей книге большого художественного эффекта и делает это с помощью той своеобразной манеры повествования, о которой мы уже говорили прежде. Извилистая нить его рассказа заключает в себе огромное богатство литературных и фольклорных жанров, что само по себе предполагает и большое разнообразие стиля. Одним языком написаны λόγοι — новеллы Геродота (их отличают характерные приметы народной сказки: повторения, несколько замедленный темп повествования, широкое использование прямой речи), стиль собственно исторического рассказа — уже другой, более сдержанный. Все это создает приятное разнообразие для слуха и делает чтение «Истории» увлекательным, а подчас и захватывающим занятием. Интересно, что при таком смешении разных стилей в рамках одного литературного произведения Геродот удачно избегает эклектизма и безвкусицы, как это умели делать, например, афинские скульпторы V в., которые иногда в одной и той же фигуре смело сочетают две разные манеры (архаически трактованная голова и свободная живая обработка торса и ног — наблюдение Ф. И. Мищенко).

Все, что мы знаем о Геродоте, позволяет видеть в нем воплощение детства античной исторической науки с его наивностью, любознательностью, нежеланием считаться с законами логики и умением соединять, казалось бы, несоединимые вещи. Но за детством внезапно и как будто без всякой переходной ступени (того, что можно было бы назвать юностью) наступает зрелость античной историографии, воплотившаяся в грандиозной фигуре Фукидида.

Часть II

ФУКИДИД. «АРХЕОЛОГИЯ». ПЛАТОНОВСКИЙ МИФ ОБ АТЛАНТИДЕ И ДАННЫЕ СОВРЕМЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В центре наших семинарских занятий хотелось бы поставить одну основную проблему, на мой взгляд, достаточно важную и интересную. На нее указывает и придуманное мною название «История и миф». Разговор у нас будет идти главным образом о взаимоотношении и взаимодействии греческой мифологии с греческой исторической, или точнее, историко-философской мыслью.

Проблему эту я хотел бы рассмотреть в ее двух основных аспектах: 1) с точки зрения зависимости истории и философии от мифологии и 2) с точки зрения переработки и переосмысления мифа в историко-философской литературе V–IV вв. Я сознательно опускаю вводную часть семинара, заключающую в себе общую постановку проблемы взаимоотношения истории и мифа и ее общее же рассмотрение, так как мы сильно ограничены временем и мне не хотелось бы повторятся: в своем курсе источниковедения, который ваша группа прослушала в прошлом семестре, я достаточно подробно говорил о том влиянии, которое мифологическая традиция оказала на греческую историографию в период ее становления, и теперь мне, да, я думаю, и вам, нет особой надобности снова возвращаться к этому вопросу. Поэтому с самого начала мы займемся более конкретными сюжетами.

Непосредственным предметом наших занятий будут произведения двух хорошо вам известных авторов — Фукидида и Платона. В этом семестре мы будем читать и разбирать так называемую Археологию, т. е. первые главы первой книги «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида. В следующем семестре я хотел бы предложить вашему вниманию избранные отрывки из двух диалогов Платона «Тимей» и «Критий», заключающие в себе широко известный миф об Атлантиде.

Почему из всей греческой литературы классического периода избраны именно эти два автора и именно эти их сочинения? В своем выборе я исходил из того, что Фукидид и Платон в их отношении к мифологии, как, впрочем, конечно, и во многом другом, представляют собой две полярные противоположности, вследствие чего их сравнение между собой, а оно также входит в программу наших занятий, может оказаться особенно интересным. Единственная точка, в которой взгляды Фукидида

совпадают со взглядами Платона, это, пожалуй, то, что оба они были убеждены в правдивости мифологической традиции, т. е. в том, что в основе мифа всегда лежит исторический факт. Однако сразу же вслед за этим перекрестком их пути резко расходятся. Для Фукидида свидетельство мифа — первый шаг к реконструкции реального прошлого — того, что когда-то происходило в действительности. Для Платона древний миф — лишь толчок к созданию нового мифа, который будет лучше и совершенней древнего, поскольку он будет одухотворен высокой мыслью, божественным наитием, осенившим самого философа.

В понимании Фукидида, мифы заключают в себе слишком много лишнего материала (это объясняется болтливостью и легкомыслием их авторов, которые были поэтами и еще не знали, что такое настоящая серьезная история). Исходя из этого великий историк оставляет за собой право безжалостного сокращения древних преданий, выбрасывая из них всю фантастику, весь авантюрный элемент, т. е. то, в чем и заключалась их главная прелесть, и таким образом вылущивает из каждого мифа какой-нибудь один необходимый ему факт чаще всего самого прозаического свойства. Итак, Фукидид видит в мифе прежде всего источник исторической информации. Его подход к мифологии чисто научный, исследовательский.

В творчестве Платона миф играет роль скорее раздражителя. Он подстегивает воображение философа своей неполнотой, несовершенством, незаконченностью. Древние, в его понимании, знали слишком мало о действительно важных вещах, да и то, что знали, не умели как следует изложить, не обладая необходимой для этого мудростью и искусством. Поэтому мифы нуждаются не в сокращении, как считал Фукидид, а, наоборот, в расширении и дополнении, которым не может не сопутствовать также и переосмысление их основного содержания. Из обломков древних сказаний Платон сооружает, таким образом, свою собственную мифологическую систему, облекая в мифологическую форму свое философское учение, свои мечты и идеалы. Особый интерес представляют те мифы Платона, которые связаны с его утопическими проектами идеального общественного устройства. Миф об Атлантиде самый известный и, пожалуй, наиболее интересный среди них. Как известно, Платон, по-видимому, сознательно придал этому мифу историческую, или вернее, квазиисторическую форму (впрочем, многие до сих пор видят в нем чудом сохранившийся фрагмент реальной истории).

Это обстоятельство дает хороший повод для сравнения исторической части «Тимея» и «Крития» с фукидидовской «Археологией». В обоих случаях авторы обращаются к глубочайшей древности, о которой сохранились лишь глухие и неясные предания. Но обращение это вызвано прямо противоположными мотивами и, естественно, ведет к прямо противоположным результатам.

ФУКИДИД. «АРХЕОЛОГИЯ»

Реконструкция прошлого в «Археологии» Фукидида

В историографии своего времени Фукидид стоит совершенно особняком (*ил. 11*). Среди других историков V в. до н. э. его выделяет не только исключительная для того времени глубина проникновения в суть исторических событий, не только принципиальная новизна используемых им методов исследования, не только своеобразный материализм, или, как говорят на Западе, «реализм» его суждений об историческом процессе, но и совершенно сознательная установка на рассказ о современности, а не о далеком, полузабытом прошлом. Как известно, преобладающей сферой интересов в греческой историографии до Фукидида было именно исследование, можно сказать, реконструкция прошлого, иногда весьма отдаленного. О далеких, чаще всего мифических временах писали почти все логографы, включая современника Фукидида Гелланика Лесбосского (несколько особняком среди них стоит лишь Гекатей, который в своем «Землеописании» рассказывал о современных ему событиях). О далеком прошлом своих родных городов писали местные историки-хронисты вроде Антиоха Сиракузского. Геродот, когда он приступил к работе над историей греко-персидских войн, был отделен от описываемых им событий более чем полустолетием, а значительную часть его труда занимает, как мы знаем, рассказ об еще более отдаленных периодах греческой истории и истории стран Востока.

Фукидид уже в самом начале своего сочинения в нарочито подчеркнутой форме провозглашает себя историком своего «новейшего», как мы сказали бы теперь, времени. В этом плане он сознательно противопоставляет себя всем своим предшественникам. Вспомним его знаменитые слова в 21 главе I книги: «Как ни затруднительны исторические изыскания, но все же недалек от истины будет тот, кто признáет ход событий древности приблизительно таким, как я его изобразил, и предпочтет не верить поэтам, которые преувеличивают и приукрашивают воспеваемые ими события, или историям, которые сочиняют логографы

Ил. 11. Фукидид: *1* — двойная герма. Неаполь. Музей; *2* — бюст. Холкем-холл. Норфолк. Англия

(более изящно, чем правдиво), историям, в большинстве ставшим баснословными и за давностью не поддающимся проверке»[1].

Однако, отстраняясь от изучения древности, провозглашая своим лозунгом принципиальный модернизм, историк должен по возможности сам видеть описываемые им события или по крайней мере пользоваться свидетельствами очевидцев, а это возможно лишь в том случае, если он идет, так сказать, по горячим следам событий, «ноздря в ноздрю» с самой историей, а не тащится где-то в ее обозе. Несмотря на это, Фукидид все же не мог обойтись без эпизодических вылазок в эпоху, предшествующую Пелопоннесской войне, вырываясь, таким образом, как бы против собственного желания, из узких рамок своей главной темы. Такие экскурсы в прошлое чаще всего возникают у Фукидида как следствие строго научной необходимости. Они почти всегда оправданы методологически и тесно увязаны с основным ходом повествования. Важнейшие из этих экскурсов следующие. 1). Так называемая Археология — первые двадцать глав первой книги. 2). Так называемая Пентеконтаэтия — рассказ о 50 годах, отделяющих начало Пелопоннесской войны от похода Ксеркса.

[1] *Фукидид.* История / пер. Г. А. Стратановского. Л.: Наука, 1981. С. 13.

3). Короткий экскурс о судьбе спартанского царя Павсания в связи с судьбой героя Саламина Фемистокла — этот экскурс необходим для того, чтобы объяснить читателю смысл контрультиматума афинян, предъявленного в ответ на требование спартанцев изгнать из города людей, запятнанных религиозным кощунством, т. е. Перикла. 4). Обзор истории греческой колонизации в Сицилии — своеобразное вступление к рассказу о сицилийской экспедиции. 5). Новелла о заговоре Гармодия и Аристогитона в связи с некоторыми моментами в рассказе о деле осквернителей герм и процессе Алкивиада. 6). Экскурс, посвященный объединению Аттики при Тезее, — так называемый Тезеев синойкизм в связи с эвакуацией афинян за городские стены в первый год войны. Встречаются и более мелкие отступления от основной темы, но о них я сейчас говорить не буду.

Если сравнить общее количество экскурсов в книге Фукидида с бесконечными экскурсами в истории Геродота, мы не можем не поразиться исключительной выдержке афинского историка, его постоянному самоконтролю и умению подчинять все помыслы и движения своей души одной главной задаче. Фукидид сурово, я бы даже сказал, угрюмо прокладывает избранную им дорогу среди множества соблазнов, подстерегавших его на этом пути, ни на минуту не отвлекаясь в сторону, стараясь сделать все возможное для того, чтобы читатель за деревьями не потерял из виду всего леса, чтобы частные обстоятельства, судьбы отдельных людей или даже государств не заслонили от него грандиозного целого — титанической борьбы за гегемонию над греческим миром. С железной последовательностью великого ученого, фанатика своей науки Фукидид осуществляет в своей книге придуманные им для самого себя правила игры, строгие нормы научной дисциплины, не допускавшие никаких уклонений от раз и навсегда намеченного пути. Важнейшим из этих правил был почти полный отказ от того приема, который мы теперь называем «блистать эрудицией» и которым так часто злоупотребляли почти все античные историки, начиная с Геродота. В отличие от своего великого предшественника Фукидид никогда не стремится поразить читателя своим многознанием, энциклопедической образованностью, начитанностью, или, скорее, наслышанностью о всякой всячине. Он отнюдь не склонен мило болтать обо всем, что взбредет в голову, только для того, чтобы развлечь читателя или дать ему отдохнуть от непрерывного умственного напряжения. Поэтому в его рассказе совершенно отсутствуют сплетни и анекдоты, которых так много у Геродота. По этой же причине он избегает слишком пространных и часто повторяющихся выходов за рамки своей главной темы в другие исторические эпохи и периоды.

Нужно сказать, что такое самоограничение давалось Фукидиду не без труда. Несмотря на подчеркнутую актуальность его труда, целиком ориентированного на современность, интерес к седой старине, к решению сугубо книжных антикварных вопросов греческой истории отнюдь не был ему абсолютно чужд. В короткой главке, завершающей «Археологию» (I, 20), историк с мрачным сарказмом говорит о некомпетентности тех людей, которые берутся писать древнюю историю, ничего толком не зная о ней, и делают грубые ошибки в элементарных вещах (здесь достается и Геродоту за то, что он придумал никогда не существовавший в спартанской армии Питанский лох, и каким-то другим неизвестным нам писателям за сходные ляпсусы). Тем самым Фукидид дает понять, что сам-то он гораздо больше и лучше всех этих невежд знает о том, что было в старину, но писать об этом не собирается, так как занят другими, гораздо более важными делами. Таким образом, как всякий фанатик идеи, Фукидид «наступает на горло собственной песне», ограничивая свой рассказ тесными рамками одного строго заданного русла. Но кое-где распирающая его изнутри ученость все же находит для себя лазейку и вырывается наружу, подобно гейзеру или нефтяному фонтану. Так, экскурс о заговоре Гармодия и Аристогитона в шестой книге «Истории» (VI, 54 слл.) возникает несколько неожиданно. В принципе Фукидид мог бы обойтись здесь и без него, поскольку в его задачу в этом месте входило лишь напоминание читателю о том, что память о тирании Писистратов была еще жива среди афинян в злосчастном 415 году, когда разыгралось таинственное дело гермокопидов. Однако историк был задет за живое невежественными, с его точки зрения, домыслами каких-то афинских книжников, утверждавших, что из двух братьев-тиранов старшим и правителем был не Гиппий, а Гиппарх, и решил попутно внести ясность в этот запутанный вопрос (см. также I, 20). Таким образом, возникла целая вставная новелла, явно выпадающая из общей линии фукидидовского повествования в этой части «Истории» (возможно, здесь напомнила о себе какая-то давняя научная дискуссия, в которой Фукидид мог участвовать, еще будучи молодым человеком).

Но в целом Фукидид, как мы уже говорили, старательно избегает таких уходов от основной темы, ограничиваясь лишь самыми необходимыми справками исторического характера там, где без этого он рискует наткнуться на непонимание читателя. При такой немногословности каждое свидетельство историка, относящееся к периоду, предшествующему Пелопоннесской войне, должно оцениваться современными учеными буквально на вес золота, так как в каждом отдельном случае такого рода мы имеем дело не со случайной обмолвкой и не с занятной притчей,

рассказанной кстати, а с результатом тщательнейшего научного отбора и взвешивания среди множества фактов, известных Фукидиду и неизвестных нам.

Обращая на это ваше внимание, я хочу, чтобы вы в достаточной степени осознали уникальную ценность того раздела книги Фукидида, который собственно и составляет предмет наших занятий. Я имею в виду «Археологию», с которой логически связана следующая за ней после некоторого перерыва «Пентеконтаэтия».

Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, «Археология» выполняет очень важную функцию в большом и сложном устройстве фукидидовской «Истории». Во-первых, она разъясняет читателю значение главного предмета его труда — самой Пелопоннесской войны. Фукидиду нужно было показать, что эта война была самой грандиозной из всех, какие знала Греция за свою историю. Для этого он кратко обозревает наиболее знаменитые войны предшествующей эпохи, начиная с осады Трои, и приходит к выводу, что ни одна из них не может идти в сравнение с этой, т. е. Пелопоннесской. В античной риторике такой прием возвеличивания данного предмета за счет всех других называется «ауксесис» и нередко используется во введениях к речам и научным трактатам. Но у Фукидида была в «Археологии» и другая, не столь ясно выраженная цель, но, по-видимому, для него самого не менее важная. Историк хотел показать, как постепенно создавались необходимые материальные предпосылки для того, чтобы война такого масштаба, имевшая такие катастрофические последствия для ее участников, стала возможной. Рост экономического богатства и параллельно с ним военной, прежде всего морской, мощи греческих государств на протяжении целого ряда столетий — таков главный логический стержень этого короткого, сжатого до предела обзора. Одна эта мысль о взаимосвязи материального благосостояния государства с его военным могуществом резко выделяет Фукидида среди всех историков древности, ставит его едва ли не вровень с исторической наукой Нового времени. В самой «Археологии» эта основная посылка раскрывается на многочисленных конкретных примерах.

Свой обзор Фукидид начинает с того утверждения, что до Троянской войны греки не осуществляли ни одного сколько-нибудь значительного военного предприятия. В подтверждение этой мысли приводится целый ряд доказательств — τεκμήρια, как выражается сам историк. Во-первых, замечает Фукидид, Греция в те времена еще не имела постоянного населения. Ее обитатели легко меняли свое место жительства. А так как пути сообщения были ненадежны, то не могла вестись и торговля в сколько-нибудь широких масштабах. Не было благоприятных условий

для накопления собственности, так как не существовало укрепленных мест, где можно было бы укрыть свои богатства. У людей не было уверенности в завтрашнем дне: неожиданное нападение врага могло сразу лишить их всего, что они имели. Фукидид не сообщает нам, откуда он черпает уверенность в том, что положение вещей было именно таково, каким он его изображает. Но вероятнее всего, его представления об обстановке, предшествующей Троянской войне, базировались на двух основных фактах: 1) отсутствие следов каких бы то ни было значительных укреплений, которые относились бы к более раннему времени, нежели цитадели Микен и Тиринфа, которые сам Фукидид и его современники, очевидно, считали постройками времен Троянской войны; 2) предания, которые рассказывали о постоянных передвижениях героев и сопутствующих им народов по территории Греции.

Важное значение Фукидид придает тому обстоятельству, что имя «эллины» в прежние времена обозначало не весь греческий народ, а лишь незначительную его часть, обитавшую на юге Фессалии (*карта 1*) — во Фтиотиде (по Гомеру, здесь помещалось царство Ахилла). Все остальные греки носили различные наименования — у того же Гомера мы встречаем аргивян, ахейцев, данайцев и т. д., — и, следовательно, не составляли еще единого народа. Попутно Фукидид замечает, что греки не проводили еще четкого различия между собой и окружающими их «варварскими» народами (у Гомера даже слово «варвар» ни разу не встречается). Естественно, что при такой раздробленности греческие племена не могли совершить ничего выдающегося.

Далее Фукидид обращает внимание читателя на такую важную черту греческого быта древнейших времен, как широкое распространение пиратства на море и разбоя на суше. В подтверждение этого он ссылается на свидетельства древних поэтов (опять-таки Гомера), на известные ему факты из жизни отсталых племен Западной Греции: акарнанцев, эпиротов и прочих (то, что мы назвали бы «привлечением этнографического материала»), наконец, на местоположение древнейших греческих городов, которые все как один располагались на известном удалении от моря, дабы обезопасить себя от пиратских набегов, в то время как города, основанные в более поздний период, занимали как раз прибрежную полосу. Первым, кто начал систематическую борьбу с пиратством и установил свое господство над морем, был, по мнению Фукидида, Минос. Он очистил острова Эгейского моря от населявших их карийских пиратов. В связи с этим Фукидид ссылается на любопытный факт, имевший место в его собственное время, в первые годы Пелопоннесской войны: при ритуальном очищении священного острова Делоса было открыто великое множество карийских могил, которые можно было узнать как по типу

Карта 1. Расселение греков

погребения, который еще и в V в. был в употреблении в самой Карии (в Малой Азии), так и по характерному «варварскому» вооружению, лежавшему в этих могилах. Здесь, как и в некоторых других случаях, Фукидид использует факты археологического или этнографического характера для того, чтобы подкрепить свидетельства древней мифологической или поэтической традиции. О талассократии Миноса и его борьбе с пиратством он мог, конечно, узнать только таким путем. Но, не довольствуясь тем, что рассказывают мифы, Фукидид идет дальше и отыскивает конкретные доказательства, подтверждающие его первоначальные догадки. Эта методика научного исследования опять-таки характеризует Фукидида как историка по античным масштабам экстракласса.

Со времени Миноса условия жизни в Греции и на островах Эгеиды начали постепенно изменяться. Появляются первые укрепленные города, надежно защищенные от разбойничьих набегов, моря освободились от пиратов, развивается торговля, и, таким образом, создаются необходимые предпосылки для накопления богатства. Более богатые подчиняют себе своих бедных соседей, и вследствие этого возникают первые «великие державы». Одной из таких держав было царство Агамемнона. Богатство и из ряда вон выходящее военное могущество сделали Агамемнона предводителем общегреческого ополчения во время похода на Трою. Выдвигая такое утверждение, Фукидид вступает в прямое противоречие с мифом, сохраненным Гомером и другими древними авторами, согласно которому подчинение других ахейских вождей Агамемнону основывалось на клятве, которую принесли женихи Елены ее отцу Тиндарею: они обещали, что будут оказывать всемерную поддержку и защиту тому из них, на котором она остановит свой выбор. Говоря об огромных богатствах рода Атридов, с помощью которых они установили господство над всем Пелопоннесом, Фукидид указывает, что эти богатства были вывезены их родоначальником Пелопсом из Малой Азии, откуда он был родом.

Современному историку может показаться странной та свобода, с которой Фукидид вводит в свое повествование имена мифологических персонажей, нисколько не заботясь о проверке их реального существования. На страницах «Археологии» упоминаются без каких-либо оговорок как действительно жившие лица — Эллин, сын Девкалиона, Минос, Пелопс и его потомки: Атрей, Агамемнон, Геракл и его враг Еврисфей. Эта особенность исторического метода Фукидида показывает, что он, несмотря на всю глубину и мощь своего ума, еще не переступил ту грань, которая отделяет античную историографию от современной исторической науки, впервые заявившей о себе лишь в первой половине XIX в. По складу ума, по направленности своего научного мышления Фукидид

гораздо ближе стоит к европейским просветителям XVIII в., которые еще продолжали верить в историческую подлинность таких легендарных персонажей, как Моисей, Ромул, Ликург, хотя и старались, будучи законченными рационалистами, освободить их образы от всего сверхъестественного и фантастического. Вероятно, по этому же принципу действовал и Фукидид. Из каждого мифа он брал лишь тот минимум фактов, который, как ему казалось, не противоречит естественному ходу вещей и может поэтому расцениваться как историческое зерно предания. В заслугу Фукидиду следует поставить то, что он нигде не пускается в плоские разглагольствования о вероятности или невероятности отдельных приключений и подвигов мифологических героев, как это делают обычно логографы: Гекатей, Акусилай, Ферекид и нередко также Геродот. Авантюрная сторона мифа его, по-видимому, мало интересовала и вся в целом отбрасывалась в сторону как нечто, не заслуживающее серьезного внимания.

В «Археологии» Фукидид ставит и решает широкие исторические проблемы, едва ли доступные другим историкам той эпохи. Так, решается в первых главах «Археологии» весьма важная также и для сегодняшней науки об античности проблема происхождения, если можно так выразиться, чувства общегреческого национального единства и противопоставления греков окружающему их варварскому миру. Фукидид весьма основательно и в полном соответствии с данными современной науки доказывает, что самоопределение греческой народности и ее обособление от других народов произошло в достаточно позднее время. Весьма близки к результатам, достигнутым современной наукой, также и представления Фукидида о морском могуществе критских царей и о богатстве и силе Микенской державы на Пелопоннесе, хотя в своих оценках этих древнейших государств он исходит, конечно, прежде всего из данных мифологии. Любопытно, что в тех случаях, когда Фукидид оказывается перед необходимостью выбора между данными мифической традиции и археологического характера, он все же отдает предпочтение первым перед последними. Примером может служить замечательное по глубине мысли рассуждение о несоответствии развалин микенской цитадели былому могуществу и блеску Микенского царства. Фукидид предупреждает читателя, что из этого сопоставления было бы рискованно делать какие-то далеко идущие выводы, отказывая в доверии древней традиции, и в подтверждение своей мысли ссылается на современную ему Спарту, внешний вид которой никак не соответствует ее действительному могуществу.

Переходя к оценке центрального события греческой предыстории — Троянской войны, Фукидид опять-таки использует данные

мифологической традиции с гораздо большей свободой и широтой, нежели это обычно позволяют себе современные историки. Он принимает на веру свидетельство Гомера о том, что война продолжалась ровно 10 лет, принимает за подлинный факт происходящее из того же источника сообщение о постройке ахейцами укрепленного лагеря на троянском берегу, наконец, без какого-либо предубеждения манипулирует цифрами, взятыми из «Каталога кораблей» в «Илиаде», для того, чтобы определить общую численность греческой армии, осаждавшей Трою. Подбив итог, он приходит к выводу, что это предприятие было не таким уж грандиозным и далеко уступает по размаху тем военным операциям, которые имели место во время Пелопоннесской войны. Все это говорит, конечно, об известной ограниченности фукидидовского рационализма. Подобно большинству своих современников историк не мог отрешиться от обычного в те времена представления о том, что Гомер, пусть с некоторыми преувеличениями и прикрасами, рассказывает о подлинных событиях, о которых он имел вполне достоверную и точную информацию.

Этот недостаток Фукидида, вполне объяснимый и оправданный условиями той эпохи, когда он жил, не должен закрывать от нас его огромных достижений в разработке подлинно научного исторического метода. Важнейшее из этих достижений — открытие приема дедукции, т. е. восстановления утраченного целого на основании сохранившихся его частей. Этот прием Фукидид блестяще продемонстрировал, привлекая для подтверждения данных устной или поэтической традиции археологические или этнографические реалии (τεκμήρια, как он сам их называет). У историков предшествующего поколения, например у Геродота, использование метода дедукции встречается лишь эпизодически. Фукидид впервые ввел его в систему и тем самым дал мощный толчок последующему развитию научной мысли.

Вслед за Троянской войной упоминаются передвижения племен в послемикенскую эпоху: переселение беотийцев из Фессалии в Беотию и вторжение дорийцев во главе с Гераклидами на Пелопоннес. К этим событиям непосредственно примыкает ионийская колонизация Малой Азии и заселение греками Италии и Сицилии. Обо всех этих событиях Фукидид упоминает лишь мельком, так как они не имеют прямого отношения к его основной теме — росту военного могущества греческих государств.

Вторая часть «Археологии», посвященная истории архаического периода и затрагивающая также еще начало греко-персидских войн, заметно отличается от первой. Изложение в ней носит какой-то конспективный, отрывочный характер. О многих важных событиях этого периода Фукидид говорит как-то вскользь, о многих же вообще не упо-

минает, что вызывает чувство разочарования у современного исследователя. Из-за отрывочности рассказа в этой части труда Фукидида логическая связь между отдельными фактами и утверждениями иногда остается неясной или трудноуловимой. Так, ставя в один ряд возникновение тираний в греческих государствах и параллельный рост их морского могущества, Фукидид не раскрывает той внутренней связи, которая, очевидно, существовала в его понимании между этими двумя явлениями, и читатель остается в некотором недоумении. Основное внимание в этом разделе «Археологии» Фукидид уделяет именно развитию мореплавания. Упоминаются такие важные, с точки зрения историка, факты, как изобретение триеры, первая морская битва между керкирянами и коринфянами, основание эмпориев — торговых центров на морском побережье, использование коринфянами их выгодного положения на перешейке и т. п. Все в целом, однако, производит впечатление каких-то набросков и не складывается в целостную законченную картину.

В еще более краткой и фрагментарной манере изображаются в последующих главах отношения между отдельными греческими государствами в течение архаической эпохи. Основная мысль, которую проводит здесь Фукидид, состоит в том, что до начала греко-персидских войн греки не вели никаких значительных войн на материке: все военные конфликты этого времени были столкновениями между близкими соседями и не имели сколько-нибудь значительных последствий для всей Греции в целом. Кажется странным, что Фукидид упускает здесь из виду даже такое важное событие, как мессенские войны, хотя они заложили основы спартанского могущества на Пелопоннесе.

Очень коротко говорится в двух заключительных главах «Археологии» также о начале греко-персидских войн, включая поход Ксеркса, а также о возникновении двух военно-политических блоков: Пелопоннесского во главе со Спартой и Афинского. Объяснение всему этому может быть только одно. Очевидно, эта часть «Археологии» представляет собой лишь конспект или черновик глав, которые Фукидид собирался написать, но не успел в полной мере осуществить свой замысел. Вероятно, как и многие современные ученые, Фукидид сначала написал основную часть своего труда, посвященную собственно Пелопоннесской войне, а затем уже взялся за вступление. Поэтому «Археология» и осталась незаконченной.

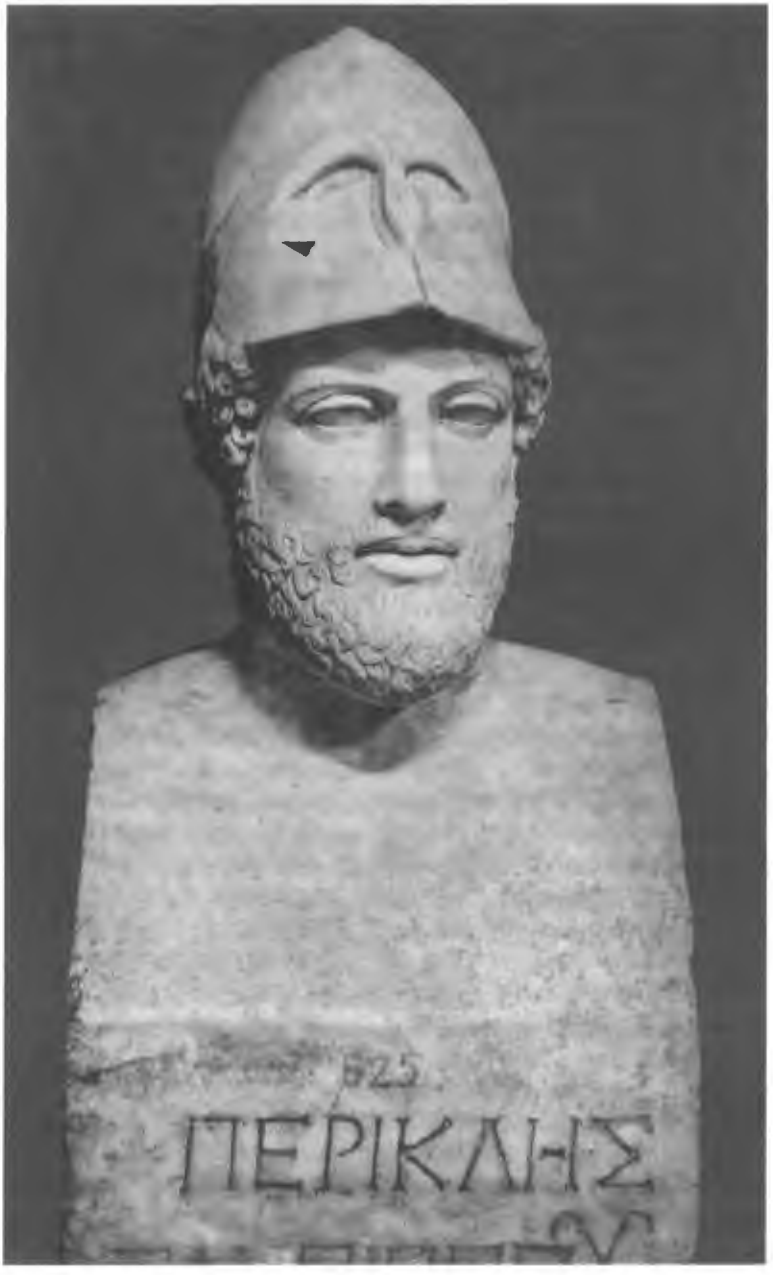
В заключение хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что составляет, пожалуй, наиболее сильную сторону исторической концепции Фукидида в «Археологии», а именно на то пристальное внимание, которое он уделяет действию материальных, прежде всего хозяйственных и технических факторов в политическом и военном развитии государства.

Столь глубокое проникновение в самое существо исторического процесса ставит «Археологию» на совершенно особое место во всей античной историографии. Иногда современные исследователи Фукидида выражают удивление по поводу того, что, приблизившись в такой большой степени к материалистическому пониманию истории во вводной части своего труда, он в дальнейшем никак не использовал свое открытие для объяснения конкретных ситуаций уже в ходе самой Пелопоннесской войны, например, для объяснения причин этой войны. Как известно, Фукидид ни словом не упоминает о торговом соперничестве между афинянами и коринфянами или афинянами и мегарянами, которое, в понимании целого ряда современных историков, было чуть ли не главной причиной войны. На мой взгляд, такое невнимание Фукидида к экономическим предпосылкам Пелопоннесской войны объясняется просто тем, что этих предпосылок вообще не было в природе. Здесь, как это нередко бывает, историки социологизаторского направления сначала выдают свои собственные домыслы за подлинный исторический факт, а затем предъявляют претензии Фукидиду или какому-нибудь другому древнему автору в том, что он этого факта по своей близорукости не заметил.

Вообще признавая действие материальных факторов в истории, Фукидид отнюдь не впадает в экономический детерминизм. Исторический процесс в целом рассматривается им скорее как результат взаимодействия ряда моментов как экономического, так и политического порядка. Эти факторы действуют поочередно, все время сменяя друг друга, так что в одни моменты на первый план выдвигается экономическое начало, в другие — политическое. Так, рассуждая о состоянии Греции в древнейший период ее истории, предшествующий Троянской войне, Фукидид отчетливо показывает, что развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли было заторможено до тех пор, пока население страны вело кочевой или полукочевой образ жизни, моря кишели пиратами, а суша разбойничьими шайками. Более благоприятные условия для хозяйственного развития Греции создались только после того, как Минос начал искоренять пиратство, установив контроль над значительной частью Эгейского моря. Но, с другой стороны, сама держава Миноса могла возникнуть лишь после того, как для этого сложились необходимые экономические предпосылки — из ряда вон выходящая концентрация богатства в руках владыки Крита. В принципе Фукидид допускает, что могущественное государство может быть создано и без развитой экономической базы, а только при наличии хороших политических учреждений, примером чего может служить, в его понимании, Спарта. Но из дальнейшего видно, что именно экономическая отсталость Спарты, ее оторванность от моря

стали, в глазах Фукидида, главной преградой на пути дальнейшего роста ее политического могущества, не дали ей сравняться в силе и протяженности территории с Афинской морской державой.

Еще одна фундаментальная идея, пронизывающая всю «Археологию» от начала до конца, — это идея развития. Человеческое существо, в понимании Фукидида, все время изменяется, переходит с низших ступеней на более высокие, поднимается, как мы бы сказали теперь, от дикости и варварства к цивилизации. Выдвигая такое положение, Фукидид, на первый взгляд, решительно становится в ряды сторонников исторического прогресса, отбрасывая в сторону изжившие себя пессимистические концепции, характерные, например, для эпических и лирических поэтов: Гомера, Гесиода, Феогнида. Нужно сказать, что, если дело действительно так и обстоит, то Фукидид был не одинок в своих воззрениях. Идея прогресса буквально носилась в воздухе в Афинах времен Перикла (*ил. 12*). В искусстве V в., в особенности в трагедии звучат настоящие гимны, прославляющие торжество человека над силами природы, его восхождение к вершинам знания и справедливости из полуживотного (троглодического) состояния. Вспомним хотя бы знаменитый панегирик человеку в «Антигоне» Софокла. В «Истории» Фукидида тоже встречаются страницы, пронизанные духом самого высокого оптимизма, веры в будущее, например надгробная речь Перикла во II книге. Но при всем том его представления об историческом процессе несут на себе столь заметную печать своеобразия, что простое зачисление его в ряды восторженных хвалителей прекрасного настоящего и глашатаев светлого будущего было бы, конечно, ошибкой. В самом деле, если присмотреться внимательно к тому, как представляет себе Фукидид исторический прогресс хотя бы в той же «Археологии», впечатление создается скорее удручающее. Ведь главным стимулом экономического и политического развития как отдельных государств, так и всего человеческого общества оказывается в его изображении то, что мы называем теперь «гонкой вооружений». Чем больше развито государство, тем сильнее его армия и флот, тем богаче его казна, за счет которой можно покрыть расходы в предстоящей войне. Фукидид не мог не знать, к чему ведет беспрерывное наращивание военного потенциала. Катастрофа, постигшая Афинскую морскую державу в конце Пелопоннесской войны, произошла на его глазах. И если даже в начале этой войны у него были какие-то иллюзии в отношении будущности такой сверхдержавы, после ее завершения он неминуемо должен был их лишиться. К сожалению, мы ничего не знаем о том, какие выводы сделал для себя историк, наблюдая агонию афинского империализма. Эпилог к истории Пелопоннесской войны так и не был им написан. Тем не менее отдельные намеки, встречающиеся



Ил. 12. Перикл. Герма. Ватикан

в имеющихся у нас частях его труда, позволяют думать, что общим итогом размышлений Фукидида о современной ему действительности был крайний пессимизм и отказ от идеи прогресса, даже если он ее исповедовал первоначально.

Вспомним хорошо известные слова Фукидида (I, 22): польза истории в том, что события, о которых рассказывает историк, могут, «по свойству человеческой природы, повториться когда-либо в будущем в том же самом или подобном виде». Из неизменности человеческой природы вытекает неизменность хода истории. Изменение если и возможно, то лишь в очень ограниченных временных пределах. По истечении определенного срока все должно повториться или так, как уже однажды было, или с некоторыми вариациями. Конечно, развивая таким образом намек, заключенный в цитированных словах Фукидида, мы идем на известный риск, так как не знаем, что думал историк на самом деле. И все же кажется довольно вероятным, что представления Фукидида о ходе истории укладывались не в схему прогрессивно-поступательного движения, как можно было бы подумать, читая первые главы «Археологии», а скорее в схему циклического, кругового движения с постоянным возвращением на одну и ту же стадию развития. В этом случае Фукидид может считаться основоположником целого направления античной исторической мысли, представленного в позднейшее время такими именами, как Платон, Полибий и другие. Хотя в целом этот вопрос пока еще нельзя считать окончательно решенным.

Некоторые мысли, лишь слегка пунктиром намеченные в «Археологии», как бы брошенные там мимоходом, в дальнейшем повествовании обретают плоть и кровь, многократно повторяясь и обогащаясь все новыми и новыми оттенками. Такова мысль об исторической оправданности завоевания. Великие державы греческой предыстории (морская держава Миноса и великое царство Агамемнона) подготавливают появление на сцене центральной темы всей книги — темы афинской архэ. Так же как и она, они выросли из захвата и порабощения сильными слабых. Но в понимании Фукидида насилие во всех этих случаях было необходимо и оправданно. Без насильственного объединения множества малых и дотоле раздробленных общин под властью одного могущественного владыки было бы невозможно их общее благополучие и процветание, был бы невозможен материальный и культурный прогресс в тех пределах, в которых его допускает Фукидид. Наглядное и самое полное воплощение этой мысли — Афинская держава, которая после мидийских войн объединила под своей эгидой бóльшую часть Эллады так же, как некогда сделали Агамемнон и Минос. В этом объединении Греции Фукидид видит великую историческую миссию Афин.

Тиранически властвуя над своими подданными, они в то же время ведут за собой всех других греков, являясь подлинной школой Эллады (как ту, так и другую оценку роли Афин Фукидид вкладывает в уста своего любимого героя — Перикла, и это едва ли случайно).

Основа афинского военного могущества — флот, и тема талассократии — владычества над морем — отчетливо намечена уже в первых главах «Археологии». И держава Миноса, и царство Агамемнона были морскими империями. И в последующий период судьба Греции зависела, по мысли историка, от соотношения сил на море. Недаром, уделяя так много внимания развитию кораблестроения и мореплавания, он ни словом не упоминает об усовершенствованиях сухопутного военного дела, например о введении фаланги, как будто они не имели принципиального значения. Наибóльшую симпатию вызывают у Фукидида те политические деятели, которые понимали значение флота и стремились к максимальному его усовершенствованию — это Фемистокл и его продолжатель Перикл. Интересно, что Фукидид нигде не связывает напрямую два важных явления — развитие морского дела и усиление демократии, хотя эта связь лежала, вне всякого сомнения, на поверхности для его современников (вспомним хотя бы недвусмысленные рассуждения на эту тему в небезызвестной «Афинской политии» Старого олигарха). Фукидид же, скорее всего сознательно, избегает каких-либо высказываний на этот счет, по своему обыкновению тщательно маскируя от читателя все, что касается его политических убеждений.

Глава 1

Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε...

Своеобразный титульный лист «Истории» — имя автора и название предмета. Подобным же образом начинает свою книгу и Геродот, но зато по-другому Ксенофонт, выдающий себя (в Hellenica) за продолжателя Фукидида.

Ἀθηναῖος.

Фукидид, подобно большинству греческих историков, предназначал свой труд для всех греков, не для одних афинян только, и поэтому счел нужным указать место своего рождения. Точно так же Гекатей называл себя Μιλήσιος, а Геродот Ἁλικαρνησσεύς (или Θούριος) в заглавных строках своих сочинений. Любопытно, что там, где Фукидид говорит о себе как об афинском стратеге (IV, 104, 4), он употребляет только патроним, а не название города.

τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους...

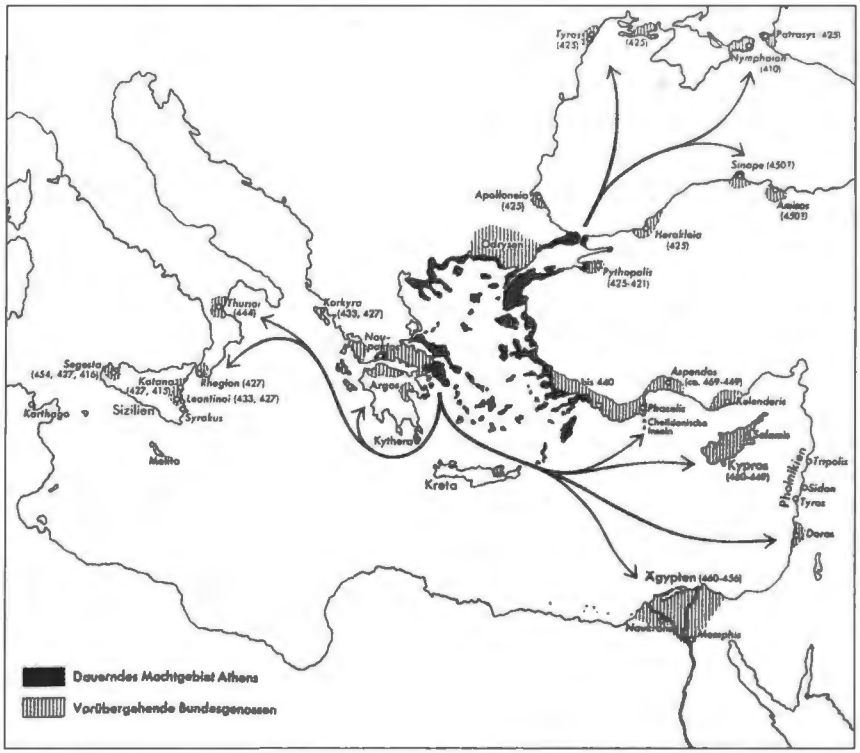
Фукидид дает точное определение своего сюжета. Это — только война, но отнюдь не история Греции в течение этого периода. Тем самым историк дает понять, что намерен ограничиться лишь военными и военно-морскими делами, а также политическими событиями в той мере, в которой они влияли на эти дела. Определение, которое дает своему предмету Геродот, допускает гораздо бóльшую широту и свободу действий.

ἐλπίσας μέγαν ἔσεσθαι etc...

В следующих двадцати двух главах, составляющих содержание собственно «Археологии», это положение развивается и обосновывается. Не впадает ли Фукидид в некоторое риторическое преувеличение, утверждая, что война, о которой он намерен писать, является самой значительной из всех, какие Греция знала за свою историю? Некоторые из современных критиков Фукидида предъявляют ему такой упрек. Конечно, как современный, непосредственный свидетель и даже очевидец описываемых им событий Фукидид не мог подходить к ним без некоторой предвзятости. К тому же как автор, создатель капитального исторического труда он был заинтересован в том, чтобы показать свой товар лицом и сразу же завладеть вниманием читателя. Тем не менее выдвинутое им утверждение — Пелопоннесская война — самое значительное из всех событий этого рода в истории Греции — нельзя не признать соответствующим объективной исторической действительности (*карты 2* и *3*). Фукидид оценивает войну по многим показателям одновременно: и по размаху военных операций, и по технической оснащенности воюющих сторон, а, следовательно, и по их экономической подготовленности к войне (именно так, очевидно, следует понимать его последующие слова: ἀκμάζοντες... ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ), и не в последнюю очередь по ее последствиям: материальным и моральным в одно и то же время. Пелопоннесская война была, в понимании историка, самой тяжелой, самой разрушительной, самой гибельной из всех, какие когда-либо велись в Греции до конца V в. (ср. его исполненные трагического пафоса слова о войне в 23 гл. I книги), и этот вывод уже давно и прочно принят на вооружение исторической наукой.

Κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων...

Фукидид хочет внушить читателю, что война, о которой он собирается поведать, была войной мировой, охватившей чуть ли не всю тогдашнюю ойкумену, т. к. в ней приняли участие не только почти все основные греческие государства, но и многие варварские народы. Говоря о них, историк, очевидно, имеет в виду эпиротов, македонян, фракийцев, сикелиотов и не в последнюю очередь, конечно, Персидское

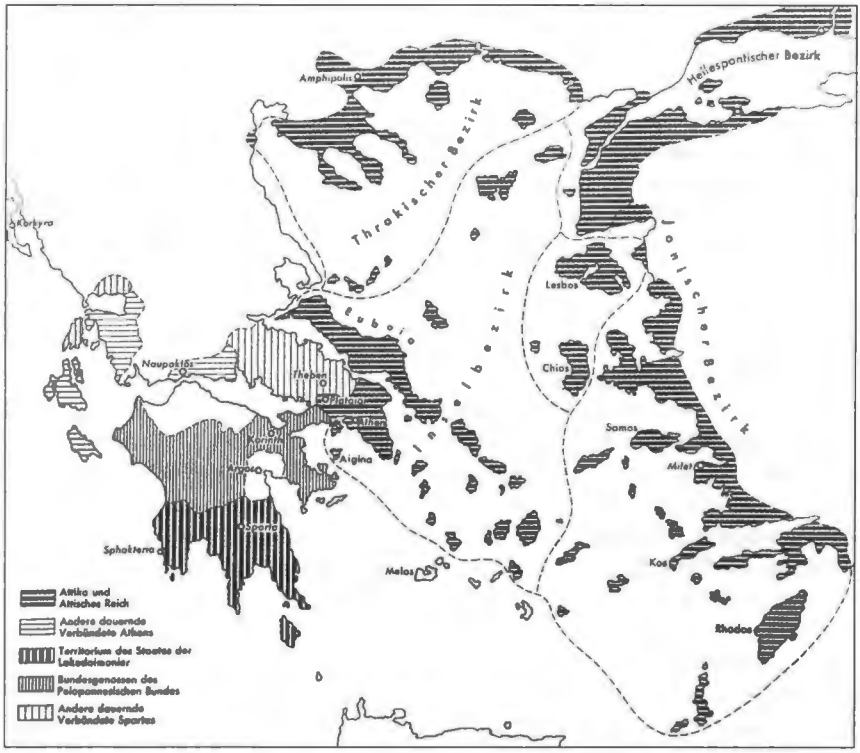


Карта 2. Экспансионные стремления Афин 470–413 гг. до н. э.

царство, хотя его слова, завершающие этот пассаж — ὡς δὲ εἰπεῖν, καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων, — звучат все же сильным преувеличением, т. к. далеко не все «варвары» были вовлечены в орбиту Пелопоннесской войны. В стороне остались, например кельты, италики, скифы, Карфаген. Да и Персидское царство, как известно, участвовало в этих событиях не столько военной силой, сколько деньгами.

τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαιότερα etc.

Эти слова вызывают некоторые сомнения издателей и комментаторов Фукидида. Если под τὰ πρὸ αὐτῶν понимать весь период, предшествующий Пелопоннесской войне, то что такое τὰ ἔτι παλαιότερα? Если же речь идет только о нескольких десятилетиях, ближайших к началу войны, непонятно, почему Фукидид не мог узнать о них ничего достоверного. Ведь в дальнейшем он достаточно подробно (в «Пентеконтаэтии») рассказывает о событиях последних 50 лет перед началом войны, очевидно, используя не весь известный ему материал. Из дальнейшего ясно, что под



Карта 3. Афинская морская держава и Пелопоннесский союз к началу Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н. э.)

τὰ παλαιότερα или τὰ παλαιὰ Фукидид понимает не весь вообще период, предшествующий Пелопоннесской войне, а все то, что было до греко-персидских войн. Именно об этом времени историк (он сознательно это подчеркивает, предупреждая читателя) не располагал достаточной информацией. Период от конца архаической эпохи до начала Пелопоннесской войны был известен ему гораздо лучше. Отсюда логически вытекает, что после слов τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν должны были следовать еще какие-то слова, опущенные в нашем тексте «Истории». Можно, например, предположить (восстановление Гомма), что после τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν стояло τὰ τε Μηδικὰ φανερῶν λείπεσθαι δοκεῖ или (восстановление Делашо) τὰ μὲν γὰρ πρὸ αὐτῶν φαίνεται οὐ μείζω γεγενημένα, τὰ δὲ ἔτι παλαίτερα[2]...

[2] *Gomme A. W., Andrews A., Dover K. Y.* A Historical Commentary on Thucydides. Vol. I–IV. Oxford, 1970. Сердечно благодарю Андрея Яковлевича Тыжова за ссылку

τεκμήρια — термин очень важный для Фукидида и неоднократно встречающийся в его книге. В афинской судебной практике V–IV вв. обычно проводилось разграничение между понятиями μαρτύρια и τεκμήρια. Если первое означало свидетельские показания, второе уже выводы или заключения, сделанные на основании этих показаний. Также и у Фукидида τεκμήρια — не просто факты или свидетельства традиции, но факты определенным образом интерпретированные, являющиеся почвой для определенных выводов.

Глава 2

ἡ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη...

Фукидид дает понять, что название страны употреблено им скорее в этнографическом, чем в географическом смысле, что оно менялось в зависимости от того, как именовал себя населяющий страну народ. Элладой она стала далеко не сразу, так как этникон «эллины» первоначально не имел универсального общегреческого применения. К этому вопросу Фукидид еще вернется в последующих главах.

μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα...

На чем основано это утверждение Фукидида? О переселениях народов в древнейший период Фукидид знал, конечно, из мифологической традиции как письменной, так и устной. Многие мифические герои были скитальцами и бродягами и все время передвигались с места на место. Так, Эдип переселился из Коринфа в Фивы, на родину своих предков; Пелопс пришел из Малой Азии в Грецию, на полуостров, который стал впоследствии называться его именем; Беллерофонт, наоборот, из Арголиды переселился в Ликию и там пустил корни; Тидей, отец Диомеда, из Этолии перебрался в Аргос и был принят царствовавшим там Адрастом, власть которого он впоследствии унаследовал вместе с рукой его дочери. О таких метанастах (бродягах, странниках) нередко упоминает Гомер. Он, правда, называет их «лишенными чести», но сам же на ряде примеров показывает, как человек, вынужденный покинуть родину из-за какого-нибудь преступления или ссоры, потом встречает самый радушный прием на чужбине в доме местного царя и становится его слугой и даже другом. Так, Патрокл бежал из Опунта (город в восточной Локриде) в Фессалию, во Фтию, после того как во время игры в бабки нечаянно убил одного из своих сверстников. Царь Фтии Пелей принял беглеца и даже сделал его товарищем маленького Ахилла, своего

на Делашо: *Delachaux A.* Notes critiques sur Thucydide (livre I) // Recueil de travaux, Université de Neuchâtel, Faculté des lettres, 10, 1925.

сына. Не менее сердечный прием встречает в доме Пелея Феникс, покинувший родину из-за ссоры с отцом. Пелей отдает под его власть целое племя долопов и затем делает его воспитателем (дядькой) Ахилла. Вообще гомеровские герои очень легко снимаются с насиженных мест и отправляются в чужие края в поисках лучшей доли вместе с чадами и домочадцами, иногда вместе со всем своим народом. Так, Менелай в IV песни «Одиссеи» предлагает Одиссею оставить Итаку и перебраться к нему в Спарту вместе со всеми подвластными ему людьми, говоря, что для того, чтобы устроить друга, он готов очистить один из принадлежащих ему городов от его обитателей.

По всей видимости, Фукидид, хорошо, конечно, знавший Гомера, проникся рыцарским, авантюрным духом его поэзии и пришел к убеждению, что передвижение целых племен с места на место, лихие пиратские набеги на города, вытеснение слабых соседей более сильными были неотъемлемыми чертами героического века — этого «века викингов» в греческой истории. Заметим, что к тому времени, когда Фукидид взялся за свою работу, греческая историография располагала уже большим запасом сведений о переселениях народов в древнейшие времена. По крайней мере Геродоту известен целый ряд таких миграций, происходивших задолго до переселения дорийцев.

Ошибка Фукидида состоит в том, что он совершенно сбрасывает со счета большие временные расстояния, разделяющие отдельные миграции греческих племен. Все они у него сливаются в непрерывную череду переселений, создавая ощущение крайней неустойчивости человеческого существования. На самом деле эта картина кочующей Греции более или менее приложима лишь к некоторым периодам ее истории, таким, как рубеж III–II тыс. (вторжение на Балканы первых волн грекоязычных племен) или рубежи II–I тыс. (эпоха так называемого дорийского переселения). Между ними лежат длительные эпохи вполне стабильной оседлой жизни, эпохи великих древних цивилизаций — минойской и микенской — и более древних культур, например кикладской и так называемой раннеэлладской, о которых Фукидид, судя по всему, почти ничего не знал.

Отталкиваясь от всего этого легендарного и полулегендарного материала, Фукидид дает ему вполне современное объяснение. Почему передвижения как отдельных лиц или семей, так и целых племен происходили в те времена с такой легкостью и быстротой? Да потому, что у человека не было серьезных привязанностей, которые могли бы удерживать его на одном месте. И прежде всего у него не было имущества, которое заслуживало бы этого названия. Имущества же не было потому, что сами условия тогдашней жизни не благоприятствовали приобретению

и накоплению богатства. Моря кишели пиратами. Значит, не могла развиваться торговля. Человек не знал, что его ожидает завтра, так как всегда над ним висела угроза нападения более могущественных и сильных соседей или каких-нибудь пришельцев издалека. Значит, не имело смысла запасать надолго. Все равно запасы стали бы добычей хищников — врагов, т. к. унести их с собой было невозможно. Вот почему никто не заботился о накоплении богатства, а лишь о том, чтобы иметь дневное пропитание (νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν καὶ περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντες). По этой же причине люди в те времена выращивали только хлеб и овощи, но не сажали плодовые и масличные деревья (γῆν φυτεύοντες), так как и то и другое могло принести урожай лишь по прошествии некоторого времени (виноград через три-четыре года, оливы через 6–7 лет). По этой же причине никто не строил в то время стен и других оборонительных сооружений, и города (полисы) были ἀτειχίσται (в свою очередь, отсутствие стен, по мысли Фукидида, влекло за собой крайнюю ненадежность, небезопасность человеческого существования).

Все эти сведения историк не мог почерпнуть, конечно, ни у Гомера, ни у других авторов. Заметим попутно, что Гомер изображает греческое общество более цивилизованным: ему уже известны укрепленные города, разведение винограда и масличных, накопление богатства, торговля хотя бы в зачаточной степени. Откуда же Фукидид мог добыть все эти факты? Очевидно, двумя путями: путем размышления и путем наблюдения. Рассуждая чисто логически, он должен был придти к выводу, что высокая мобильность населения Греции была вызвана отсутствием необходимых условий для прочной оседлости. Но это выведенное теоретически заключение историк мог подкрепить многочисленными известными ему фактами из жизни отсталых варварских народов как в самой Греции, так и за ее пределами. Он знал, что настоящих городов не было, например у эпиротов, македонцев и живущих далее к северу фракийцев, скифов и пр., что они не разводили плодовых и масличных деревьев, что торговля не играла в их жизни сколько-нибудь существенной роли.

Μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη ἀεὶ τὰς μεταβολάς etc.

Выдвигая это смелое и не вполне бесспорное утверждение, Фукидид опирается опять-таки на традицию. В его время было общеизвестным фактом, что теперешние обитатели Фессалии и Беотии не являлись коренными жителями этих двух областей, а пришли извне, что повлекло за собой в каждом из двух случаев изменение названия страны. Точно так же неоднократно менялось и население Пелопоннеса. В традиции отразилось, как мы сказали бы теперь, несколько волн миграций: 1) Данай и его потомки; 2) Пелопс и Пелопиды; 3) дорийцы во главе с Гераклидами

и ряд второстепенных. Во всех этих случаях (Беотия, Фессалия, Пелопоннес) частая смена населения находит свое объяснение в плодородии страны. Обширные равнины Беотии и Фессалии, исключительное плодородие Пелопоннеса, особенно южной его части (в Лаконии и Мессении есть места, где земельные и климатические условия позволяют снимать три урожая в год) — обо всех этих обстоятельствах читатели Фукидида были, конечно, наслышаны. Его заслуга заключалась здесь в том, что он перебросил мостик между двумя группами фактов и феномен исторический (миграции, отразившиеся в предании) объяснил, исходя из данных географического порядка — природных условий этих областей Греции.

Развивая далее свою мысль, Фукидид приходит к парадоксальному для его времени выводу: богатство страны вовсе не обязательно является залогом ее благосостояния. Чаще бывает наоборот: богатая и плодородная страна становится яблоком раздора как среди самих ее обитателей, так и среди соседних народов. Отсюда крайняя нестабильность политической обстановки (постоянные смуты — στάσεις) и частые вражеские нашествия, которые обычно ведут к смене населения. Говоря о внутренних распрях среди обитателей богатых стран, Фукидид мог иметь в виду опять-таки всем известные мифологические сюжеты: кровавая вражда братьев Этеокла и Полиника в Фивах, которая переплелась еще и с внешней интервенцией (семеро против Фив), распри между Персеидами и Пелопидами и внутри каждого из этих двух кланов на Пелопоннесе. Но предания эти историк принимает не так, как они есть, а переосмысливает по-своему.

Напротив, страна бедная плодородными почвами, не привлекающая изобилием благ земных, может стать фундаментом для создания прочного и устойчивого государства, так как на протяжении целого ряда столетий сохраняет свое население и, более того, привлекает к себе беглецов из других стран, ищущих покоя и хотя бы относительной безопасности. Примером такого исторического парадокса может служить, в понимании Фукидида, его родная земля — Аттика, которая с древнейших времен не знала, по его словам, ни внутренних смут, ни чужеземных вторжений. Нетрудно усмотреть в этом отступлении, в общем-то не столь уж обязательном в данном контексте, дань Фукидида местному афинскому патриотизму. Древнейшая история Аттики и Афин предстает в этом отрывке достаточно приукрашенной и идеализированной. Скудная почва Аттики взрастила народ, который в отличие от огромного большинства греков никогда ниоткуда не приходил и никуда не уходил (афиняне испокон веков гордились своей автохтонностью. Ср. речь Перикла — II, 36, 1).

Уступая своим соседям на севере и на юге в богатстве и военном могуществе, афиняне превосходили их в моральном и политическом

отношении. Устойчивость политического режима древних Афин и приверженность их граждан древним обычаям привлекали в эту страну беглецов и изгнанников со всей Греции. Афины, таким образом, стали уже в те отдаленные времена настоящим сердцем Эллады, своеобразным центром притяжения для всех других греков. Фукидид тем самым, очевидно, хочет показать, что уже в древности Афинам была уготована та великая судьба, которую они обретут позднее в годы борьбы с персидским нашествием и после него. Впоследствии эта мысль с еще большей силой и еще большей риторической приукрашенностью прозвучит в произведениях писателей IV в.: «Критии» и «Тимеи» Платона, «Панегирике» Исократа.

Заметим, что, развивая свою концепцию, Фукидид дипломатично опускает некоторые факты, которые могли бы ей противоречить. Геродот и некоторые другие авторы знали, что когда-то Аттику населили пеласги, которых вытеснили афиняне, очевидно, пришедшие откуда-то извне. Фукидид об этом факте умалчивает, так как он противоречит его теории автохтонности афинян. Точно так же не упоминает он здесь и о древних распрях между царями Афин и Элевсина, так как они могли бы поставить под сомнение его тезис о том, что Аттика издревле не знала никаких внутренних смут (ἀστασίαστον οὖσαν). Об этих распрях он, правда, говорит в другом месте (II, 15, 1). Впрочем, с другой стороны, он не приводит никаких конкретных данных и в поддержку своих основных положений, очевидно, рассчитывая на то, что они и без того были известны читателю. Действительно, с преданиями, подтверждающими слова Фукидида, мы сталкиваемся нередко у других авторов, например у Геродота, который указывает на чужеземное происхождение ряда знатных афинских родов, в том числе Писистратидов, Гефиреев, из которого происходили тираноубийцы — Гармодий и Аристогитон, роды Исагора и Мильтиада (только об Алкмеонидах сказано, что они γένος ἐόντες Ἀθηναῖοι, т. е. были коренными уроженцами Афин). Тем самым получает фактическое обоснование утверждение Фукидида, что в Афины в древности стекались οἱ δυνατώτατοι со всей Греции. Нельзя считать голословным и другое утверждение Фукидида о том, что ионийские колонии в Малую Азию были выведены из Афин, т. к. здесь не хватало земли для все прибывавших и прибывавших переселенцев. Здесь, как и почти повсеместно в «Археологии», он опирается на древнюю и, по-видимому, пользовавшуюся всеобщим признанием традицию. Уже Солон в одной из своих элегий называл Афины «древнейшей из ионийских земель», очевидно, имея в виду ту роль, которую Афины сыграли в ионийской колонизации в качестве метрополии большинства колоний. В сочинениях поздних греческих авторов (Страбона, Павсания и др.)

рассказывается о том, как переселившиеся в Аттику из Пилоса потомки Нелея спустя несколько поколений (при сыновьях афинского царя Кодра) возглавили отряды колонистов и, покинув Аттику, обосновались на берегах Малой Азии, основав там такие города, как Милет, Эфес, Колофон и др. Очевидно, эта традиция в том или ином виде была известна и Фукидиду.

Если попробовать дать общую оценку афинского экскурса в этой главе «Истории», то мы должны будем признать, что, несмотря на известную долю патриотической тенденциозности, Фукидид не слишком далеко отклоняется здесь от того, что имело место в исторической действительности. Ситуация, которую мы можем представить себе, опираясь только на археологический материал, в целом вполне укладывается в схему концепции Фукидида. Археология показывает, что до конца микенской эпохи Афины ничем особенно не выделялись среди других государств Балканской Греции, заметно уступая в блеске и богатстве таким микенским центрам, как сами Микены, Тиринф, Пилос, Фивы, Орхомен. Этому обстоятельству соответствует то, что афинская тема сравнительно слабо представлена в греческой мифологии. Афинские герои не принимали сколько-нибудь видного участия в Троянской войне. Поэтому Гомер о них почти не упоминает. Однако после крушения микенской цивилизации положение существенно изменилось. Территория Аттики сравнительно мало пострадала во время опустошительных варварских вторжений, положивших на рубеже XIII — XII вв. до н. э. предел дальнейшему развитию микенской культуры. Сами Афины, по-видимому, так и не были захвачены пришельцами, что, очевидно, и дало повод афинянам в последующие времена гордиться своей автохтонностью.

Несмотря на то, что общий упадок культуры и экономики, охвативший Грецию в XII–XI вв. до н. э., коснулся и Афин, именно здесь возник в это время один из самых значительных культурных центров страны, в котором микенские традиции обрели свою вторую жизнь и подготовили почву для формирования новой эллинской культуры. Именно Афины стали в течение XI–IX вв. до н. э. родиной и очагом распространения двух самых значительных школ греческой вазописи той эпохи: протогеометрического и геометрического стиля (*ил. 13–15*). Вполне вероятно, что в смутное время племенных миграций (время дорийского нашествия, как можно условно назвать этот период) Афины и Аттика в целом стали прибежищем для уцелевших обитателей микенских дворцов Пелопоннеса и Средней Греции, которые стягивались сюда со всех сторон в надежде на хотя бы относительную безопасность. Не исключено, что многие из них в дальнейшем двинулись отсюда дальше на восток и, переплыв вдоль цепи островов Эгейское море, обосновались на западном побережье

Ил. 13. Аттическая протогеометрическая керамика (XI–X вв. до н. э.):
1 — высокая пиксида; *2* — амфора из Керамейкоса. Афины. Музей Керамика

Ил. 14. Аттическая раннегеометрическая амфора из 41-й могилы Керамейкоса. Первая половина IX в. Афины. Музей Керамика

Ил. 15. Аттический позднегеометрический кратер из Афин.
Вторая половина VIII в. до н. э (ок. 740 г.).
Афины. Национальный музей

Малой Азии (археологические данные опять-таки подтверждают наличие тесных культурных и экономических связей между Афинами и по крайней мере некоторыми из ионийских поселений на востоке). Другой вопрос, какой характер носила эта так называемая Ионийская колонизация. Было это планомерное и систематическое освоение азиатского побережья Эгеиды, направлявшееся из единого центра в организованном порядке, или же только стихийное движение с запада на восток небольших разрозненных отрядов колонистов, происходивших из самых различных областей греческого мира, для которых Аттика была лишь удобным перевалочным пунктом на их пути? Если учесть то состояние крайнего экономического упадка и полнейшей политической дезинтеграции, в котором оказалась бóльшая часть Греции после крушения микенской цивилизации, последнее из этих двух решений вопроса кажется наиболее вероятным. На это же указывают и мизерные размеры большинства ионийских колоний в их первоначальном состоянии (ср. Геродот I, 145–147, который подчеркивает здесь крайнюю пестроту этнического состава населения Ионии).

διὰ τὰς μετοικήσεις τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι

Это место не совсем понятно. Что хотел сказать Фукидид? Что Аттика благодаря постоянному притоку населения извне увеличивала свое благосостояние не в одинаковой степени с остальной Грецией, т. е. больше, чем она? Или, наоборот, что другие области Греции отставали от Аттики в своем развитии по причине постоянной эмиграции (смены населения)? Последнее кажется более вероятным, но в этом случае текст пришлось бы несколько изменить, например, вместо μετοικίας ἐς читать μετοικήσεις (эту поправку внес в свое время Ульрих, и она принята большинством издателей и комментаторов). Тогда место обретает более или менее приемлемый смысл.

Может быть, смысл в том, что переселения оказывали не одинаковое действие на Аттику и другие области Греции: в Аттике благодаря им увеличивалось население, т. к. люди, приходившие сюда извне, здесь же в основном и оставались, тогда как в других местах этого не происходило.

Глава 3

Основная цель Фукидида в этой главе — показать состояние политической разобщенности, в котором пребывала Греция до начала Троянской войны. Основной аргумент, с помощью которого доказывается этот тезис, — отсутствие у греков той поры того, что мы назвали бы теперь чувством национального самосознания. Долгое время греки не сознавали себя единым народом, отличным от других «варварских» народов.

Поэтому оставалось неизвестным обычное для греческой литературы V–IV вв. противопоставление «эллинов» — «варварам». Не существовало даже единого названия всей страны и населяющего ее народа, каковыми стали впоследствии «Эллада» и «эллины». Эта мысль еще раз убеждает нас в исключительной для того времени глубине и смелости исторических взглядов Фукидида. Примитивное историческое мышление (мышление огромного большинства античных историков, средневековых хронистов и т. д.) идет обычно прямо противоположным путем. Народность существует для него как нечто данное от века, возникшее чуть ли не в один присест в самом начале времен. Сам процесс этногенеза чаще всего мыслится на этом уровне развития исторической науки чисто генеалогически. Создается родословное древо нации, корнем которого объявляется герой — эпоним. Его дети и внуки, в свою очередь, провозглашаются родоначальниками отдельных племен, составляющих данную народность. Если идти в обратном направлении (в глубь веков), путем нехитрых выкладок обнаруживается (через ряд поколений) связь героя-эпонима, родоначальника нации, с первым человеком, прародителем всех людей. Генеалогическое предание такого рода существовало и у греков. Восходя, по всей видимости, еще к гесиодовскому «Каталогу женщин», оно дошло до нас лишь в переложении таких сравнительно поздних авторов, как Страбон.

По его словам, родоначальником всех греков был Эллин, сын Девкалиона («греческого Ноя», имя которого связано с мифом о потопе). Сыновьями Эллина были Эол, Дор и Ксуф. Эол и Дор стали родоначальниками дорийских и эолийских племен. От Ксуфа же ведут свое происхождение ахейцы и ионийцы (через его сыновей, внуков Эллина: Ахея и Иона). Очевидна искусственность этой схемы. Она не могла зародиться в лоне фольклорной традиции, как большинство греческих мифов. Она еще неизвестна Гомеру и скорее всего является плодом «научных» изысканий какого-нибудь «эрудита» архаической эпохи (может быть, Гесиода, ум которого имел явную склонность к систематизации и классификации).

Искусственность этой схемы вытекает уже из того, что сама мысль о едином корне, едином происхождении целого ряда племен, говорящих на близких друг к другу наречиях, может возникнуть лишь на достаточно высоком уровне культурного развития, когда начинает пробуждаться сознание национального единства. Варварские народы обычно не склонны слишком резко отделять себя от народов другой языковой группы и, напротив, не питают особенно теплых чувств к своим ближайшим родичам по языку и по крови. Любое соседнее племя, независимо от его происхождения, может восприниматься ими в равной мере и как потенциальный

враг, и как потенциальный союзник. Вспомним, с какой легкостью возникали и в античную эпоху, и в раннем средневековье союзы и объединения племен, включающие в себя самые разнородные этнические элементы. Сколько угодно примеров такого рода дает история и варварской Европы, и варварской Азии (в особенности эпоха Великого переселения народов). Расизм, нетерпимость и враждебное отношение к людям другой крови, другого языка и другой веры — все это своеобразные побочные продукты исторического прогресса, типичные для уже достаточно цивилизованного общества, будь то эпоха раннерабовладельческого строя или же эпоха раннего феодализма. Фукидид со свойственной ему гениальной наблюдательностью подметил эту особенность варварской психологии (своеобразный примитивный «интернационализм»), отличающую ее от психологии цивилизованного человека, и с большой последовательностью и смелостью сделал вывод о сравнительно позднем самоопределении греческого народа и его обособлении от варварского мира.

Фукидид, несомненно, был хорошо знаком с традиционной генеалогической концепцией происхождения эллинской народности, но большого значения ей, по-видимому, не придавал, хотя, с другой стороны, и не отвергал совершенно и постарался включить ее в свою собственную концепцию в качестве одного из частных моментов. Посмотрим, как он это сделал.

1) οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο σύμπασά πω εἶχεν, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸ Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος καί πάνυ οὐδὲ εἶναι etc.

Из этого пассажа с полной очевидностью следует, что Фукидид был уверен в том, что «Эллада» было первое в истории общее наименование всех греческих земель. Он явно не склонен допускать, что ему могло предшествовать какое-нибудь другое название, ему соответствующее.

Следующие далее слова ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸ Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος etc. можно понять как отклик на генеалогический миф об Эллине и его сыновьях, о которых мы уже говорили прежде. Фукидид не оспаривает реальность фигурирующих в предании персонажей, на наш современный взгляд, явно вымышленных, и, более того, на свой лад использует их для того, чтобы лучше изъяснить читателю свою историческую концепцию, но в целом эти бледные анемичные фигуры прародителей эллинских племен не играют в его рассуждении принципиальной существенной роли, и, как мы увидим, он довольно быстро отделывается от них, не входя в детальный разбор предания.

Очень интересны слова, замыкающие этот пассаж, в которых Фукидид эскизно, но весьма уверенно очерчивает положение дел в Греции до появления Эллина и его потомства: κατὰ ἔθνη δὲ ἄλλα τε καὶ τὸ Πελασγικὸν ἐπὶ πλεῖστον ἀφ' ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσθαι.

Смысл этой фразы, очевидно, в том, что отдельные районы Греции получали наименование по населяющим их племенам, тогда как общего имени для всей страны еще не было. Основную часть этих племен составляли пеласги. Высказывая эту мысль, Фукидид отталкивался от одного из главных постулатов античной этнографии. Уже Геродот и, по всей видимости, также Гелланик Лесбосский и Гекатей Милетский, с трудами которых Фукидид, несомненно, был знаком, были уверены в том, что именно пеласги составляли древнейшее население Греции и были ближайшими предшественниками греков на этой территории этой страны. Так, по Геродоту (II, 56), «Пеласгией» называлась некогда южная часть Эпира (впоследствии Феспротия) со знаменитым святилищем Зевса в Додоне. Из других мест его «Истории» выясняется, что зона расселения пеласгов не ограничивалась одним этим районом. Они жили также в Аркадии (I, 146), в Фессалиотиде (I, 57), в пелопоннесской Ахайе (VII, 94), также в Беотии, Арголиде (пеласгический Аргос, или Пеласгиотида) и, наконец, в Аттике (VI, 136–140). В связи с пребыванием пеласгов в Аттике Геродот сообщает интересное предание о вражде между ними и древнейшим населением Афин, причем из его рассказа можно понять, что некогда пеласгам принадлежали и сами Афины (они построили первую стену вокруг Акрополя). В другом месте оказывается, что сами афиняне были сначала пеласгами (VIII, 44: «Что касается афинян, то они, пока нынешнюю Элладу населяли пеласги, были пеласгами и именовались кранаями»). В 56 гл. I кн. Геродот прямо противопоставляет афинян и вообще ионийцев дорийцам и в частности спартанцам как народ пеласгического происхождения (в дорийцах он видит настоящих эллинов). В следующей (57) главе указывается, что язык пеласгов был варварским, т. е. не греческим. Выдвигая такое утверждение, Геродот опирается уже не на предание, а на бесспорные лингвистические данные. Он обращает внимание читателя на то, что пеласги еще и сейчас занимают некоторые города на севере Греции (Крестону на Халкидике, Плакию на Пропонтиде, Скилаку на южном берегу Понта), также на островах Лемносе, Имбросе, Хиосе, Лесбосе, Самофракии, в Троаде и Лидии. Население этих городов говорит на варварском языке, непохожем на греческий. Все эти пеласги, по мнению Геродота, жили некогда в Аттике, пока не были изгнаны оттуда афинянами. Отсюда он заключает, что все население Аттики, принадлежавшее к пеласгическому племени, говорило на варварском наречии и сменило язык лишь после того, как из пеласгов превратилось в эллинов. Но о том, как произошел этот переход, Геродот ничего не сообщает.

Противоречивость и бессвязность геродотовских суждений о пеласгах еще не дает оснований для того, чтобы отвергнуть их, как говорится,

a limine (с порога). Вполне возможно, что в них заключается большая доля исторической истины. Наличие «пеласгического субстрата» в греческом языке сейчас не оспаривается почти никем из лингвистов. К этому субстрату могут быть отнесены слова и географические названия, имеющие в окончании суффикс -нт или -сс: гиацинт, кипарис, нарцисс, лабиринт, Тиринф, Коринф, Парнасс, Кносс и, возможно, некоторые другие. Вероятно, правы те историки, которые видят в пеласгах носителей культуры эпохи ранней бронзы (III тыс. до н. э. — РЭ период). [Пеласгические культы — возможно, Гефест, Гермес, Кабиры. Греки о пеласгах: Лемносское злодейство. Вражда между афинянами и пеласгами. Миф о Кекроне (промискуитет у пеласгов). — Заметка на полях рукописи. — *Л. Ш.*]. О происхождении пеласгов пока что трудно сказать что-либо определенное. Рассуждения о их связях с этрусками, минойцами, хеттами и другими малоазиатскими народами пока что не выходят из области весьма туманных и расплывчатых догадок и предположений. Да иначе и быть не может. Количество фактов, которыми располагает наука для решения пеласгической проблемы, нисколько не увеличилось с тех пор, как П. Кречмер в конце XIX в. открыл в греческом языке следы другого догреческого языка (слова на -нт и -сс). Поэтому смелые утверждения академика Георгиева, с которыми он выступил еще в 1958 г., о принадлежности языка пеласгов к индоевропейской ветви (язык пеласгов он помещает где-то между албанским и армянским, считая ближайшим его родственником язык древних фригийцев) не могут вызвать серьезного к себе отношения и отдают научным авантюризмом.

К сожалению, Фукидид не сообщает ничего определенного об отношениях между греками и пеласгами. Он совершенно не касается очень важного для нас вопроса о языке пеласгов, ничего не говорит также и о языке тех других (очевидно, не пеласгических) племен, которые населяли Грецию в древнейший период. Объяснить это можно либо тем, что проблемы такого рода его вообще не интересовали (он спешил к своей главной цели — рассказу о войне, не желая отвлекаться и задерживаться на том, что было, в его понимании, уделом историков, специально изучавших древность), либо тем, что вопросы эти казались ему вообще неразрешимыми.

Впрочем, в одном случае (IV, 109, 4) Фукидид определенно причисляет пеласгов, которые в его время населяли многие города Халкидики, к «варварским племенам». Интересно, что здесь же он называет их также «тирсенами», т. е. «этрусками». (Также Софокл о пеласгах Арголиды. Геродот и Страбон, с другой стороны, говорят, что этруски были пеласгами из Фессалии или с Лемноса и Имброса.) Однако это

высказывание не может иметь принципиального значения для общей оценки этнографических взглядов Фукидида, так как в его понимании и сами греки в древнейший период практически ничем не отличались от варваров.

2) Ἕλληνος δὲ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν τῇ Φθιώτιδι ἰσχυσάντων etc.

Здесь, как и во многих других случаях, Фукидид отталкивается от известной ему мифологической традиции, но истолковывает эту традицию достаточно оригинально со свойственной ему политической точки зрения на вещи. Эллинизация населения Греции была не просто результатом естественного размножения рода Эллина, родоначальника всех греков. Она имела своей главной предпосылкой чисто политический фактор — установление господства династии Эллина сначала во Фтиотиде (на юге Фессалии), а затем и в других районах (каких именно, Фукидид не сообщает). Эллинизации подвергались прежде всего те племена, которые попадали в среду политического влияния фтиотийского царского дома (так можно понять слова: καθ' ἑκάστους μὲν ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖσθαι Ἕλληνας). Современного читателя не может не смущать то обстоятельство, что Фукидид здесь, как и вообще во всей этой главе, совершенно оставляет в стороне лингвистическую сторону этногенеза. Он ни слова не говорит о том, распространялся ли эллинский язык из какого-то одного центра (Фтиотиды) одновременно с этниконом «эллины» или же дело обстояло иначе (может быть, население Греции уже и раньше говорило на каких-то диалектах, родственных греческому, а в дальнейшем они только унифицировались). Очевидно, этот момент не кажется ему достаточно существенным для того, чтобы обращать на него особое внимание читателя. Само становление эллинской народности Фукидид понимает, как мы увидим далее, не столько в языковом, сколько в культурно-историческом, прежде всего в политическом плане. Основное различие между эллинами и варварами заключается для него не в языке, а в их образе жизни.

На мгновение встав на точку зрения традиционной генеалогической теории, Фукидид тотчас же подчеркивает, что занимает в этом вопросе особую позицию, сделав в заключение этого периода очень важную оговорку: οὐ μέντοι πολλοῦ γε χρόνου ἐδύνατο καὶ ἅπασιν ἐκνικῆσαι. Тем самым нам дается понять, что первоначально имя «эллины» распространялось лишь на сравнительно небольшую территорию, так как ни самому Эллину, ни его потомкам не удалось создать большую державу, охватывавшую всю Грецию, и значительная часть ее населения продолжала пребывать в своем прежнем состоянии политической раздробленности и культурной разобщенности. Далее эта мысль подкрепляется рядом конкретных фактов.

3) τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα Ὅμηρος etc.

Гомер жил долгое время спустя после Троянской войны (в этом вопросе Фукидид разделяет мнение Геродота — ср. Hdt. II, 53). Другие авторы относят Гомера к гораздо более раннему времени: Гелланик — 1196–1183 гг. (время Троянской войны), Кратес — спустя 80 лет после этой войны, Эратосфен — спустя 100 лет и т. д. Геродот помещает Гомера и Гесиода за 400 лет до своего собственного времени. Интересно, что это соображение нисколько не мешает ни тому ни другому пользоваться данными эпоса как надежными историческими фактами, причем Геродот подчас проявляет, пожалуй, даже большую критичность — нигде не называет всех греков одинаково эллинами, а все время по-разному: то данайцами, то аргивянами, то ахейцами. Фукидид явно не замечает того, что все эти три названия употребляются Гомером в одном и том же смысле, обозначая всех вообще греков, пришедших с Агамемноном под Трою, хотя наряду с ними употребляются и другие, не столь широкие этниконы. В его понимании они обозначают, по-видимому, три разных народа. Единственное племя, удостоившееся у Гомера называться «эллинами», — это обитатели Фтиотиды, царства Ахилла (см. *карту 1* на с. 143). Фукидид имеет здесь в виду известное место из «Каталога кораблей» в «Илиаде» (II, 681–85):

> Скажем теперь о мужах, в пеласгическом Аргосе живших,
> Тех, кто Алопу и Алос, Трахин населяли и Фтию,
> Тех, кто Элладой владели, отчизной прекраснейших женщин;
> Имя им было ахейцы, и эллины, и мирмидонцы:
> Их пятьдесят кораблей с Ахиллесом пришло быстроногим.

Напоминая о том, что уже говорилось прежде об Эллине и его сыновьях, Фукидид замечает, что «это и были (самые) первые эллины».

4) οὐ μὴν οὐδὲ βαρβάρους εἴρηκε etc.

Он нигде не называет (по имени) также и варваров из-за того, что эллины еще не обособились от них под одним (общим) именем. Эллины и варвары как диалектическое единство противоположностей, из которых одна не может существовать без другой, хотя по сути дела в те времена, о которых говорит Фукидид, все вообще были варварами, за малым исключением первых эллинов, живших во Фтиотиде.

Следует заметить, что Фукидид допускает здесь некоторую неточность: слово «варвар», по-видимому, уже было известно Гомеру. В той же самой II песни «Илиады», где мы встречаем в первый и последний раз этникон «эллины», карийцы названы βαρβαροφώνοι (867), т. е. «говорящие на варварском наречии». Кроме того, есть известная нелогич-

ность и в самом рассуждении Фукидида: у него получается, что при Гомере еще не могло быть никаких варваров, потому что не было еще и настоящих эллинов, но до того, как эллины стали называться «эллинами», они могли носить какое-то другое общее имя, например ахейцы или данайцы, которым в этом случае противопостояли бы все другие племена и народы как «варвары». Однако в целом наблюдение Фукидида нельзя не признать справедливым. Если оставить в стороне отмеченные места, Гомер действительно избегает упоминать в своих поэмах имена как эллинов, так и варваров. И это едва ли случайно. Очевидно, в той древней эпической традиции, на которую ориентировался поэт, создавая «Илиаду» и «Одиссею», и которая восходила, по всей видимости, к микенской эпохе, оба эти термина еще не были известны. Можно ли сделать на основании этого факта те выводы, к которым приходит Фукидид, — это уже другой вопрос.

5) οἱ δ' οὖν ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες κατὰ πόλεις...

Очень странное место и плохо понятое. Здесь есть какая-то неувязка: если понимать слова Фукидида буквально, выходит, что жители Греции уже были эллинами до того, как они стали (все вместе) называться этим именем. Но как это понимать? В смысле языковой их общности или как-то иначе? Как понять слова «понимали друг друга по городам (κατὰ πόλεις)»? Есть здесь и хронологическая несообразность: прежде было сказано, что настоящего единства между эллинами не было еще и во времена Гомера, а здесь получается, что в этом состоянии они пребывали только до Троянской войны. Фукидид, очевидно, обобщает здесь то, что было сказано выше о древнейшем населении Греции. Логически это предложение можно расчленить на три части. В первой, если оставить пока в стороне наиболее важный здесь глагол ξυνίεσαν, Фукидид как бы повторяет уже проскальзывавшую прежде мысль о политической разобщенности древнейшей Греции: ее обитатели жили в те времена «по городам» (κατὰ πόλεις созвучно встречавшемуся ранее κατὰ ἔθνη). Во второй части (καὶ ξύμπαντες ὕστερον κληθέντες) также повторяется уже высказанная мысль о том, что общее название всего населения страны — «эллины» появилось сравнительно поздно, уже после Троянской войны. Наконец, в третьей части еще раз констатируется тот же бесспорный для Фукидида факт, о котором было сказано в самом начале этой главы: до Троянской войны греки, которые в то время еще даже не были настоящими греками, не совершили ничего совместными силами из-за слабости и отсутствия прочных связей между отдельными племенами (δι' ἀσθένειαν καὶ ἀμιξίαν). Но как теперь связать эти три части в единое целое? Затрудняет понимание всего предложения глагол ξυνίεσαν в первой части. Если взять его в его обычном значении «понимали», «стали

понимать», то как связать его с предыдущими и последующими словами? Существуют два основных варианта перевода и вместе с тем интерпретации этого места.

Вот один из них, предложенный Форбсом еще в конце XIX в. (его принимает и Жебелев[3] в своем переводе): «Отдельные эллинские племена, я имею в виду всех, кто, живя по (разным) городам (или общинам), (тем не менее) понимал друг друга, и кто впоследствии получил одно общее имя "эллинов", ничего не совершили ранее Троянской войны» и т. д. Таким образом, по Форбсу и Жебелеву, получается, что Фукидид признавал языковую общность всего населения Греции задолго до того, как сложилась его политическая общность (впервые во время Троянской войны), и до того, как все оно было признано единым народом эллинов. Догадка эта кажется чересчур рискованной. Ведь тогда пришлось бы допустить, что, в понимании Фукидида, и пеласги, и все другие варварские племена говорили на каком-то одном языке, может быть, уже близком позднейшему греческому. Эта мысль никак не вытекает из всего того, что говорилось ранее, и, очевидно, лучше будет ее пока оставить.

Другой вариант перевода предлагает Гомм: «Эти племена, жившие все по своим городам и (только) позднее, по мере того, как они стали (лучше) понимать друг друга, названные одним общим именем, ничего не совершили сообща и т. д.». Этот вариант, хотя он логичнее предыдущего и как будто лучше увязан с остальным текстом этой главы, наталкивается на определенные трудности синтаксического порядка (например, союз καὶ перед σύμπαντες в этом случае представляется неуместным, и вообще для того, чтобы получить такой смысл, как хочет Гомм, нужна основательная перестановка слов в предложении).

ὡς — здесь едва ли в значении союза «по мере того как» или «поскольку». Сочетание ὡς ἕκαστοι довольно часто употребляется Фукидидом в значении просто «все», «все вместе», когда он дает понять, что не хочет входить в какие-то детальные подробности. Конечно, можно видеть в словах ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν только пояснение к предыдущему ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες κατὰ πόλεις, т. е автор хочет сказать, что взаимопонимание в это время (в силу разности языков) только и было возможно внутри отдельных «полисов», но не за их пределами. Но в этом случае вместо ἀλλήλων было бы ἀλλήλοις.

Учитывая все это, лучше было бы вообще убрать из текста глагол ξυνίεσαν и заменить его каким-нибудь другим, признав место испорченным. Глагол с таким значением здесь явно неуместен, он никак не вы-

[3] *Фукидид.* История. Т. I / пер. Ф. Мищенка в перераб. с примеч. и вступ. очерком С. Жебелева. М., 1915.

текает из предыдущего рассуждения Фукидида — раньше мы уже говорили, что Фукидида практически не интересует языковая сторона процесса этногенеза, и он нигде ее не касается. Поэтому логичнее предположить, что на месте ξυνίεσαν в первоначальном тексте этой главы стоял какой-нибудь глагол со значением «собираться», «соединяться», например συνῆσαν (от σύνειμι — εἶμι или от εἰμί — все равно).

В заключение несколько слов о том, как решает современная наука те проблемы, которые были поставлены Фукидидом в этой главе «Археологии». Кое в чем их выводы совпадают, в остальном же, наоборот, расходятся.

Фукидид, безусловно, был прав, относя становление греческой народности под общим именем «эллины» к достаточно позднему времени. Сам он не указывает, правда, точно, когда именно слова «Эллада» и «эллины» вошли в обиход в их обычном, хорошо известном нам значении.

Судя по его ссылкам на отсутствие этих терминов в гомеровском лексиконе, он, очевидно, склонен был думать, что они появились только в послегомеровское время. Это опять-таки не совсем точно. Уже в «Одиссее» — младшей из гомеровских поэм, несколько раз встречается формула καθ' (или ἀν') Ἑλλάδα καὶ μέσον Ἄργος, причем из контекста ясно, что речь не может идти о царстве Ахиллеса, как в «Каталоге кораблей», так как этой формулой поэт определяет всю территорию, в пределах которой был славен Одиссей. Правда, первоначальное значение этой формулы могло быть иным, если допустить, что μέσον Ἄργος — это пеласгический Аргос, в котором автор «Каталога» поместил царство Ахилла, включающее в себя наряду с другими областями также Элладу. Но совершенно ясно, что в сознании автора «Одиссеи» это сочетание имело уже другое, гораздо более широкое значение. Отсюда следует, что по крайней мере в то время, когда создавалась «Одиссея», а это по принятой сейчас хронологии — конец VIII — начало VII в., Элладой считалась вся Греция, а эллинами все греки. С этим выводом хорошо согласуется и то, что генеалогическое предание об Эллине и его сыновьях, о котором мы уже говорили раньше, скорее всего должно быть отнесено к началу архаической эпохи — времени Гесиода, которого обычно считают младшим современником Гомера. В том же «Каталоге женщин» Гесиода, в котором было обнаружено первое упоминание об Эллине, сыне Девкалиона, встречается весьма красноречивый термин Πανέλληνες — «Все эллины», показывающий, что греки в те времена, когда создавалось это произведение, уже сознавали себя как большой единый народ, в противовес просто эллинам, населявшим когда-то Фтиотиду. Этот же термин употребляется в дальнейшем Архилохом, который говорит в одном из фрагментов: «Горе всеэллинов стекалось на Фасос» (Archil. Supp. Lyr.[3] p. 4).

В начале VI в. члены судейской коллегии на общегреческих играх в Олимпии именовались «гелланодиками» — «судьями эллинов». Когда в том же VI в., при фараоне Амасисе, девять греческих государств основали святилище в Навкратисе (Египет), они назвали его «Геллений» и адресовали находившиеся там посвящения «богам эллинов». В этот период «национальное самосознание» греков, чувство своей противоположности окружающим варварским народам, по-видимому, уже вполне определилось. Но начался этот процесс самоопределения гораздо раньше, вероятно, уже во второй пол. VIII в. — в гомеровский период. Толчком, вызвавшим его к жизни, была, вне всякого сомнения, Великая колонизация. Колонизация сделала греческое общество гораздо более мобильным, чем оно было раньше. Сотни и тысячи людей — причем в основном это были, как мы знаем, крестьяне-землепашцы, казалось бы, корнями вросшие в родную землю, — снимаются с насиженных мест и отправляются на поиски счастья за море. В этих скитаниях их не покидало обостренное чувство связи с родной землей и уже не с одним каким-нибудь городом или островом, а со всей Элладой, т. е. страной, где говорят по-гречески, чтят греческих богов, пьют греческое вино, занимаются гимнастикой и т. д. Это чувство неизбежно возникало в сознании колонистов, когда они оказывались в совершенно чуждой и непривычной для них климатической и природной среде Италии или Фракии, а тем более Причерноморья или Египта, когда им на каждом шагу приходилось встречать ни в чем не похожих на них людей в невиданной одежде, придерживавшихся гнусных варварских обычаев и говоривших на диком варварском языке. Именно из обостренного чувства своей противоположности этим дикарям — варварам возникло сознание всеэллинского единства.

Фукидид, впервые подметивший этот диалектический переход одного чувства в другое, несомненно, был глубоко прав в своих основных положениях, хотя и допускал отдельные неточности в хронологии.

Следует также иметь в виду, что колонизация перемешивала в своем потоке выходцев из самых различных районов Греции, говоривших на разных диалектах (нередко в основании одной колонии участвовали уроженцы одновременно нескольких или даже многих полисов). Это обстоятельство способствовало, с одной стороны, усилению межэллинских связей, преодолению былой племенной замкнутости, с другой же — более четкому самоопределению основных этнических групп внутри единой общегреческой народности. Так, ионийцы, сталкиваясь на колониальной почве с представителями других этнических групп, говорившими на других диалектах (дорийцами или эолийцами), глубже осознавали свою своеобычность и искали здесь, в чужом для них краю, прежде всего своих собратьев по языку и крови, отличая их от всех других элли-

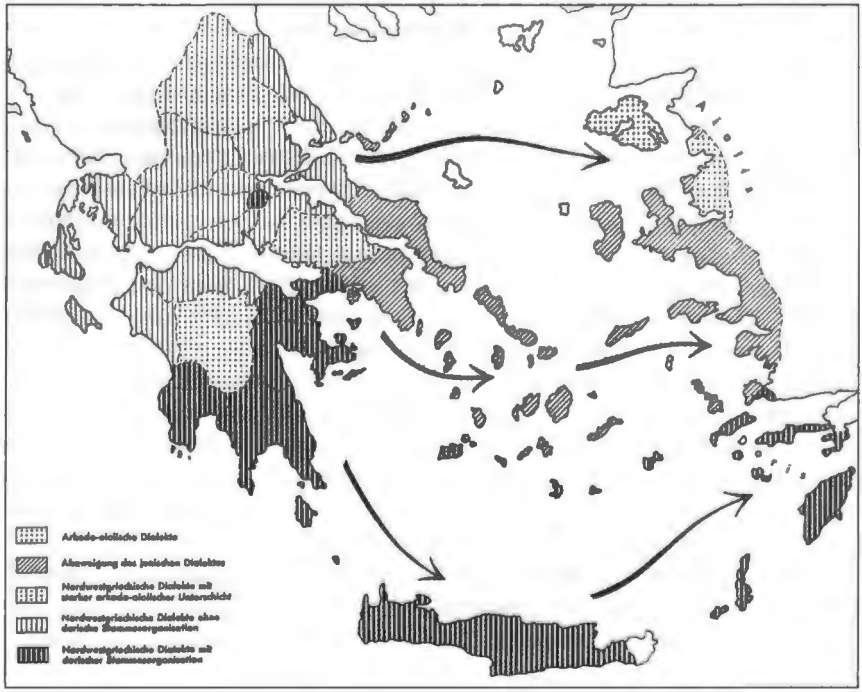
нов. Не случайно в генеалогическом мифе сыновья и внуки общего родоначальника всех эллинов олицетворяют отдельные диалектические ветви греческой народности. Очевидно, уже в то время, когда создавался этот миф, греки достаточно ясно сознавали не только свое единство, но и этнолингвистические различия и градации внутри этого единства.

Конечно, нельзя требовать большой научной точности от этой мифологической конструкции. Так, было замечено, что авторы мифа игнорируют обширную группу северо-западных говоров (жители Беотии, Этолии, Акарнании, Элиды и т. д.), а также весьма архаичную аркадокипрскую группу диалектов (*карта 4*). Не исключено, однако, что создатель (или создатели) генеалогического предания представлял выделенные им диалектические ветви более широкими, чем мы их теперь себе представляем. Действительно, в наиболее обстоятельном изложении этого предания (у Страбона) эолийцы включают в себя и северо-западные племена, и население Аркадии. Очевидно, согласно логике автора мифа, Эол как старший сын Эллина должен был оставить после себя самое многочисленное и сильное потомство.

Вообще примат эолийского начала над дорийским, ионийским и прочими выражен в мифе совершенно отчетливо. Эол — старший сын Эллина. Сам Эллин, согласно тому же Страбону и некоторым другим авторам, был владыкой исконно эолийских земель между рекой Пенеем в Фессалии и Асопом в Беотии. Нетрудно усмотреть в этом проявление определенной политической тенденции. И эта тенденция становится совершенно понятной, если вспомнить, что наиболее вероятным создателем мифа считается Гесиод или кто-то из поэтов его круга. Сам Гесиод был беотийцем и, мало того, по отцу выходцем из эолийской Кимы в Малой Азии, т. е. чистокровным эолийцем. Беотийцы же, согласно преданию, пришли в страну, которая стала называться по их имени, из Фессалии (старое название Беотии — Кадмеида). Поэтому именно здесь, на юге Фессалии, во Фтиотиде, Фукидид, очевидно, следуя за гесиодовской традицией, помещает общую прародину всех греков.

Впрочем, наряду с проэолийской существовала и другая версия того же мифа — продорийская. Ее принял и развил Геродот, сам дориец по происхождению. По нему, именно дорийцы составляли первоначальное население Фтиотиды — прародины эллинов (*карта 5*). Их же он объявляет самыми честными и подлинными из всех эллинов, противопоставляя полупеласгам ионийцам.

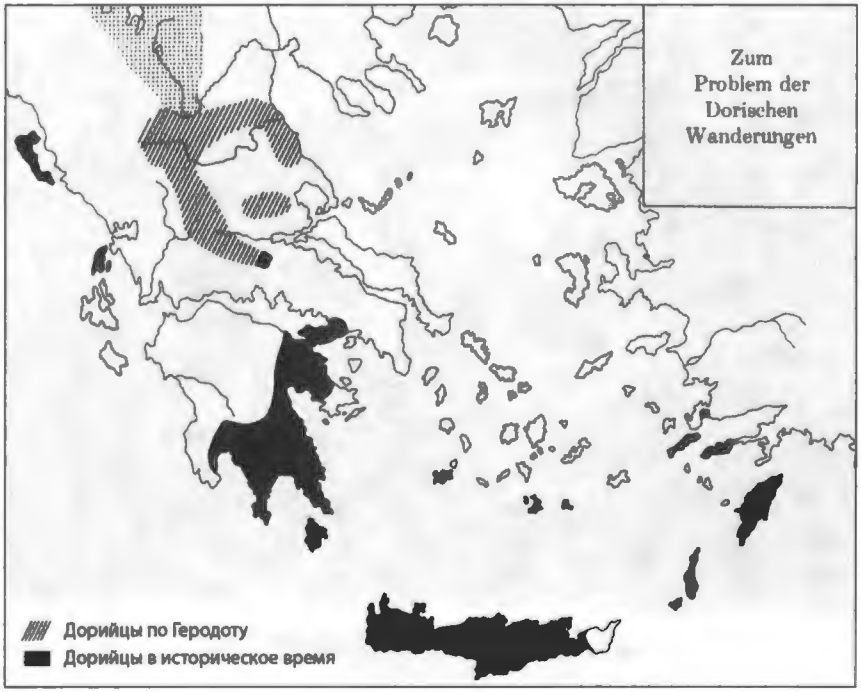
Гесиод же, настаивая на фессалийском происхождении греческой народности, мог сослаться, во-первых, на авторитет Гомера, который связывает эллинов именно с Фессалией, а не с какой-нибудь другой областью, но не только на него. С Фессалией был связан обширный круг



Карта 4. Греческие диалекты

мифов, вошедших в золотой фонд греческой мифологии. Среди них мифы об Ахилле, одном из самых популярных греческих героев, мифы о кентаврах и лапифах, наконец, миф о таком общегреческом предприятии, как поход аргонавтов, отправным пунктом которого был Иолк в Фессалии. Можно предполагать, что на фессалийской почве возник один из древнейших вариантов троянского эпоса, в котором главную роль играли Ахилл и другие северогреческие герои (есть основания думать, что и сама Троянская война разыгрывалась первоначально в Фессалии, а не в Малой Азии). Гомер, вероятно, был знаком с этим эолийским эпосом, на что указывают многочисленные эолизмы в его языке. Фессалия, судя по всему, сыграла немаловажную роль в формировании общегреческой олимпийской религии. На это указывает хотя бы то, что сама гора Олимп, считавшаяся местожительством богов, находилась на севере Фессалии. Все эти и, вероятно, также многие другие неизвестные нам факты мог иметь в виду создатель мифа об Эллине, когда он локализовал его на юге Фессалии.

Разумеется, авторитета одного Гесиода или какого-нибудь другого поэта той же поры было недостаточно для того, чтобы внедрить в со-



Карта 5. К проблеме дорийского переселения

знание всех греков, где бы они ни обитали, мысль о том, что их предки вышли когда-то с берегов Пенея и Ахелоя, а не какой-нибудь другой реки. Есть основания полагать, что немалую роль в пропаганде панэллинской идеи в ее фессалийском варианте сыграли Дельфы — наиболее почитаемое святилище Древней Греции (*ил. 16*), у которого всегда были самые тесные связи с Фессалией (Дельфы долгое время входили в единый союз — амфиктионию с фессалийским святилищем Артемиды в городе Антела, вблизи Фермопильского ущелья, — центре древнего священного союза, объединявшего племена фессалийцев, перэбов, энианов, дорийцев, долопов, беотийцев и фтиотов). А если вспомнить, какую важную роль дельфийское жречество сыграло в колонизации уже на самых ранних ее этапах, популярность предания об Эллине и его сыновьях становится понятной.

Другим пропагандистом и распространителем этого мифа было, по всей вероятности, святилище Зевса в Додоне. В окрестностях Додоны (см. *карту 1* на с. 143) некогда обитали племена, позднее переселившиеся в Фессалию, но культовые связи между этими двумя районами сохранялись

Ил. 16.1. Дельфы. Священная дорога

и в исторический период. Интересно, что жрецы — толкователи додонского оракула назывались в древности Ἕλλοί или Σελλοί, что этимологически очень близко к Ἕλληνες, как признают современные лингвисты. У Гомера мы находим любопытный эпизод (Il. XVI, 233–35): Ахилл, отправляя в бой своего друга Патрокла, обращается с молитвой не к какому-нибудь другому богу, а именно к Зевсу Додонскому:

> Зевс Пеласгийский, Додонский, далекий владыка Додоны
> Вечно суровой, где Селлы, пророки твои, обитают,
> Ног не моют себе и спят на земле обнаженной!

Если фессалийский герой Ахилл в столь важный момент его жизни обращается с молитвой к божеству, обитающему в совсем другой части Греции, то не значит ли это, что предки Ахилла пришли когда-то в Фессалию из Эпира, где находилась Додона? Напоминанием о том, что здесь, в Додоне, когда-то обитал народ эллинов или эллов, осталась титулатура жрецов местного храма. Этот вывод был сделан уже Аристотелем, который полагал, что древняя Эллада находилась именно в Додоне.

Итак, тот факт, что название одного из греческих племен, обитавшего первоначально в Эпире, в области Додоны, а затем переселившегося

Ил. 16.2. Дельфы. Руины храма Аполлона

на восток, в Фессалию, стало в конце концов универсальным обозначением всей греческой народности, можно приписать стечению целого ряда случайных обстоятельств (роль Дельф и Додоны, эолийско-фессалийская ориентация мифологической поэзии Гесиода и т. д.). Точно так же чисто случайно возникло и второе общее название того же народа — «греки», названия многих других народов как в античную эпоху, так и в средние века. Нельзя, однако, считать случайностью то, что потребность в таком универсальном обозначении всех греческих племен, где бы они ни жили, появилась именно в VIII столетии, не раньше и не позже.

VIII век вообще занимает особое место в греческой истории. Начало этого столетия отмечено учреждением общегреческих Олимпийских игр (776 г. до н. э.), что означало резкий разрыв с былыми традициями межплеменной вражды и политической изоляции отдельных общин (*ил. 17*). На вторую половину VIII в. падает такое важнейшее событие, как формирование общегреческого (национального) эпоса — гомеровских поэм (панэллинская идея пронизывает в особенности первую из них — «Илиаду»). К этому же времени можно отнести с наибольшей вероятностью и складывание общегреческого олимпийского пантеона — объединение множества локальных племенных культов в единую систему, распространившуюся на все греческие полисы. Во всем этом нашла свое

Ил. 17. Стадион в Олимпии

выражение идея единства всех греков независимо от их местожительства и политической принадлежности. Об исторических предпосылках возникновения этой идеи мы уже говорили раньше (важнейшая из этих предпосылок — Великая колонизация, начавшаяся как раз в VIII в., хотя, возможно, были и какие-то другие факторы, способствовавшие пробуждению национального чувства среди греков, о которых мы пока ничего определенного сказать не можем).

Фукидид, безусловно, был прав, высказывая мысль о том, что пробуждению национального самосознания греков предшествовал длительный период политической раздробленности, в течение которого отсутствовало само понятие единой греческой народности, отличной от других (варварских) племен и народов. В таком состоянии полнейшей политической, социально-экономической и культурной разобщенности греческий мир действительно пребывал на протяжении целого ряда веков, вероятно, не менее четырех столетий (с XII по IX в. включительно). После крушения микенской цивилизации (первая половина XII в.) греки, раздробленные на мелкие, почти совершенно изолированные от внешнего мира родо-

племенные общины, едва ли способны были воспринимать сами себя как единый народ и, по-видимому, не проводили четкой грани между собой и соседними иноязычными племенами. Но что было до этого?

Пока что наши знания о микенской эпохе слишком ограничены, и мы не можем сказать с уверенностью, существовало ли в те времена в Греции единое государство с единым центром, например в Микенах (великая Ахейская держава), или же было несколько независимых друг от друга государств, каждое из которых имело своим центром ту или иную цитадель или дворец. На этот вопрос не дают ясного ответа ни заговорившие недавно таблички линейного письма *Б*, ни Гомер, воспроизводящий в своих поэмах политические отношения микенского времени, конечно, лишь с очень большим приближением, бóльше полагаясь на свою поэтическую интуицию, а не на точные знания. Тем не менее мы можем уже сейчас с уверенностью утверждать, что грекам того времени было уже свойственно в какой-то мере сознание своей этнической и языковой общности. Наша уверенность основывается на двух фактах: 1) удивительное единообразие микенской культуры по всей зоне ее распространения (а этой зоной можно считать почти всю Балканскую Грецию и многие из островов Эгейского моря); 2) единообразие микенской письменности и соответствующего ей языка независимо от того, в каких центрах были найдены памятники этой письменности. Правда, таких центров пока что не так уж много: более или менее значительные скопления табличек линейного письма *Б* были найдены только в Фивах, Микенах, Пилосе и, наконец, в Кноссе (самый большой из всех микенских архивов). Но эти центры разбросаны достаточно широко по всей Греции. Единообразие основных слоговых знаков в каждом из этих центров, единообразие грамматических и фонетических форм слов кажутся поистине удивительными. В табличках мы не найдем ничего похожего на те диалектические и графические различия, которые так характерны для происходящих из разных местностей надписей архаической эпохи. Язык табличек в полном смысле слова — наддиалект. По всей видимости, он использовался только в узком кругу дворцовой бюрократии и профессиональных писцов для счетных записей и деловой переписки. Соответствовало ли этому специфическому наддиалекту какое-то общегреческое языковое койне, на котором говорили широкие слои населения микенских государств, сказать пока что трудно. Так или иначе оба отмеченных обстоятельства (единообразие культуры и единообразие языка письменных документов) указывают на то, что между отдельными микенскими государствами существовали тесные и непрерывные контакты, а их обитатели, по всей вероятности, считали себя уже единым народом, хотя бы и находившимся в подданстве у разных царей.

Общим наименованием этого народа было, по-видимому, «ахейцы». О государстве или стране «Аххиява» упоминают хеттские документы, современные периоду расцвета микенских государств. Народ «ахайваша» фигурирует в перечне «Народов моря», вторгшихся в Египет на рубеже XIII–XII вв. Наконец, у Гомера греческие воины — участники похода на Трою все вместе именуются обычно ахейцами, хотя наряду с этим употребляются и два других этникона: аргивяне и данайцы. Анализ текста поэм убеждает нас в том, что все три названия обозначают в эпосе один и тот же народ, населяющий Балканскую Грецию и близлежащие острова Эгейского и Ионического морей, т. е. как раз зону распространения микенской цивилизации. Происхождение каждого из этих трех названий остается пока еще предметом споров. Можно предполагать, что ахейцы — это обозначение этническое, племенное, аргивяне — территориальное (Аргос у Гомера может обозначать весь Пелопоннес или даже всю Грецию, не только Арголиду), наконец, данайцы — название правящей династии (потомков Даная), перенесенное на ее подданных, как это нередко бывало в древности и в средние века (греческие мифы о Данае и его дочерях указывают на восточное, не греческое происхождение этой династии).

Дешифровка микенских надписей, главная заслуга которой принадлежит, как известно, М. Вентрису (*ил. 18, 19*), положила конец давним распрям между учеными, из которых одни склонны были думать, что население Греции во II тыс. было по преимуществу не греческим, а пеласгическим или каким-нибудь другим, другие же отстаивали прямо противоположную точку зрения. Буквально за несколько лет перед публикацией первых результатов чтения пилосских табличек, предложенного Вентрисом, в 1949 г. вышла работа известного болгарского лингвиста Георгиева, посвященная в общем той же самой проблеме, в которой черным по белому было написано, что микенские ахейцы греками не были и по-гречески не говорили. Первая же волна грекоязычных племен (дорийцы) появилась на Балканах лишь в XII в. Настоящая эллинизация Греции началась только после крушения микенской цивилизации. Дешифровка Вентриса вскрыла полную беспочвенность гипотезы Георгиева. Все таблички линейного письма *Б*, независимо от места их происхождения, были написаны на греческом языке, близком позднейшему аркадо-кипрскому или ахейскому диалекту. Объяснить это можно только тем, что уже в XIII, а также, вероятно, и в XV–XIV вв. до н. э. (XV веком датируется, если эта датировка верна, самый ранний и самый большой из всех микенских архивов — архив Кносского дворца) греки уже составляли весьма значительную и, очевидно, господствующую часть населения страны. Это, конечно, вовсе не исключает того, что повсеместно в микенских государствах продолжали сохраняться и большие массы до-

Ил. 18. Майкл Вентрис и Рейнольд Хиггинс

греческого — пеласгического или минойского (на Крите) населения, которые также внесли свой вклад в развитие микенской культуры и оказали определенное воздействие на развитие греческого языка.

Не вполне решенным остается пока что другой немаловажный вопрос: когда и откуда греки пришли в Грецию? Не вдаваясь в разбор множества теорий и гипотез, предполагающих различные решения этой проблемы, скажу лишь, что, согласно наиболее принятому в настоящее время взгляду, распространение греческого языка по территории Греции шло поэтапно тремя волнами.

Первая, самая ранняя по времени из этих волн, приходится на рубеж III–II тыс. до н. э. — появление первых грекоязычных племен в Средней Греции и на Пелопоннесе. Почему взята именно эта дата? Да потому, что переход со стадии раннеэлладской (РЭ) культуры на стадию среднеэлладской (СЭ) культуры был достаточно драматичным и сопровождался крупными передвижениями племен, разрушением старых и возведением новых поселений в различных местах. Представляется вполне вероятным, что эти события были каким-то образом связаны с приходом греков. Многие ученые склоняются к той мысли, что эти греки были ионийцами,

Ил. 19. Табличка линейного письма *Б*

обосновавшимися в Аттике и в северной части Пелопоннеса, оттуда они были впоследствии вытеснены ахейцами. Специальные лингвистические исследования показали, что ионийский диалект древнее всех других греческих диалектов. С этим выводом согласуются рассуждения Геродота и других греческих историков об автохтонности ионийцев, их тесных связях с древнейшим догреческим населением Греции.

Вторую ахейскую волну некоторые ученые связывают с возникновением микенской культуры и относят к XVII–XVI вв. до н. э. Ахейцы пришли в Грецию вслед за ионийцами (как бы вторым эшелоном)

и обосновались как на севере (Фессалия, Беотия), так и на юге (Пелопоннес, Крит). Впрочем, историческая реальность этой второй волны нередко оспаривается.

На третьем этапе эллинизации главную роль сыграли племена северо-западной группы, авангардом которой были дорийцы. В течение XII–XI вв. эти племена, задержавшиеся на долгое время на северных границах греческого (микенского) мира, хлынули на юг и заселили большую часть Балканской Греции и островов, частью вытеснив, а частью ассимилировав с собой более раннее ахейско-ионийское или ахейско-эолийское население. Следы этой ассимиляции удалось обнаружить, изучая диалекты Фессалии, Беотии, многих районов Пелопоннеса. Повсюду под дорийскими и северо-западными напластованиями обнаруживаются более ранние ахейские или эолийские формы.

Заключительная фраза 3-й главы ...θαλάσσῃ ἤδη πλείῳ χρώμενοι вводит еще одну важную тему «Археологии» — тему морского могущества и борьбы за море. Фукидид хочет сказать, что с началом Троянской войны греки перешли на новую, высшую ступень развития, и этот переход он непосредственно связывает с мореплаванием. Благодаря ему греки преодолели свою былую ἀμιξία. Благодаря ему появилась впервые возможность установления гегемонии над всей страной и создания подлинно великой державы.

Глава 4

В следующей (4) главе выясняется, что у греков были предшественники в мореплавании и овладении морской стихией и первым из них был Минос, живший, очевидно, еще до Троянской войны.

ναυτικὸν ἐκτήσατο...

Имеется в виду, несомненно, регулярный, правильно организованный военный флот, способный противостоять суденышкам пиратов и варваров-карийцев, что, в понимании Фукидида, одно и то же.

τῆς νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης...

Море, ставшее ныне эллинским, некогда было варварским, так как на островах жили карийцы и другие им подобные племена. Очевидно, варваром (не греком) был в понимании Фукидида и сам Минос, хотя ведет он себя уже вполне по-гречески: 1) борется с пиратством за свободу судоходства; 2) основывает на островах колонии на греческий манер, очевидно, в форме полисов. Поэтому и назван здесь οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων: острова были заселены и до Миноса, но правильной (цивилизованной) жизни там не было; 3) очищая море от пиратов, Минос заботится прежде всего о своих доходах, очевидно, торговых, но, вероятно,

также и об исправном поступлении дани (фороса) с подвластных ему городов. Во всем этом он выказывает себя достойным предтечей афинского империализма V в. Здесь еще раз проявляется удивительная склонность Фукидида к осовремениванию древних преданий.

Историческое ядро предания о талассократии Миноса. Мы имеем две группы фактов: мифы и археологические данные.

1. Мифы, в которых Минос выступает как жестокий, самовластный деспот, от притеснений которого страдают окрестные народы, а в некоторых случаях и его собственные подданные — критяне. В этих мифах царь Крита предпринимает карательные экспедиции против неугодивших ему в чем-либо племен (походы в Афины, Мегары, на Сицилию), захватывает заложников и подвергает их жестокой казни. Мифы эти в основном афинского происхождения — мифы о Дедале, о Тезее и Минотавре. По словам Плутарха, афинские драматурги особенно изощрялись, изображая Миноса жестоким насильником и тираном (Тезей, 16). Вероятно, аналогичные легенды бытовали и в некоторых других городах, например в Мегарах (миф о гибели Нисы и Скиллы у Аполлодора). Сама эта традиция восходит к достаточно раннему времени. Во всяком случае о ней уже что-то знал Гомер, называющий Миноса в «Одиссее» (11, 322) ὀλοόφρων — «замышляющий недоброе».

Другая группа мифов, связанных с Миносом, делает его родоначальником целой группы царских династий, правивших главным образом на островах в центральной части Эгеиды: Фолегандр, Ренея, Парос, Наксос, Аморгос, Сифнос, Кеос, Мелос, Фера, Карпатос, Родос. Предания этого типа, очевидно, местного (островного) происхождения и имели своей целью обеспечить местную знать подобающими ее престижу родословными.

Таков был материал, которым мог пользоваться Фукидид, реконструируя морскую державу Миноса. Будучи по природе своей историком модернизаторского плана, он, разумеется, подверг этот материал переработке и, очевидно, внес в него некоторые черты, созвучные эпохе и навеянные хорошо известной ему системой управления афинской архэ. Но сам по себе образ Миноса-талассократа, по-видимому, существовал уже до Фукидида и был заимствован им у его предшественников (как владыка моря Минос был известен уже Геродоту).

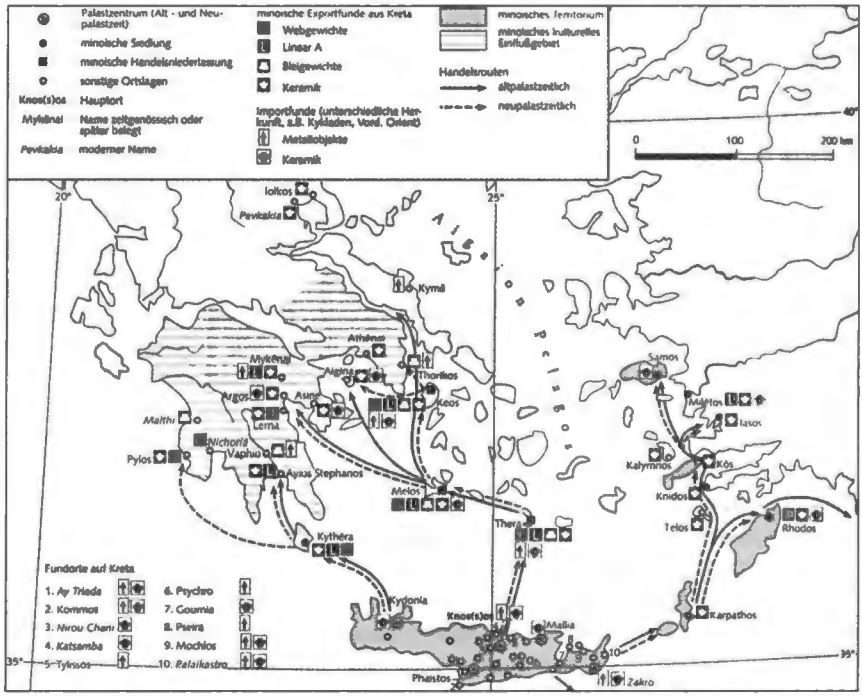
С наибольшей вероятностью формирование представлений о Критской морской державе может быть отнесено ко времени расцвета тиранических режимов (VII–VI вв. до н. э.). Характеристика Миноса у Геродота, Фукидида и других авторов обнаруживает разительное сходство с портретами знаменитых тиранов архаической эпохи у того же Геродота. Талассократами были Периандр и Поликрат, стремились к талассокра-

тии Писистрат, Лигдамид и другие. Подобно Миносу, они создавали опорные пункты своего владычества на островах и побережье, сажая наместниками в этих местах своих сыновей. Подобно Миносу, они захватывали заложников и в некоторых случаях устраивали или собирались устроить над ними зверскую расправу, которой в последний момент мешало чье-либо заступничество. Примером может служить история 300 керкирских юношей, отправленных Периандром в Лидию к Алиатту для того, чтобы тот их оскопил. В отдельных случаях наблюдается прямо-таки поразительное сходство сюжетных линий в биографии Миноса с биографиями тиранов. Такова знаменитая история о перстне, брошенном царем в море. Геродот выдает ее за факт из биографии Поликрата. Бакхилид ставит на место самосского тирана Миноса, по поручению которого Тезей бросается в море за кольцом и достает его.

Все это не означает, конечно, что весь цикл мифов, связанных с Миносом, сложился в этот период. Мифы о Минотавре, Тезее, Дедале, бесспорно, гораздо древнее, но сфабрикованная на их основе псевдоисторическая концепция морской державы Миноса вполне могла возникнуть в век тиранов, едва ли раньше.

2. Археологические данные, позволяющие говорить о торговой и колонизационной экспансии минойцев (*карта 6*) примерно между 1800 и 1450 гг. до н. э. — средне- и позднеминойский периоды (СМ II, III — ПМ I периоды). Об этих фактах Фукидид, конечно, не имел никакого представления.

Минойская керамика, относящаяся к этому времени, найдена на островах Кеосе, Делосе, Фере, Наксосе, Эгине, Кифере, Паросе, Аморгосе и Мелосе. На некоторых из них были открыты достаточно крупные поселения, близко напоминающие города минойского Крита: Филакопи на Мелосе, Айя-Ирини на Кеосе, последние раскопки на Санторине. В этот же период существовали хорошо налаженные контакты Крита с Египтом и Сирией. На запад минойские мореходы проникали так далеко, как Липары и побережье Сицилии. Дают ли, однако, все эти факты основание для того, чтобы говорить о планомерном и последовательном закреплении минойцев во всех этих районах, о создании ими морской империи, охватывавшей значительную часть Эгейского бассейна и некоторые районы за его пределами? Мне это кажется маловероятным. Минойская колонизация, по всей видимости, была столь же стихийной и неуправляемой, как и позднейшая греческая или финикийская колонизация. Она преследовала не столько политические, сколько экономические (коммерческие) цели. Сами минойцы были слишком слабым и миролюбивым народом, чтобы навязать кому бы то ни было свое господство. Даже в пору наивысшего расцвета минойского Крита в ПМ I



Карта 6. Минойское койне. Эпоха средней и начала поздней бронзы (2200–1400 гг. до н. э.)

период, когда весь остров, судя по всему, был объединен под властью одного царя, они не смогли воспрепятствовать проникновению в Восточное Средиземноморье и в Египет микенских торговых или торгово-пиратских судов, хотя им это, конечно, было крайне невыгодно. Вероятно, и берега самого Крита не были сколько-нибудь надежно защищены от набегов с моря, о чем свидетельствуют многократные разрушения дворцов. Если они, несмотря на это, оставались неукрепленными на протяжении всего этого периода, то объяснение этого феномена следует искать, как мне думается, не в режиме талассократии, а в соображениях совсем другого рода (скорей всего, религиозного порядка). Разумеется, нельзя начисто исключить возможность того, что в некоторые периоды Крит выступал как агрессивная, враждебная сила по отношению к островной и материковой Греции, что его цари предпринимали военные экспедиции с целью грабежа, захвата рабов и т. д. против слабых и отсталых племен материка. Даже нескольких случаев такого рода было бы достаточно для того, чтобы вызвать у греков враждебное отношение

к обитателям далекого острова, чтобы владыка этого острова был заклеймен в преданиях как тиран и притеснитель. Главная же причина заключается, на мой взгляд, в том, что, как и всякая высокая цивилизация, минойская культура должна была внушать страх и антипатию своим соседям-варварам (ср. отношение древних евреев к Египту и Вавилону, греков к финикийцам и египтянам и т. д.).

Глава 5

Эта глава является как бы развернутым пояснением к заключительной фразе предыдущей, отвечая на вопрос о том, почему Миносу пришлось потратить так много сил на борьбу с пиратством. Да потому, отвечает теперь Фукидид, что морской разбой в древности был широко распространен как среди эллинов, так и среди варваров, а для многих из них служил чуть ли не главным источником средств существования. За этим положением следует ряд других, логически тесно с ним связанных: пиратство не считалось позором, разбой был обычным явлением не только на море, но и на суше, отсюда обычай ношения оружия, принятый у некоторых народов еще и теперь. Рассуждение на эту тему продолжается и в следующих главах 6, 7 и 8.

В древности пиратством занимались в равной мере представители различных слоев общества, в том числе и самые могущественные люди, очевидно, аристократы. При этом, однако, разграничиваются мотивы, толкавшие на дела такого рода «сильных людей» и «слабых»: первые стремились к наживе, вторые ради хлеба насущного.

Развитию пиратства благоприятствовало незащищенное состояние тогдашних полисов. Сам термин πόλεις (πόλις) здесь скорее в значении «община», «государство», но никак не «город». Таким образом, в понимании Фукидида, полис не обязательно означает поселение городского типа. Полисом может быть и община, все население которой живет вразброс — по деревням, т. к. здесь еще не произошел синойкизм. Образцом такого несинойкизированного полиса служит для Фукидида Спарта (гл. 10, 2), а также общины этолийцев, которые в V в. жили κατὰ κώμας ἀτειχίστους (III, 94, 4).

При этом, однако, πόλις в сознании автора в каком-то смысле и здесь все же остается городом (*карта 7*), т. е. обитаемым местом, на которое можно напасть с моря и которое может иметь стены, а может и не иметь их.

Под «обитателями материка» здесь понимаются, как это видно из дальнейшего, локры, этолийцы, акарнаны и другие жители Северо-Западной Греции.

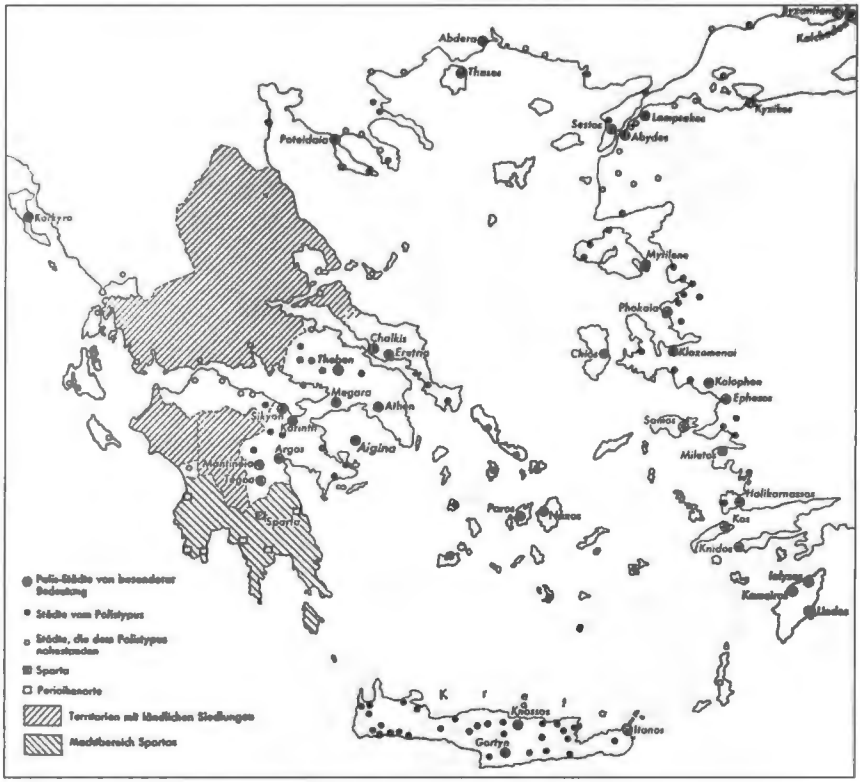
οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν...

Нам известно только три таких места: два в «Одиссее» — III, 71 слл. и IX, 252 слл. и одно в гомеровском гимне Аполлону Пифию (452 слл.). Фукидид мог их знать гораздо больше.

Представление о пиратстве как о вполне респектабельном бизнесе действительно типично для эпической поэзии, в чем следует видеть отражение достаточно низкого уровня правосознания, на котором находились греки в гомеровскую эпоху. Похвальба грабительскими набегами в обычае у героев поэм. Так, Ахилл с гордостью вспоминает в Il. IX, 325 слл. о том, как он разорил с суши и с моря двадцать три троянских города. В роли пирата-добычника неоднократно выступает Одиссей. [См. Od. IX, 40 (рассказ о нападении на киконов), XIV, 230 слл. (египетская авантюра) и другие.]

Телемах говорит, что его рабы принадлежат ему по праву, так как их «добыл» (λῃΐσσατο) для него «божественный Одиссей».

Само пиратство, в понимании Гомера, ничем не отличается от «правильной войны». Как в том, так и в другом случае конечной целью является захват добычи, рабов и т. п. Объектом для нападения могут стать в равной степени и греки, и варвары: так, Нестор в Il. XI, 670 слл. с видимым удовольствием вспоминает о своем рейде в Элиду и захвате там большого стада скота. В Od. XXI, 19 слл. мессенские пираты захватывают на Итаке триста быков. Впрочем, нужно понимать, что гомеровский материал исторически неоднороден, а изображенная в эпосе социальная среда, в которой действуют герои, — анахронистична по своей природе. Если некоторые ее черты уводят нас в глубочайшую древность, во времена, возможно, еще предшествовавшие Троянской войне, другие, наоборот, отражают уже первые успехи новой эллинской цивилизации в VIII–VII вв. до н. э. Поэтому в некоторых, правда, очень немногочисленных местах мы сталкиваемся в эпосе с осуждением пиратства как дела противозаконного, вызывающего гнев богов. Так в Od. XIX, 85 слл. (речь Евмея). Если вдуматься, то и знаменитый вопрос, обращенный к мореплавателям, не морские ли они разбойники, на который ссылается Фукидид, уже указывает на известную профессионализацию пиратства. Пираты здесь явно выделены в особую категорию среди мореплавателей вообще. Они плавают без цели (μαψιδίως), высматривая добычу, тогда как другие обычно садятся на корабли, если у них есть какое-нибудь дело (κατὰ πρήξιν). Гомеру уже известны народы, которые занимаются по преимуществу пиратством, и в этом отношении противостоят более цивилизованным и миролюбивым грекам. Это — тафийцы, населявшие небольшие острова у побережья Акарнании, народ, возможно, иллирийского происхождения. Если верить Гомеру, они совершали далекие по-



Карта 7. Греческие города

ходы на восток к берегам Кипра и Финикии, отчасти с торговыми, отчасти с грабительскими целями. С ними враждовали ахейцы, населявшие Итаку и Кефаллению. Сохранилось предание, согласно которому Одиссей еще до Троянской войны предпринял поход на тафийцев в союзе с феспротами (обитатели южной части Эпира напротив Керкиры).

В послегомеровский период (вплоть до эпохи греко-персидских войн) пиратство продолжало оставаться обычным явлением в жизни греческих государств, так или иначе связанных с морем. Разбой на море для многих оставался важнейшим источником доходов и уже в силу этого не мог подвергаться особому моральному порицанию (*ил. 20*). Эак, отец знаменитого самосского тирана Поликрата, активно занимался пиратством и десятину от награбленной им добычи посвятил в храм Геры, о чем и сообщает в надписи, вырезанной на пьедестале его собственной статуи. Его сын Поликрат развернул пиратские операции на Эгейском море

Ил. 20. Сцена сражения на скифосе из Элевсина

с еще бóльшим размахом. Со своим флотом из ста пентеконтер он, по словам Геродота, грабил всех подряд и страшно разбогател.

По-видимому, в течение очень долгого времени ни одно из греческих государств не принимало никаких законодательных мер для борьбы с пиратством. Напротив, до нас дошли любопытные документы, из которых ясно видно, что этот вид промысла получил во многих местах свое правовое оформление наравне с другими способами обогащения. Так, сохранился отрывок из анонимного афинского закона, возможно, времени Солона или даже более раннего, в котором сказано буквально следующее: «Если те, кто отправляется на добычу (ἐπὶ λείαν οἰχόμενοι) или по торговым делам, о чем-либо промеж собой договорятся, пусть

договор остается в силе, если только какое-нибудь постановление народа (его) не запрещает». Пиратские шайки здесь ставятся в один ряд с сугубо культовыми союзами геннетов, оргеонов, с товариществом сотрапезников (σύσσιτοι) и похоронными братствами (ὁμόταφοι).

В некоторых договорах, относящихся уже к V в. и происходящих с периферии эллинского мира (Крит и Локрида Озольская), мы видим попытки ввести стихию морского разбоя в какие-то узаконенные рамки, но не встречаем его осуждения по существу. Таковы договоры между Кноссом и Тилиссом и Эантией и Халеем. Отразившиеся в этих двух документах отношения в более раннее время были, по всей видимости, повсеместным явлением.

В источниках встречаются упоминания о попытках борьбы с пиратством в рамках архаического периода. Фукидид в 13 гл. «Археологии» сообщает, что такую борьбу вели коринфяне. Полиен приводит аналогичное свидетельство о Гиппии, тиране Афин. Но и в том, и в другом случае остается неясным, против каких пиратов велась борьба: против всех вообще, включая и отечественных, или же только против чужеземных.

καὶ μέχρι τοῦδε etc...

Перечисленные здесь народности входили в большую семью северо-западных греческих диалектов (сюда же относятся жители Элиды и Ахайи на Пелопоннесе, фокейцы и локры опунтские, отчасти также беотийцы и фессалийцы). Все они считались греками, хотя и сильно варваризированными. Их язык был плохо понятен их более цивилизованным соседям на востоке и на юге Греции. Полибий прямо утверждает, что многие этолийские племена, например агреи и амфилохи, не могут считаться эллинами (судя по всему, они были иллирийцами). Также к варварам (не грекам) причислялись многие из эпирских племен: хаоны, феспроты, молосцы, атинтаны. Отрывочные сведения о жизни этих народов помимо Фукидида и Геродота сохранились у поздних авторов: Полибия и Плутарха. Главной отличительной чертой всех западных греков было отсутствие у них полиса (лишь кое-где в районах, близких к Пелопоннесу и затронутых влиянием коринфской морской торговли — Амбракия, Левкада, некоторые районы Локриды Озольской, — уже в V в. возникают мелкие городские общины). Все прочие жили племенами (κατὰ ἔθνη) и по деревням (κατὰ κώμας). Время от времени чины племенной общины собирались на собрание в каком-нибудь священном, специально отведенном для этого месте, как исландцы на тинг. В остальном политические связи между отдельными деревнями были очень слабыми и в любой момент могли прерваться из-за какой-нибудь распри, вызванной, скажем, кровной местью. Отсюда необходимость постоянно иметь при себе оружие.

Глава 6

Эта глава может показаться неожиданным и не вполне оправданным уходом в сторону от главной темы этого раздела «Археологии»: борьба с пиратством и развитие мореплавания. Однако на самом деле Фукидид здесь лишь возвращается к той, по-видимому, очень важной для него мысли, которую он высказывал уже и раньше (в 3 главе): между эллинами и варварами не было в древности четкой грани — одно незаметно переходило в другое. Если прежде в подтверждение этой мысли Фукидид ссылался на Гомера, у которого само слово «варвар» еще не употребляется, а слово «эллин» встречается лишь в ограниченном, узколокальном значении, то теперь он привлекает для этой же цели факты уже другого рода, показывая, что и по образу жизни, и по своим обычаям древние эллины, которым в действительности только еще предстояло сделаться эллинами, мало чем отличались от варваров: так же, как и они, ходили вооруженные и боролись не совершенно обнаженными, как позднейшие греки, а в набедренных повязках.

Попутно здесь же уточняются некоторые вопросы, связанные с историей перехода греческого народа со ступени варварства на ступень цивилизации. Фукидид объясняет читателю, как происходил этот переход и кто из эллинов шел в авангарде этого движения. Но почему, собственно, Фукидида так занимает этот вопрос о выделении эллинства из варварской стихии и как связана эта проблема с главной темой «Археологии» — темой развития «империализма», перехода от политической раздробленности к морским державам? Очевидно, в этом проявилось подспудное и нигде прямо не выраженное чувство собственного превосходства гражданина эллинского полиса над всеми варварами вместе взятыми, у которых, по мысли историка, не может быть правильной политической организации, несмотря на то, что некоторые из их государств, например Персидская держава, по крайней мере внешне могут казаться могучими и грозными, в действительности таковыми не являясь. Лишь на базе эллинской полисной цивилизации возможно создание настоящей империи, наделенной подлинным, а не мнимым могуществом и внутренней прочностью.

ὥσπερ οἱ βάρβαροι.

Едва ли Фукидид имеет в виду всех варваров вообще. Он не мог не знать, что среди народов Востока (египтян, персов, вавилонян, финикийцев) постоянное ношение оружия не было в обычае и в этом отношении они не отличались от культурных греков. Варвары, о которых здесь идет речь, это, конечно, северные народы: иллирийцы, фракийцы, скифы, может быть, кельты и некоторые италийские племена.

Предположение Фукидида подтверждает археологический материал. В послемикенское время оружие входит как непременный составной компонент в погребальный инвентарь мужских могил. Особенно впечатляют в этом отношении данные раскопок афинского Керамика, где большой некрополь существовал начиная с СМ периода (XI в. до н. э.) и до позднегеометрического (ПоГ — конец VIII в. до н. э.) В могилах СМ периода оружие совершенно отсутствует. Очевидно, в это время в Афинах еще сильны были микенские традиции. В следующем — протогеометрическом (ПГ) периоде (X в. до н. э.) в могилах Керамика появляется сразу большое количество оружия (до 50% от общего числа мужских могил), причем самого разнообразного: мечи, кинжалы, наконечники копий, умбоны щитов. В начале геометрической эпохи (Г — IX в.) количество оружия еще более увеличивается (до 70% мужских могил). А затем (в VIII в.) наступает резкий спад. Оружие почти совершенно исчезает. Остаются только ножи, да и то лишь в немногих могилах (не более 10% от общего числа). Если взять данные по всей Греции, то создается примерно такая же картина со скидками, конечно, на фрагментарность имеющегося материала. Начиная с VIII в. оружие в мужских погребениях встречается чрезвычайно редко (лишь в виде исключений), хотя некоторые из этих исключений весьма интересны, например находка бронзовых панциря и шлема в одной аргосской могиле позднегеометрического периода (самый ранний из всех известных нам комплектов греческой паноплии).

Правда, изображения вооруженных мужчин в сценах сугубо мирного характера встречаются в вазовой живописи VIII в. и даже в еще более позднее время. Так, на дипилонских амфорах из Афин мы видим мужчин с кинжалами или короткими мечами у пояса, участвующих в церемонии оплакивания. Но художники, создававшие эти картины на вазах, едва ли ориентировались на свое собственное время (сюжеты их рисунков носят, как считают специалисты, по преимуществу мифологический характер): они изображали сцены из жизни «доброго старого времени», когда меч или кинжал на поясе или копье в руке, с которыми не расставались ни при каких обстоятельствах, были отличительным признаком свободного человека (*ил. 21*).

Что же произошло? Почему греки перестали носить оружие в дни мира, как и в дни войны, перестали класть его в могилы в качестве сопроводительного дара покойнику (последнее, несомненно, было следствием первого)? Можно ли в этом факте видеть один из симптомов перехода греческого общества на более высокую ступень исторического развития, как это сделал уже Фукидид? Бесспорно, это так. Отказ от постоянного ношения оружия свидетельствует о том, что население Аттики и других районов Балканской Греции начало переходить в это

Ил. 21. Сцена сражения и шествия вооруженных мужчин. Фрагмент аттического надгробного кратера дипилонского стиля. Париж. Лувр

время (рубеж IX–VIII вв.) к более спокойному, оседлому образу жизни в укрепленных поселениях. Прекратились бесконечные передвижения племен, долгое время вносившие в жизнь греков хаос и разброд, чувство неуверенности в завтрашнем дне. Однако отказ от ношения оружия свидетельствует не столько о налаживании мирных отношений между соседними племенами (войны, конечно, не прекратились в VIII в.), сколько о более прочной консолидации самих этих племенных общин, об установлении внутри них более или менее стабильного политического порядка и тесно связанного с ним гражданского мира. А это, в свою очередь, может быть связано с зарождением примитивной формы государства — раннего полиса.

Именно полис, воплотивший в себе волю целого коллектива граждан, мог обуздать своеволие непокорных, склонных к анархии индивидов, положить предел кровавым распрям между семьями и родами.

Одним из важнейших способов упрочения внутреннего единства полисной общины было запрещение на ношение и использование оружия в мирное время. По-видимому, и в Афинах, и в других греческих полисах принимались специальные законы против того, что Фукидид называет σιδηροφορία, хотя ни один античный автор прямо об этих законах не упоминает.

Конечно, полностью разоружить все население общины было не под силу даже самому энергичному правительству того времени. Позднее

это пытались сделать тираны, но без особого успеха. Да это и нельзя было сделать, так как гражданин греческого полиса всегда был прежде всего воином — защитником родной земли. В моменты смуты, которые случались достаточно часто и в VIII в., и в гораздо более поздние времена, оружие, спрятанное до поры до времени по приказу властей, извлекалось на свет божий и пускалось в ход. Но появление вооруженного человека на улице или на городской площади воспринималось теперь как нечто шокирующее, из ряда вон выходящее. Считалось, что гражданина лучше защищают законы государства, чем копье или меч, и носить их все время при себе не было необходимости.

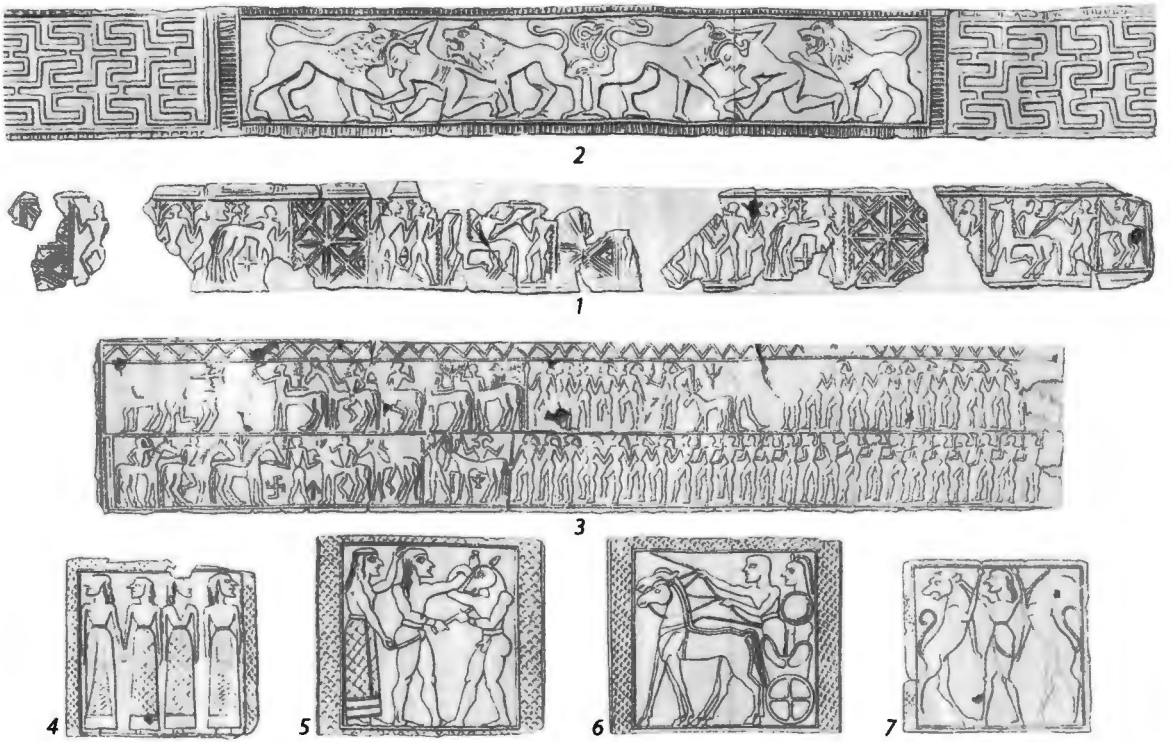
ἐν τοῖς πρῶτοι δὲ Ἀθηναῖοι etc.

Отказ от ношения оружия связан, в понимании Фукидида, с общим смягчением нравов (так можно понять слова καὶ ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ) и известным материальным достатком, что ведет даже к появлению некоторой роскоши. Это замечание, как и многое другое, говорит о тонкой психологической наблюдательности великого историка. Бедность ожесточает человека (отсюда общеизвестная жестокость варварских племен). Богатство, наоборот, располагает к благодушеству. С другой стороны, в обстановке непрерывных междоусобных распрей и кровавой резни, в которой живут варвары, роскошь, изысканность нарядов и утвари просто неуместны: в богатом платье и в золотых украшениях неудобно сидеть в засаде, подстерегая противника, или самому отражать внезапное нападение врага.

Археология и здесь подтверждает свидетельство Фукидида. Если в погребениях ПГ и РГ периодов (X–IX вв.) изделия из золота и других драгоценных материалов были еще большой редкостью, то в могилах VIII в. (из того же афинского Керамика, из Дипилонского некрополя, из Элевсина и других захоронений) вещи такого рода встречаются достаточно часто. Среди них есть настоящие шедевры ювелирного искусства, например золотые ленты-диадемы с вытесненными на них изображениями людей и животных (*ил. 22*). Много вещей восточного происхождения или подражающих восточным образцам. Есть изделия из слоновой кости и янтаря. Эти вещи, скорее всего, попадали в Грецию через посредство финикийских купцов (Гомер говорит о «тысячах безделушек» — ἀθύρματα, которыми торговали финикийцы). Таким образом, распространение роскоши и отказ от ношения оружия оказываются действительно тесно связанными между собой феноменом.

καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτοῖς и т. д.

Предложение это вызывает ряд вопросов. Во-первых, кто такие οἱ πρεσβύτεροι ... τῶν εὐδαιμόνων? Возможны два варианта: либо это люди пожилого возраста, которые сохраняли приверженность старым обычаям в то время, когда они уже повсеместно вышли из моды (может быть,



Ил. 22. Золотые украшения:
1–2 — из Афин. Копенгаген. Национальный музей; *3–7* — из Коринфа. Берлин. Государственные музеи. Античное собрание

Фукидид сам видел таких «щеголей старого закала» в годы своей юности), либо это просто старшие члены аристократических семей, в каждом поколении которые в отличие от юношей, еще не достигших полной правоспособности, пользовались привилегией носить золотые украшения в волосах, прическу особого фасона (κρωβύλος) и роскошные льняные одеяния, благодаря чему они должны были резко выделяться в толпе рядовых граждан, когда шествовали по улицам города. Последнее кажется более вероятным. В особенности в пользу этого варианта говорит вторая часть предложения о «старших среди ионийцев», у которых этот убор сохранялся в течение долгого времени (ἐπὶ πολὺ). К тому же это толкование хорошо согласуется с тем, что нам известно о структуре аристократического (олигархического) полиса, в котором граждане старшего возраста обычно занимают особое привилегированное положение, тогда как младшие нередко бывают ущемлены в своих правах. Кробил и льняной хитон были, таким образом, знаком престижа внутри господствующего сословия родовой знати.

В афинской комедии времени Пелопоннесской войны эта мода ассоциируется со временами марафономахов. Так у Аристофана во «Всадниках» — 1360 слл.; и в «Облаках», 984–6. Об этом же времени пишет Гераклид Понтик в сочинении «О наслаждении», в разделе, посвященном роскоши (Athen. XII, 512 B–C): «И Афинское государство, покуда роскошествовало, было самым великим и великодушнейших производило мужей. Они надевали пурпурные гиматии, под них поддевали пестрые хитоны. К тому же, укладывая волосы узлом (Гераклид употребляет слово κορύμβος вместо κρωβύλος у Фукидида), они носили золотых цикад на лбу и в волосах... И таковы были те люди, которые одержали победу при Марафоне».

Льняная одежда у греков всегда была предметом роскоши, так как в самой Греции льняные ткани не производились, а вывозились с Востока (из Египта). Изображения льняных хитонов, иногда пестрых, расшитых узорами или фигурами людей и животных, иногда сияющих девственной белизной, можно видеть на вазах архаического периода (*ил. 23, 1–4*).

Что касается кробила, то это, судя по всему, было какое-то подобие шиньона, который мужчины, носившие такую прическу, спускали сзади до шеи. Изображения такого фасона прически обычны в вазовой живописи и скульптуре в промежутке между 550 и 470 г., что примерно соответствует указаниям Аристофана и Фукидида. Кажется странным, что эту прическу на рисунках носят в равной степени и старцы, и юноши, что как будто прямо противоречит словам Фукидида. Противоречие, однако, снимается, если учесть, что изображенные юноши, например

1

Ил. 23. Льняные хитоны:

1 — танец. Аттический килик сер.VI в. до н. э. Тарквиния. Национальный музей; *2* — шествие богов. Фрагмент диноса «Свадьба Пелея и Фетиды», найденного на Акрополе Афин. Мастер Софилос. Ок. 580–570 гг. до н. э.; *3* — снаряжение Ахилла. Ок. 565–555 гг.; *4* — Кора № 675. Афины. Музей Акрополя

Ахилл (см. ил. *23*, *3*) или Тезей, являются героями и царями и, значит, по положению имеют право носить кробил.

Значение слова τέττιξ не вполне ясно. Одни принимают его за золотые диадемы, надевавшиеся на голову спереди, но это никак не вяжется с тем, что нам известно о кробиле. Более вероятным кажется предположение Студнички, который думает, что «цикадами» назывались золотые проволочные спирали, скреплявшие волосы в кробил. Такие спирали находят при раскопках, но остается непонятным, почему их называли «цикадами», с которыми их форма не имеет ничего общего. Высказывалась даже мысль, что это были венки с листьями из тонкого золота, звеневшими при движении наподобие цикад, но это предположение слишком произвольно и не подкреплено в достаточной степени археологическим материалом. Возможно, Фукидид просто не разобрался в этом деликатном вопросе.

ἀφ' οὗ καὶ Ἰώνων etc.

Современные историки придерживаются в этом вопросе прямо противоположного мнения: не ионийцы заимствовали моду на роскошь

2

3

Ил. 23.4 — Кора № 675. Афины. Музей Акрополя

у афинян, а, наоборот, афиняне у ионийцев, так как последние раньше вступили в контакт со странами Востока: Лидией, Фригией, Финикией, Кипром. Афины, как и другие города Балканской Греции, испытали на себе сильное ионийское влияние в VII–VI вв. до н. э. Интересно сравнить рассуждение Фукидида с тем, что говорит об изменениях фасона одежды у афинских женщин Геродот (V, 87–88). Афиняне будто бы заставили своих женщин переменить их одежду на ионийскую и носить льняные хитоны после того, как они булавками, которыми скреплялась их одежда, закололи насмерть человека (этот несчастный был единственным воином, спасшимся во время разгрома афинского войска аргосцами на Эгине). Смысл реформы заключался в том, что ионийские льняные хитоны не скреплялись булавками на плече, а сшивались. До этого афинянки, как и все греческие женщины, одевались на дорийский лад. Сама эта история достаточно анекдотична, но направление движения греческой моды с востока на запад, а не наоборот, Геродот, безусловно, указывает правильно.

Вызывающая роскошь одежды ионийской знати (ее ἁβροσύνη) отмечается уже поэтами VII–VI вв., например Ксенофаном Колофонским, который писал о своих соотечественниках — колофонских аристократах: «Они научились бесполезной роскоши у лидийцев, хотя еще и не были подчинены ненавистной тирании. Они выходили на агору в пурпурных гиматиях — а их было не меньше тысячи, — кичась своими великолепно ухоженными волосами, насквозь пропитанные благовониями». Примерно то же самое говорит самосский поэт Асий о знати этого острова, изображая ее прогуливающейся вокруг святилища Геры в длинных белоснежных одеяниях, подолы которых волочатся по земле. Они украшены золотыми брошками (κορύμβαι) наподобие цикад. Их волосы, переплетенные золотыми лентами, развеваются на ветру. На руках позванивают искусной работы браслеты. На этом основании в позднейшей греческой литературе за ионийцами утвердилась слава изнеженного, сластолюбивого и сильно феминизированного народа.

Афинские комедиографы второй половины V в. (Аристофан, Кратин и другие) изображали ионийский быт древних афинян как «старое доброе время», почти Золотой век в противовес горестной действительности. Фукидид, если судить по тому, что он здесь говорит, не склонен был к такого рода иллюзиям. Для него все это признак распущенности и изнеженности (τὸ ἁβροδίαιτον). Это еще не настоящая цивилизованность, но лишь высшая ступень варварства. Если раньше греки походили на воинственных северных варваров, то теперь они приблизились по образу жизни к восточным варварам, но настоящими эллинами еще, по-видимому, не стали.

Торжество подлинно эллинского духа наступает лишь после победы над персами, когда и в Афинах, и в других греческих городах началась реакция на все чуждое, восточное и усиленные поиски своей утраченной самобытности (ср. Россию после войны 1812 года). Пионерами этого движения и, следовательно, наименее далекими от варварства и наиболее близкими к настоящей цивилизации среди всех греков Фукидид изображает, как ни странно, спартанцев.

μετρίᾳ δ' αὖ ἐσθῆτι καὶ ἐς τὸν νῦν τρόπον etc.

Предложение это представляет собой двоякий интерес. Во-первых, Фукидид явно намекает здесь на какие-то важные перемены в жизни самой Спарты, которые, по-видимому, произошли в сравнительно недавнее время, хотя, когда именно, не сказано. До этого спартанцы, как и афиняне, были, по-видимому, привержены ἁβροσύνη и одевались на ионийский (восточный) лад. Эта догадка вполне подтверждается произведениями спартанского искусства архаического периода (из раскопок в храме Артемиды Орфии), по которым хорошо видно, что примерно до середины VI в. восточная мода была здесь господствующей. Уравнение богатых и бедных граждан в одежде и во всем прочем (очевидно, в рационе, жилищах, домашней утвари и т. п.) было прямым следствием знаменитых Ликурговых законов, которые Фукидид в другом месте относит еще к IX в. (за 400 лет «до начала этой войны»). Здесь же он явно говорит о каком-то не столь отдаленном времени. Приходится признать, что в хронологической увязке разных частей своего рассказа великий историк не проявил большой тщательности.

Во-вторых, слова Фукидида, очевидно, следует понимать таким образом, что и афиняне, и другие греки заимствовали свою теперешнюю одежду у лакедемонян уже в совсем недавнее время. Афинский костюм времен Пелопоннесской войны действительно отличался большей строгостью по сравнению с пестрыми, варварски кричащими одеяниями архаической эпохи. Он более однообразен по цвету. В его раскраске преобладают различные оттенки коричневого цвета, хотя встречается также и чисто белая одежда.

Покрой одежды становится проще и в то же время элегантнее в соответствии с новыми эстетическими вкусами и веяниями эпохи. Едва ли эта новая мода одежды была целиком и полностью скопирована со спартанской (как известно, так называемые лаконофилы в Афинах, одевавшиеся на спартанский манер, резко выделялись своим внешним видом среди других граждан), хотя некоторое дорийское влияние, возможно, и имело место. Распространилась эта мода стихийно или же она была связана с какими-то законодательными мерами? На последнюю возможность указывают схолии к «Всадникам» Аристофана, где сказано, что закон неких

Кинея и Фрина наложил строгий запрет на распущенность среди молодежи, и в частности им было запрещено отращивать длинные волосы.

О другом аналогичном законе, а может быть, и том же самом говорит Евстафий в комментариях к «Илиаде»: «Вплоть до стратегии Перикла они (т. е. афиняне) носили длинные хитоны до пят и цикад». Едва ли, однако, такими мерами, даже если они действительно имели место, можно было добиться столь радикальной перемены вкуса среди целого народа (Афины все-таки не Спарта). Скорее ее следует приписать общему росту эстетического сознания греков, распространению демократических (полисных) идеалов, наконец, подъему национального самосознания после персидских войн.

ἐγυμνώθησάν τε πρῶτοι etc.

Платон в «Государстве» (452 с.) отдает пальму первенства по этой части критянам, у которых этот обычай был перенят спартанцами. Существует также анекдот, который приводит схолиаст Фукидида в комментариях к этому месту: Орсипп, уроженец Мегар, на 15 олимпиаде, т. е. в 720 г. до н. э., сбросил свою набедренную повязку во время состязания в беге и одержал победу. Согласно Дионисию Галикарнасскому, первым этот подвиг совершил лакедемонянин Аканф.

В целом вопрос о происхождении этого обычая очень неясен. Микенские ахейцы, насколько можно судить по памятникам изобразительного искусства, были намного целомудреннее позднейших греков. Изображения совершенно обнаженных мужских или женских фигур в минойско-микенском искусстве почти не встречаются. Женщины почти всегда изображаются в огромных колоколообразных юбках и корсажах, хотя и с обнаженной грудью (*ил. 24–25*). Мужчины почти совершенно обнаженными, но обязательно в набедренной повязке, снабженной к тому же большим футляром в виде средневекового гульфика в передней своей части.

Ситуация резко меняется в послемикенскую эпоху. Уже на древнейших произведениях греческого фигуративного искусства (конец IX — VIII в. до н. э. — период зрелого геометрического стиля) мы видим совершенно обнаженные мужские и женские фигуры. Единственная одежда, в которую художники этого времени облекают мужчин, это поясок на талии, вероятно, служащий в то же время перевязью для меча или кинжала, но позднее (уже к концу VIII в.) и он исчезает. С женщинами происходит обратная метаморфоза. Они постепенно начинают одеваться в длинные юбки или в хитоны, и в результате к концу геометрического периода становится обычным соединение в одной сцене совершенно обнаженного героя с его довольно-таки плотно одетой подругой (*ил. 26*).

Ил. 24. Женщина с посвятительными дарами. Фреска из Тиринфа

Ил. 25. Играющие женщины. Фреска из дворца Нестора в Пилосе

В архаический период, когда общее число произведений изобразительного искусства резко увеличивается, можно наблюдать известное размежевание между несколькими ведущими художественными школами по признаку отношения к изображению обнаженного человеческого тела. В вазовой живописи Балканской Греции нагота полная или частичная, но главным образом у мужчин встречается сплошь и рядом: чаще всего в сценах войны, пиршеств, атлетических состязаний и в рисунках на разные мифологические темы. То же самое можно сказать и о скульптуре, для которой типичным образом становится в это время изображение совершенно обнаженного юноши с телом идеальных пропорций — так называемые куросы (*ил. 27*). Особенно заметно тяготение к изображению обнаженного тела у художников и скульпторов дорийских городов Пелопоннеса (Коринф, Аргос, Спарта, Эгина).

Напротив, в искусстве ионийских полисов Малой Азии и островов Эгеиды мотив обнажения встречается крайне редко, что скорее всего объясняется близостью Востока и его сильным влиянием на культуру азиатских греков. На рисунках ионийских вазописцев, равно как и в произведениях пластики, атлеты (борцы или бегуны) обычно изображаются в поясах, очевидно, типа тех διαζώματα, о которых пишет Фукидид. В этом свете легко объясняется то повышенное чувство стыдливости (боязнь наготы), которое отличает героев гомеровских поэм. Готовясь

Ил. 26. Танец на горле протоаттической гидрии из Аналатоса. Ок. 690–675 гг. до н. э. Афины. Национальный музей

Ил. 27. Курос, найденный на Миконосе в конце XX в. Миконос. Музей

к схватке с Ироом, Одиссей сбрасывает свое рубище, но только для того, чтобы, храня пристойность, «препоясать им чресла». Также Навзикае и ее служанкам он показывается, лишь прикрыв наготу ветвями кустарника.

Не следует забывать, что поэмы Гомера представляют собой продукт ионийской культуры с характерной для нее ориентацией на восточные обычаи и эстетические нормы, хотя нельзя считать исключенным, что в повышенной стыдливости героев поэм в какой-то мере проглядывают еще и отголоски микенских представлений о пристойности.

Итак, есть основания думать, что обычай обнажения во время игр не был следствием экстравагантной выходки какого-то атлета, пример которого заразил всех остальных. По всей вероятности, этот обычай был занесен в Грецию дорийцами в гораздо более отдаленные времена, чем думали сами древние (по крайней мере задолго до официального учреждения олимпийских игр). Фукидид прав хотя бы в том, что видит в спартанцах главных виновников распространения нудизма по всей Греции.

Особая склонность спартанцев к публичному обнажению отмечается иногда с осуждением, иногда, наоборот, с восхищением многими античными авторами. Один из самых популярных спартанских праздников — гимнопедии (буквально «голые игры») сопровождался массовым раздеванием всех участвовавших в них мужчин от мальчиков до старцев преклонного возраста. Как известно, спартанцы не видели ничего предосудительного в том, что молодые девушки на глазах у представителей противоположного пола сбрасывали с себя одежду и обнаженными состязались в беге. Все обычаи этого круга, несомненно, очень древние. Их не мог изобрести никакой законодатель.

Очевидно, с приходом дорийцев в понятиях греков о пристойности произошел коренной переворот. Тщательное укрытие детородных органов, характерное для носителей минойско-микенской культуры, перестало соблюдаться. Наоборот, совершение целого ряда религиозных обрядов требовало от их участников, согласно новым воззрениям, абсолютной обнаженности. Это требование выполнялось, с одной стороны, во время погребальных церемоний, изображения которых мы видим на афинских дипилонских амфорах, с другой — во время всякого рода игр и состязаний, которые в основе своей есть не что иное, как посвятительные (инициационные) обряды, тесно связанные, как показывает этнография, и с заупокойным культом, и с различными культами плодородия. С этим кругом обычаев тесно связан идеал так называемой героической наготы, оказавший огромное влияние на греческое изобразительное искусство и сложившийся, судя по всему, еще в геометрический период. Напомню, что сам культ героев ведет свое происхождение от более древ-

него культа предков или заупокойного культа и что, с другой стороны, именно герои выступают, как правило, в роли покровителей, а нередко и устроителей всякого рода агонов (Геракл, например, считался основателем олимпийских игр). Как живое воплощение всего того круга представлений, который связывался в сознании греков с культом мертвых, с одной стороны, и с играми, с другой, герой, уже начиная с древнейших времен, изображался обнаженным.

Как же в этом случае объяснить слова Фукидида о том, что от обычая ношения поясов на состязаниях в Олимпии отказались лишь в недавнее время (V или по крайней мере VI в.)? Возможен такой выход из этого затруднения. В VII–VI вв., когда Олимпийские игры превратились в панэллинский атлетический фестиваль, в котором принимали участие многие государства как Европейской, так и Азиатской Греции, устроители состязаний вынуждены были считаться с тем, что вкусы и взгляды участников игр были далеко не однозначными. Возможно, ионийским грекам пришлось не по душе дорийское бесстыдство и они потребовали от организаторов фестиваля принять какие-то меры. Не желая утратить свое влияние на эллинском Востоке, олимпийские власти вынуждены были пойти на уступки и наложили запрет на выступления без набедренных повязок. Однако в дальнейшем (возможно, в период греко-персидских войн или после их окончания), когда ионийское влияние в Европейской Греции стало заметно слабеть, от этого запрета решили отказаться и восстановили в правах стародедовский обычай абсолютной обнаженности.

Глава 7

αἱ δὲ παλαιαὶ (πόλεις)

Имеются в виду в основном города, возникшие на месте микенских дворцов и цитаделей: Микены, Аргос и Спарта на Пелопоннесе, Афины и Фивы в Средней Греции, Кносс и Фест на Крите.

Правда, и в это время (II тыс.) были города, находившиеся непосредственно на морском побережье, например Пилос, Иолк, Филакопи на Мелосе, Палекастро и Гурния на Крите, но Фукидид то ли не знал о их существовании, то ли просто не обратил на них внимание.

Было ли пиратство единственной причиной такого местоположения городов микенской эпохи? Едва ли. Не следует забывать о том, что все они были центрами небольших территориальных государств с преимущественно сельскохозяйственным населением. Расположение внутри страны помимо соображений безопасности диктовалось еще необходимостью контроля над обширной сельской периферией царской резиденции.

ὅσαι μὲν νεώτατα ᾠκίσθησαν

Обширная группа городов, возникших в послемикенское время, отчасти в так называемый период миграций (XI–X вв. до н. э.), отчасти в эпоху Великой колонизации. Среди них ионийско-эолийские и дорийские города Малой Азии (Милет, Фокея, Самос, Хиос, Митилена, Смирна, Галикарнас, Книд), некоторые города Европейской Греции (Халкида и Эретрия на Эвбее, Мегара) и Коринф, подавляющее большинство греческих колоний на Западе и на Северо-Востоке. Хотя и в это время встречаются исключения из общего правила, например Эфес и Колофон расположены на удалении от моря.

Два фактора объясняют приближение городов к морю: 1) море стало более судоходным (πλοϊμωτέρων ὄντων); 2) сами жители городов стали богаче (περιουσίας μᾶλλον ἔχουσαι χρημάτων). Последнее следует, очевидно, понимать в том смысле, что у них возникла теперь заинтересованность в торговле, как об этом сказано ниже, и вместе с тем появилась необходимая финансовая база для постройки укреплений, без которых жить у моря опасно.

В целом схема развития греческого градостроения, предложенная Фукидидом, кажется вполне оправданной. Она подтверждается и имеющимся в наличии археологическим материалом, и данными других письменных источников. Действительно, древнейшие греческие города, такие как Афины (*карта 8*) или Фивы, были лишены стен вплоть до очень позднего времени (в Афинах, например, настоящая городская стена была построена только после персидского нашествия, в 70-х гг. V в.). Циклопические стены микенских цитаделей, хотя Фукидид, по-видимому, знал о их существовании, городскими стенами в собственном значении этого слова еще не были, так как они защищали один только акрополь.

Новый тип поселения — обнесенный стенами приморский город появился в сравнительно недавнее время (νεώτατα) и получил распространение главным образом в зоне греческой колонизации, т. е. за пределами Балканской Греции. Этот тип поселения был известен уже Гомеру (см. описание города феаков в «Одиссее» — VI, 262 слл.). Сами феаки представлены в поэме как мореходы-колонисты, покинувшие свою родину — «широкую Гиперею», где они жили в соседстве с дикими циклопами, в поисках лучших мест для поселения (см. Od. VI, 4 слл.). Гораздо более архаичный тип поселения — укрепленный городок-акрополь, являющийся местожительством родовой общины, изображает Гомер в «Илиаде», описывая Трою.

До недавнего времени науке ничего не было известно о том, как в действительности выглядел этот полис «новейшего образца». Только в 50-х годах гомеровская схема, которую можно было бы принять и за поэтическую

фикцию, стала облекаться плотью. Наглядной иллюстрацией к этому месту «Одиссеи» может служить поселение, открытое английскими археологами в местечке Баюзаклы на том месте, где когда-то стояла эолийская Смирна, разрушенная войсками лидийского царя Алиатты.

Местоположение как Смирны, так и города феаков хорошо укладывается в топографическую схему, выдвинутую Фукидидом: города «новейшего времени» по бóльшей части занимали перешейки как в видах торговли, так и в интересах защиты против враждебно настроенных соседей. Действительно, не только Смирна, но и многие другие города-колонии располагались на небольших полуостровах, связанных с материком лишь узким перешейком, который всегда легко можно было перегородить стеной, что давало обитателям такого городка важные экономические и стратегические преимущества. Известны случаи, когда город размещался прямо на перешейке в самой узкой его части и отгораживался стенами с двух сторон, перерезав таким образом дорогу, ведущую к конечной точке полуострова. Таково местоположение Потидеи на полуострове Паллена, Галикарнаса на полуострове того же названия. Исключительным по своему удобству было местоположение Коринфа и Мегар на Коринфском перешейке. О Коринфе Фукидид в этой связи еще будет говорить дальше.

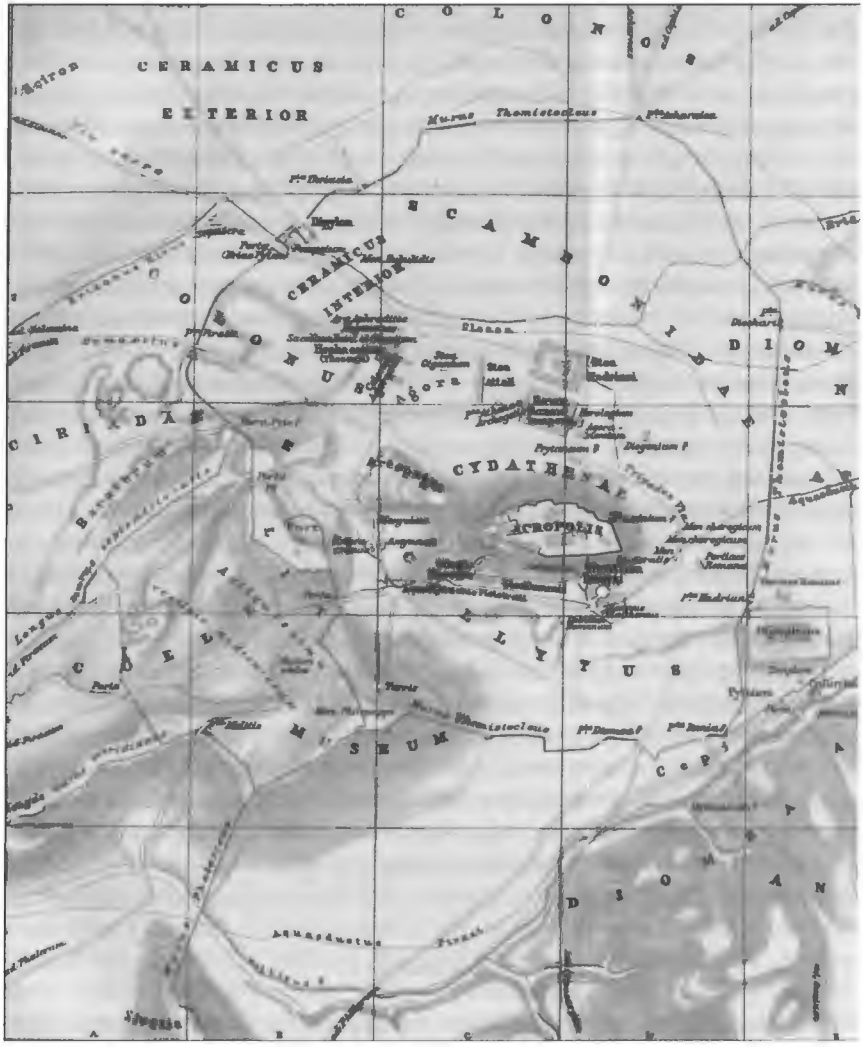
Тесная связь городов «нового времени» с морем, конечно, объясняется не прекращением пиратства, которое и в этот период, по-видимому, не утихало, а тем, что это были по преимуществу города, возникшие на чужой территории, в непосредственном соседстве с враждебным варварским миром. Море было для обитателей этих городов единственной дорогой, связывавшей их с покинутой родиной, единственным путем к спасению в случае усиления варварской угрозы (примером может служить судьба Фокеи).

Глава 8

Здесь развивается дальше мысль о широком распространении пиратства в древности.

οἱ νησιῶται

Неясно, входят в это понятие (а также в последующее οὗτοι) оба названные здесь народа или только одни карийцы. Раньше, в 4 гл., говорилось только о карийцах. Интересно, что из двух близких по смыслу глаголов (οἰκέω и οἰκίζω) Фукидид выбирает первый как политически более нейтральный: οἰκίζω — не просто «населять», но «населять организованно», «по плану», посредством основания колонии, а уже раньше было сказано, что первыми ойкистами на островах были сыновья Миноса.



Карта 8. Афины.

Μαρτύριον δέ...

Об обстоятельствах раскопок на Делосе Фукидид более подробно говорит в другом месте — III, 104 — речь идет о шестом годе войны (426 г. до н. э.).

Ничего определенного нельзя сказать ни об особенностях карийского вооружения, ни о присущем им способе захоронения покойников.

Акрополь. Пирей

Геродот в одном месте (I, 171), правда, говорит, что карийцы считались изобретателями трех вещей: гребня на шлеме, герба на щите и ручки для щита. Но все это было известно и грекам, начиная с древнейших времен, по крайней мере в послемикенскую эпоху. Так что остается неясным, по каким именно признакам можно было определить, кто лежит в могиле — кариец или грек. Схолиаст замечает

к этому месту, что финикийцы имели обыкновение хоронить своих покойников лицом на запад, тогда как все остальные — лицом на восток (ср. караимов), но непонятно, какое это имеет отношение к карийцам, если только не предположить, что для схолиаста оба эти народа — одно и то же.

Так или иначе, перед нами достаточно редкий пример археологических штудий античного историка, правда, возникли эти штудии не в результате сознательных и планомерных раскопок, а случайно. Еще об одном таком же случае упоминает Плутарх в биографии Солона (10): в споре афинян и мегарян из-за Саламина обе стороны упирали на то, что захоронения на острове сделаны по тому способу, который принят у них; а именно «мегаряне обращают тела умерших к востоку, а афиняне к западу» и, кроме того, «у каждого афинянина своя могила, а у мегарян по трое или по четверо лежат в одной».

В исторический период карийцы населяли в основном юго-западную часть Малой Азии между Лидией и Ликией. Их земли почти вплотную подходили к таким греческим городам, как Милет, Галикарнас, Книд. Среди них Галикарнас подвергся особенно сильному карийскому влиянию. В V–IV вв. им управляла карийская династия, представителями которой были Артемисия, участвовавшая в походе Ксеркса на Грецию, знаменитый Мавсол и его жена и сестра тоже Артемисия, воздвигшая Мавсолей, другая сестра Мавсола Ада, находившаяся в интимной связи с Александром Великим. Немало карийцев было и среди жителей Галикарнаса. Из карийской семьи, как мы уже говорили, по всей вероятности, происходил и Геродот. Некогда карийцы обитали на месте Милета. Об этом было известно уже Гомеру, который называет жителей этого города Κάρες βαρβαροφώνοι. Геродот (I, 146, 1) сообщает любопытный анекдот о карийских женах греков — основателей Милета. Чтобы отплатить своим мужьям за смерть отцов, братьев и детей, они отказались есть с ними за одним столом и называть их по имени.

Согласно Страбону (321), карийцы и родственный им народ лелегов некогда занимали все западное побережье Малой Азии вплоть до Троады, но затем были изгнаны оттуда греками.

Сохранились отрывочные, но достаточно правдоподобные указания на расселение карийцев не только по островам Эгеиды, но даже в некоторых местах на территории Европейской Греции. Страбон и Павсаний называют карийцами древнейшее население Самоса и Хиоса. Диодор упоминает карийцев и на Наксосе. По словам Аристотеля (у Страбона, 374), им принадлежали когда-то даже Эпидавр и Гермиона в Арголиде. Один из мегарских царей носил имя Кар (кариец), а акрополь этого

города назывался «Кария». Наконец, культ Зевса Карийского существовал в Беотии и в Аттике.

Что касается лелегов, которых некоторые античные авторы (Геродот) просто отождествляют с карийцами, другие же (Страбон) считают их ближайшими сородичами, то они, если верить нашим источникам, например Павсанию, сумели продвинуться еще дальше на запад. Им приписывалось даже основание Пилоса и Спарты, а согласно Аристотелю, они жили когда-то также в Акарнании, Локриде и Беотии. Все это звучит, конечно, достаточно странно. Возможно, названия «лелеги» и «карийцы» (подобно пеласгам) были для античных историков общим обозначением целого ряда варварских народов, составлявших древнейшее догреческое население Балканского полуострова и никакого отношения к позднейшим историческим карийцам не имевших.

Тем не менее в том, что когда-то карийцы занимали многие из островов Эгейского моря, сомневаться не приходится. Кроме Фукидида об этом достаточно ясно говорит и Геродот (I, 171). Заметим, что об отношениях карийцев с Миносом Геродот (сам кариец!) говорит совсем в иной тональности, нежели Фукидид. Он ни словом не упоминает об их пиратских предприятиях, изображая их верноподданными критского владыки. Карийцы, в его понимании, населяли и сам Крит и, таким образом, могут быть отождествлены с минойцами. Во всяком случае, виновниками их изгнания с островов был не Минос, а греки, и, следовательно, само это событие Геродот относит к другому времени.

К сожалению, археологически карийская культура изучена очень слабо. Никаких памятников архитектуры, произведений искусства, просто даже бытовой утвари, которую можно было бы связать с этим народом, пока что нигде обнаружить не удалось. Почти везде в тех местах, где по указаниям письменных источников могли обитать карийцы, их следы почти начисто стерты напластованиями греческой или еще более ранней крито-микенской культуры. Ничего обнадеживающего не принесло пока и изучение карийских надписей (в настоящее время известно их несколько десятков, причем происходят они в основном не из самой Карии, а из других стран, прежде всего из Египта). Вокруг проблемы карийского языка ведется сейчас ожесточенный спор между двумя партиями лингвистов, одну из которых возглавляет В. В. Шеворошкин, другую — Ю. В. Откупщиков. Домыслы Шеворошкина о связи карийского с хетто-лувийскими языками древнейшего населения Малой Азии и о его принадлежности к индоевропейской языковой семье представляются достаточно натянутыми. Таким образом, о происхождении

карийцев и их отношениях с другими древними народами Эгеиды пока что трудно сказать что-либо определенное[4].

Когда карийцы покинули острова основных Эгейских архипелагов? Едва ли это произошло так рано, как думает Фукидид, еще до Троянской войны, при Миносе. Вероятно, ближе к истине Геродот, который, по-видимому, связывает это событие с новой волной греческой колонизации в этом районе уже после так называемого дорийского завоевания в X–IX вв. до н. э. Однако и после этого карийцы, по-видимому, не все ушли с островов. Многие из них остались и, вероятно, постепенно были ассимилированы греками. На это указывают пережиточно встречающиеся кое-где карийские культы, карийские имена. Так, один из тиранов Наксоса, живший в VI в., современник Писистрата, носил карийское имя Лигдамид. Очевидно, еще и в это время грекам приходилось иметь дело с карийскими пиратами, которые могли базироваться частью на малоазиатском побережье, частью на островах. В качестве пиратов и наемников карийцы проникали даже в Египет. Здесь они, судя по всему, обосновались довольно прочно (сначала в дельте Нила, а потом и южнее, в Мемфисе) — на это указывают уже упоминавшиеся карийские надписи из этой страны (древнейшие из храма Рамзеса II в Абу-Симбеле относятся к 591 г., наиболее поздние к IV в.).

Что касается финикийцев, то многие факты указывают на их широкое проникновение в воды Эгейского моря, где они могли действовать и как купцы, и как пираты в одно и то же время. Ряд упоминаний о финикийцах находим у Гомера. Правда, в «Илиаде» сами они еще не появляются. Здесь говорится только о их изделиях (VI, 289 слл.; XXIII, 741–45 — чаша сидонской работы). В «Одиссее» уже обнаруживается хорошее знакомство поэта с нравами и обычаями этого народа. Финикийцы выступают здесь как коварные обманщики, пираты и работорговцы, которым ничего не стоит провести простодушного грека (XIII, 272 слл.; XIV, 288 слл.; XV, 415 слл.), — древнейшее проявление варварофобии в греческой литературе, что говорит уже о достаточно тесных контактах между двумя народами.

В разных местах на территории Греции, в особенности в островной зоне встречаются топонимики, образованные от слова Φοῖνιξ, в чем можно видеть отголосок пребывания в этих местах финикийцев, указание на то, что некогда здесь были их торговые фактории или какие-то другие поселения. Правда, некоторые ученые связывают названия такого рода не с финикийцами, а с финиковыми пальмами, хотя это и не очень убе-

[4] *Откупщиков Ю. В.* Догреческий субстрат. У истоков европейской цивилизации. Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. Гл. VI.

дительно. Кое-где обнаруживаются следы финикийских культов. Так, коринфский культ героя Меликерта выводится обычно из культа финикийского Геракла-Мелькарта. В том же Коринфе уже в архаический период существовал храм Афродиты, славившийся своими гиеродулами, в чем явно проглядывает восточный, в том числе и финикийский, обычай храмовой проституции. Сама греческая Афродита имеет явные черты сходства с финикийской богиней любви Аштарот-Астартой.

Богами финикийского происхождения были, по всей вероятности, так называемые кабиры — покровители моряков, которым поклонялись на о. Самофракия и в некоторых других местах. Герои финикийского происхождения фигурируют в греческих мифах, например Кадм, основатель беотийских Фив, которому в древности приписывалось изобретение письма — так называемый финикей. Кадм, если верить мифу, был братом Европы и, следовательно, дядей Миноса. Не следует ли отсюда, что Минос был финикийцем?

Наконец, в источниках есть и прямые указания на финикийские поселения в Греции. Особенно много таких свидетельств у Геродота. Финикийцы жили, по его словам, на Фасосе (II, 44; VI, 47 — золотые рудники), на Фере (IV, 147), на Кифере (II, 49) и в Фивах (V, 57–58). Согласно Диодору, финикийцы вместе с Кадмом обосновались на Родосе. Они соорудили здесь храм Посейдона. Жрецы этого храма и позднее, после заселения острова греками, вели свое происхождение от этих древних финикийцев.

Возникает вопрос: к какому времени можно отнести все эти данные, свидетельствующие о финикийской экспансии в Эгеиде? Крито-микенская эпоха едва ли подойдет. Начиная по крайней мере с XVI в., мореплавание на Эгейском море было монополизировано сначала минойцами, а затем микенскими ахейцами. Проникновение в этот район какой-то третьей силы, будь то финикийцы или какой-нибудь другой восточный народ, в это время представляется маловероятным. Хотя контакты между крито-микенским миром и странами Переднего Востока, в том числе городами сиро-финикийского побережья (Угарит, Алалах), несомненно развивались, активную роль в них играли, судя по всему, обитатели Эгеиды, а не их восточные партнеры (находки больших количеств микенской керамики в Сирии и Египте).

Таким образом, утверждение Фукидида о борьбе Миноса с финикийскими пиратами можно считать лишенным сколько-нибудь серьезной исторической ценности.

После крушения микенской цивилизации контакты Греции с Востоком на долгое время прерываются. На рубеже XIII–XII вв. финикийские города серьезно пострадали от так называемого нашествия народов

моря. На протяжении всего XII в. обстановка в стране оставалась крайне неустойчивой и не благоприятствовала развитию торговли. Ситуация изменилась в лучшую сторону только к началу XI в. В это время, очевидно, прекратились передвижения варварских племен через сирофиникийское побережье. Важнейшие державы II тыс. до н. э. (Египет, Вавилонское царство, Ассирия, Хеттское царство), которые до этого сдерживали рост финикийских городов, теперь или вообще перестали существовать (как Хеттское царство), или же были сильно ослаблены и не могли активно вмешиваться во внутренние дела Финикии. Именно в этот период финикийцы начали понемногу осваивать сначала Восточное, а затем и Западное Средиземноморье. Однако Греция, по-видимому, долгое время оставалась в стороне от их морских путей. Очевидно, страна эта не имела в то время для финикийцев особой привлекательности: здесь не было ни богатых природных ресурсов, ни процветающих государств, в которых могли бы найти широкий сбыт изделия восточных ремесленников, которые финикийские корабли развозили по всему свету. Вплоть до начала VIII в. Греция находилась в состоянии экономической депрессии. Население ее резко сократилось по сравнению с микенской эпохой. Отсутствовали сколько-нибудь значительные торговые и ремесленные центры. Все это, по-видимому, отпугивало финикийцев, и долгое время их продвижение в эту сторону ограничивалось Кипром. Лишь в конце IX в. в греческих некрополях появляются первые, пока еще очень редкие вещи восточного происхождения, из чего следует, что финикийцы в это время начали понемногу проникать в воды Эгейского моря. В VIII в. их становится уже гораздо больше, особенно в таких районах, как Крит, Родос, Киклады, Аттика, Арголида. В основном это предметы роскоши. Так, в одной только могиле знатной женщины из Элевсина (вторая пол. VIII в.) было обнаружено ожерелье из египетского фаянса, брошка из слоновой кости, несколько скарабеев и египетская статуэтка Изиды (могила Изиды). О подобных безделушках (ἀθύρματα) как о главной статье финикийского импорта в Грецию говорит и Гомер (Od. XV, 416). Само греческое искусство начиная со второй пол. VIII в. попадает под сильнейшее восточное влияние, и в конце этого столетия господствовавший до сих пор геометрический стиль в вазовой живописи и других отраслях прикладного искусства сменяется так называемым ориентализирующим (*ил. 28.1–4*). В это же время в Греции начинает распространяться письменность, как теперь это общепризнано, созданная на базе финикийского алфавита.

Таким образом, VIII, может быть, еще конец IX в. следует признать наиболее вероятным временем проникновения финикийцев в Эгейский бассейн. Какой характер носило это проникновение? Едва ли это была

Ил. 28.1–4. Ориентализирующий стиль:
1 — кикладская ойнохоя с Эгины. Лондон. Британский музей

Ил. 28.2 — Аполлон и музы. Деталь мелосской амфоры. Афины. Национальный музей

Ил. 28.3 — Артемида. Фрагмент амфоры с Мелоса.
Берлин. Государственные музеи. Античное собрание

Ил. 28.4 — кносский полихромный пифос.
Ираклион. Археологический музей

настоящая колонизация, хотя еще недавно многие историки и археологи придерживались именно такой точки зрения. Скорее всего финикийцы в большинстве случаев ограничивались лишь устройством корабельных стоянок или торговых факторий. При некоторых из них могли быть небольшие святилища (отсюда следы финикийских культов в Греции). Для более прочного обоснования на берегах Эгеиды у финикийцев не было, по всей видимости, ни сколько-нибудь серьезных стимулов, ни реальных возможностей. Не следует забывать о том, что греки не перенимали пассивно те блага, которые завозили к ним гости с Востока, как

это делали, скажем, варварские племена где-нибудь в Северной Африке или Испании. Греческая экономика и культура в этот период переживает полосу бурного подъема. Греки сами начинают активно заниматься мореплаванием и торговлей. Уже в середине VIII в., если не раньше, возникают первые эллинские поселения на сиро-финикийском побережье (крупнейшее из них Аль Мина — Посидейон в устье Оронта). В этих условиях финикийцам было, конечно, достаточно трудно удержать свои опорные пункты в Эгеиде, и, вероятно, уже в начале VII в. они были совершенно вытеснены оттуда.

Весь этот пассаж — совмещение в одной хронологической плоскости карийско-финикийского пиратства на Эгейском море, которое может быть отнесено только к послемикенской эпохе (не ранее X–IX вв. до н. э.), и талассократии Миноса, которого сам Фукидид помещает в период, предшествующий Троянской войне, — свидетельствует о крайней неясности его представлений о древнейшем прошлом Эгеиды. И в этом нет ничего удивительного. При отсутствии надежной письменной традиции, располагая лишь крайне запутанным и противоречивым материалом устных преданий по преимуществу мифологического характера, историк неизбежно должен был на каждом шагу совершать грубейшие хронологические ошибки.

καταστάντος δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ etc.

В этих строках Минос снова предстает перед нами как благодетель рода человеческого, поборник прогресса и цивилизации. Очистив море от пиратов и заселив острова своими колонистами, он впервые сделал возможным нормальное мореплавание в этом районе, а это в свою очередь привело к росту богатства в отдельных городах и их усилению. Здесь снова возникает уже и раньше встречавшаяся у Фукидида мысль о взаимозависимости материального благосостояния и военного могущества: стены строят те города, которые имеют для этого необходимые средства. Все это рассуждение носит скорее всего чисто умозрительный характер. Едва ли Фукидид имел конкретное представление о тех городах, которые существовали в Греции и на островах, в пору морского могущества Крита, хотя некоторые из них действительно имели оборонительные стены, например город Филакопи на Мелосе. Вероятно, он просто переносит здесь на отдаленные мифические времена то, что было ему известно о развитии греческих городов в более близкую к нему архаическую эпоху.

ἐφιέμενοι γὰρ τῶν κερδῶν...

Интересна ярко выраженная здесь мысль об обоюдной заинтересованности сильных и слабых общин в политическом и военном гегемонизме, в создании больших и сильных держав, объединяющих под своей властью множество городов, разбросанных на большой территории. Эта

своеобразная гармония интересов основана, очевидно, на том, что слабые общины не способны сами обезопасить себя от враждебного внешнего мира, равно как и обеспечить свои экономические выгоды (например, защитить свою территорию от пиратов) и поэтому готовы отдаться под покровительство какого-нибудь сильного полиса (добровольно выносить рабскую зависимость от него), в то же время более сильные государства стремятся к тому, чтобы объединить под своей властью возможно бóльшее число зависимых от них мелких общин, чтобы получать от них дань и таким образом еще бóльше увеличивать свое могущество. Эта мысль об экономической и политической оправданности империализма, его взаимовыгодности как для господствующих, так и для подчиненных весьма характерна для взглядов Фукидида и неоднократно встречается в его «Истории».

Слово μᾶλλον в последнем предложении этой главы вносит известное ограничение во все сказанное выше: развитие мореплавания, торговли и, как следствие, рост богатства и военного могущества отдельных государств уже начались в это время, но еще далеко не достигли своей высшей точки. Тем самым читатель подготавливается к тому, что будет рассказано в следующей главе о дальнейшем, но все еще не доведенном до конца развитии великодержавных тенденций в период Троянской войны (*карта 9*).

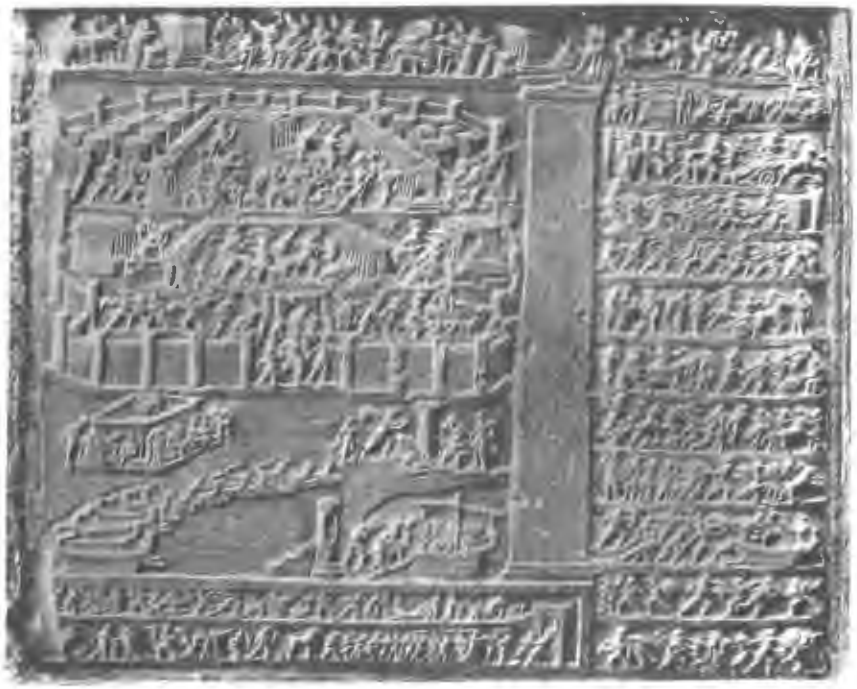
Глава 9

Целых три главы, причем очень больших по объему, Фукидид посвящает Троянской войне (*ил. 29*), из чего следует, что это событие его весьма интересовало, по-видимому, гораздо больше, чем греко-персидские войны, на которых он лишь кратко задерживается в 18 главе. Чем это объяснить? Вероятно, тем, что в Микенской державе Агамемнона, силами которой был предпринят поход на Трою, Фукидид видел прообраз афинской архэ — первое в истории Греции государство, в рамках которого была объединена бóльшая часть эллинского мира (в период персидских войн такой державы в Греции еще не было).

Для нас эта часть «Археологии» особенно интересна тем, что историк опирается здесь в основном на хорошо известный нам источник — «Илиаду» Гомера, что дает возможность глубже вникнуть в существо его исторического метода.

Что известно в настоящее время о самой Троянской войне? Как вы знаете, в истории нашей науки был период, когда вопрос об исторической основе этого мифа был вообще снят с повестки дня, поскольку все содержание «Илиады» было признано чистой воды вымыслом,

Карта 9. Троада



Ил. 29. Мраморная таблица (Tabula Iliaca).

не заслуживающим никакого доверия. Еще в 1797 г. в Англии вышла книга некоего Як. Брайена с весьма симптоматичным названием «Сочинение о Троянской войне и о походе греков, описанном у Гомера, доказывающее, что никогда такого похода не было и что никогда такого города в Фригии не существовало».

Позднее, уже в 40-х годах XIX в., крупнейший английский историк Грот писал в своей капитальной «Истории Греции»: «Нас могут спросить, не содержится ли в этой легенде что-либо историческое, то есть не происходила ли у подножия троянского холма война между людьми, между государствами, без богов, без героев, без бессмертных коней, без амазонок, без эфиопов под предводительством сына Зари, без деревянного коня? В ответ на это придется сказать, что такая война, конечно, могла быть, но так же вероятно, что никакой такой войны не было. Никаких достоверных рассказов об этом нет, а верить сказкам нелепо».

Поворот в сторону доверия к мифу начался лишь после эпохальных открытий Шлимана на холме Гиссарлык. Однако неверно было бы думать, что раскопки Шлимана раз и навсегда «закрыли» проблему Троян-

Битва за Трою и рисунок ее части

ской войны, покончив со всякими сомнениями и неясностями насчет историчности этого события. Наоборот, появились новые проблемы и новые неясности. И теперь их стало гораздо больше.

Во-первых, с самого начала раскопок в Трое возникла весьма серьезная проблема датировки разыгравшихся здесь когда-то событий. Как известно, Шлиман и его последователи вскрыли в недрах Гиссарлыка 9 разновременных археологических слоев, последовательно сменявших друг друга и соответствовавших 9 поселениям, существовавшим на этом месте в промежутке с 3000 г. до н. э. по II в. н. э. Если оставить в стороне эллинистическо-римский Илион (Троя IX) и предшествующий ему греческий городок (Троя VIII), остается семь поселений, существовавших в III–II тыс. до н. э. Как известно, сам Шлиман признал гомеровской Троей Трою II, промахнувшись более чем на тысячу лет, так как последующие раскопки установили, что Троя II была построена еще в середине III тыс., т. е. в эпоху энеолита, задолго до зарождения микенской цивилизации в Балканской Греции. В. Дёрпфельд, производивший раскопки в Трое после Шлимана, в 90-х гг. XIX века, пришел к выводу, что

Ил. 30. Реконструкция Трои VI

гомеровской Троей была Троя VI — самое большое из всех семи поселений, окруженное высокими (до 9 м) и толстыми (до 4,5 м) стенами (*ил. 30, 31*). Это поселение существовало с 1900 по 1300 г. до н. э., что, в общем-то, тоже плохо соответствует традиционной датировке Троянской войны (конец XIII или начало XII в). Кроме того, в Трое VI не удалось обнаружить следов пожара, что могло бы указывать на ее гибель в результате вражеского нападения. Судя по всему, это поселение погибло во время сильного землетрясения (при раскопках было найдено много камней, упавших со стен и домов).

Поэтому американский археолог К. Блеген, работавший в Трое уже в 30-х гг. прошлого века и составивший самый полный и точный стратиграфический разрез троянского городища, снова пересмотрел этот вопрос и пришел к выводу, что гомеровской Троей могла быть только Троя VIIa, существовавшая около 50 лет (с 1300 по 1250 г.).

Это поселение подверглось нападению и было сожжено (найдены костяки, лежавшие прямо на улицах, в домах и в городских воротах). Город перед этим выдержал длительную осаду. Это видно из того, что почти в каждом доме Трои VIIa в пол были врыты большие сосуды для хранения припасов. В древности существовало несколько разных дати-

Ил. 31. Троя VI. Восточные ворота

ровок Троянской войны: Эратосфен — 1184 г. до н. э.; Паросская хроника — 1209 г. до н. э., но самый ранний из наших источников Геродот дает 1250 г., и эта дата удивительно совпадает с теми результатами, которые были получены Блегеном. Кроме того, середина XIII в. — наиболее подходящее время для такой войны, если она действительно имела место, ибо как раз в это время микенская цивилизация в Европейской Греции достигла своего зенита, торговая и военная экспансия микенских государств распространилась далеко на восток, захватив побережье Малой Азии, Сирию, Кипр и даже Египет. Только в это время и могло быть организовано такое грандиозное предприятие, как поход на Трою. Позднее, когда микенский мир начал уже клониться к упадку, это едва ли было возможно. Итак, все сошлось, и Блеген, казалось бы, мог с полным правом написать в первой главе своей книги «Троя и троянцы»: «Больше не может быть никаких сомнений в том, что действительно происходила исторически реальная Троянская война, в которой коалиция ахейцев или микенян под предводительством царя, главенство которого было признано всеми остальными, сражалась с троянцами и их союзниками».

Споры вокруг проблемы Троянской войны не улеглись, однако, и после раскопок Блегена, когда, казалось бы, все наконец встало на свои

места. Не вдаваясь в детальное рассмотрение всех существующих в настоящее время точек зрения на эту проблему, упомяну только об одной интересной дискуссии, разгоревшейся в 1964 г. на страницах английского журнала «Journal of Hellenic Studies» под общей рубрикой «Троянская война». В дискуссии приняли участие известные английские античники: Финли, Кэски, Кирк и Пейдж. Первый из них с самого начала занял откровенно скептическую позицию, заявив, что археологический материал, добытый в Трое Блегеном и другими археологами, не заключает в себе ничего такого, что прямо указывало бы на виновника катастрофы, постигшей Трою VIIa (*ил. 32, 33*). «Мы знаем лишь, — пишет Финли, — что это поселение было разрушено какими-то людьми. Однако у нас нет ни малейшего основания для того, чтобы говорить о том, что

Ил. 32. Стена Трои VII, возведенная на старой стене

Ил. 33. Руины Трои VII. Современное фото

это сделала коалиция ахейских царей под верховным предводительством одного из них — правителя Микен». «Все сходятся в том, — продолжает он дальше, — что "Илиада" такая, какой мы ее знаем, полна преувеличений, искажений, чистых вымыслов и вопиющих противоречий. Но каким образом можем мы определить, что А есть фикция, а В таковой не является (хотя подлинный факт в нем может быть преувеличен или искажен)». Далее Финли вполне резонно указывает на крайнюю ненадежность героической поэзии, используемой в качестве исторического источника, и на конкретных примерах показывает, каким причудливым искажениям подвергаются реальные исторические факты, попав в орбиту притяжения героического эпоса. Немногочисленные исторические факты перемешаны с таким количеством фантазии и вымысла и находятся в столь невозможных сочетаниях друг с другом, что едва ли у какого-нибудь здравомыслящего человека возникнет мысль о том, чтобы использовать эти произведения в качестве исторического источника.

Сравнивая «Илиаду» с «Песнью о Роланде», «Песнью о Нибелунгах» и другими аналогичными образцами героического эпоса, мы можем составить себе приблизительное представление о тех удивительных метаморфозах, которые могла претерпеть подлинная Троянская война, став сюжетом устных поэтических сказаний и переходя на протяжении ряда веков от одного сказителя к другому до тех пор, пока ею не заинтересовался создатель нашей «Илиады» (*ил. 34, 35*).

Ил. 34. Рельефный пифос со сценами Троянской войны. Миконос. Музей

Ил. 35. Изображение Троянского коня на горле рельефного пифоса

Опираясь на аналогии, взятые из сравнительно-исторического анализа других памятников эпической поэзии, мы вполне можем допустить, например, что Троя была разрушена вовсе не греками под предводительством Агамемнона, а каким-нибудь другим народом. Именно так и поступает Финли. Прежде всего он сильно снижает датировку гибели Трои VIIa, приближая ее к дате, которой уже в древности придерживался Эратосфен — около 1184 г. до н. э. Основанием для такой передвижки служит то, что микенская керамика, найденная в развалинах домов Трои VIIa, по своему типу стоит ближе всего к тем ее образцам, найденным в самой Греции, которые датируются рубежом XIII–XII вв. до н. э. (конец позднеэлладского — ПЭ IIIB периода). Если это действительно так и Троя VIIa погибла где-то в конце XIII или начале XII в., тогда гипотеза о Панахейской коалиции, взявшей и разрушившей цитадель около этого времени, оказывается далеко не лучшим решением вопроса из числа возможных, ибо как раз в это время над самой Ахейской Грецией нависла смертельная опасность. Ее дворцы и цитадели, например Пилос, Микены, Тиринф, гибли и разрушались в пламени пожаров, вся страна подвергалась страшным опустошениям. Ясно, что в такой обстановке царям Микен было уже не до походов в Малую Азию. Приходилось подумать о собственной безопасности. Но кто же, в таком случае, разрушил Трою? Финли, да и не только он один, думает, что это вполне могло сделать одно из многочисленных варварских племен, участвовавших в грандиозном переселении народов, которое как раз в это время (рубеж XIII–XII вв.) охватило Малую Азию и Балканский полуостров, а затем распространилось также на Сирию и Египет, другим своим крылом задев Италию и Сицилию. Это переселение произвело страшное опустошение в тех странах, которые стали его ареной. Под натиском северных варваров пало Хеттское царство, серьезно пострадали многие города сиро-финикийского побережья. Лишь Египет сумел дать отпор этим загадочным племенам, которых в литературе принято называть «народами моря». В этом широком историческом контексте гибель троянской цитадели находит вполне убедительное объяснение, и, таким образом, ахейская гипотеза, казавшаяся раньше единственно возможной, теперь становится совсем не обязательной. Но как в этом случае объяснить тот факт, что именно борьба за Трою стала тем стержнем, вокруг которого сформировался сюжет греческого национального эпоса, каким по праву может считаться «Илиада»? Финли следующим образом выходит из этого затруднения. В походе на Трою наряду с неизвестными нам поименно варварскими племенами могли принимать участие и отдельные ахейские дружины, которых в то смутное время немало блуждало и по Эгеиде, и за ее пределами, по всему Восточному Средиземноморью.

По крайней мере в перечне «народов моря» в египетском храме Мединет-Абу упоминаются племена данауна и ахайваша, что очень напоминает гомеровских данайцев и ахейцев. Впоследствии, как думает Финли, произошло смещение исторической перспективы и ахейские добытчики, затесавшиеся в орду, штурмовавшую Трою, выдвинулись на первый план и стали главными героями всей этой эпопеи, причем их образы слились с образами древних микенских царей. Это объяснение не кажется особенно убедительным. Но возможны и другие.

Самое простое, что мы можем сделать, это предположить, что греческе колонисты, обосновавшиеся в Троаде в IX или VIII в. до н. э., еще могли видеть на поверхности земли величественные развалины древнего Илиона. Местные жители могли поведать им о разыгравшейся здесь некогда трагедии. И греки переделали этот рассказ на свой лад, ввели в него новых действующих лиц — своих любимых героев вроде Ахилла или Аякса, и таким образом создали свою версию истории Троянской войны, которая могла отличаться от первоначальной ее версии так же сильно, как небо от земли.

В своих возражениях Финли другие участники этой дискуссии (Кэски, Кирк и Пейдж) удачно парируют лишь некоторые частные его соображения. Основной же аргумент, выдвинутый в его статье, — ссылка на крайнюю ненадежность эпической поэзии в качестве средства передачи исторической информации — остается практически неопровергнутым. Вопрос о Троянской войне, таким образом, снова повисает в воздухе. Единственное, что можно сейчас сказать по этому поводу, это то, что Троя VIIa погибла приблизительно в конце XIII в., что причиной ее гибели было скорее всего вражеское нападение и что слухи о трагическом конце этого поселения каким-то образом проникли в греческую поэтическую традицию, из которой много веков спустя они перешли в гомеровскую «Илиаду». Но что именно произошло в Трое, кто были те люди, которые разрушили ее, какими целями они руководились, этого мы пока что не знаем и едва ли когда-нибудь сможем узнать[5].

Возвращаясь опять к Фукидиду, мы сразу же можем заметить, что мучительные сомнения и колебания, терзающие современных ученых при решении этой проблемы, ему, очевидно, не были знакомы. Он нигде даже не ставит вопрос об исторической достоверности своего основного источника — «Илиады» и, очевидно, принимает за подлинные исторические факты многие свидетельства Гомера, хотя и старается дать им

[5] См.: *Андреев Ю. В.* История и миф в предании о Троянской войне // Андреев Ю. В. В ожидании «греческого чуда». Из записных книжек. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 280–310.

свою интерпретацию. Все это лишний раз свидетельствует о несовершенстве исторического метода Фукидида, о той огромной дистанции, которая отделяет его — величайшего из историков древности — от современной исторической науки.

Ἀγαμέμνων τέ μοι δοκεῖ...

Фукидид не оспаривает сам факт клятвы женихов Елены ее отцу Тиндарею — явно позднее и искусственное объяснение причин, заставивших всех греков объединиться для похода на Трою, придуманное, по всей вероятности, каким-нибудь логографом вроде Акусилая или Ферекида, — но осторожно отодвигает его на задний план словами οὐ τοσοῦτον, выдвигая вперед совершенно иной мотив политического характера — могущество Агамемнона, с помощью которого он заставил всех других греческих царей подчиниться своей воле. В этом еще раз сказывается характерное отличие метода Фукидида от методов других греческих историков, включая Геродота: они ищут во всем, что происходит, чисто личные (человеческие) мотивы; Фукидид в отличие от них мыслит политически.

Λέγουσι δὲ καὶ οἱ τὰ σαφέστατα...

Фукидид имеет в виду каких-то своих осведомителей из числа пелопоннесцев, причем не обязательно профессиональных историков. Слова μνήμῃ и παρὰ τῶν πρότερον указывают скорее на устную, чем на письменную традицию, возможно, еще сохранявшуюся во времена Фукидида в аристократических семьях Аргоса и других городов Пелопоннеса. Фукидид, таким образом, мог предпринять какие-то самостоятельные поиски исторических фактов как фольклорист в противовес уже существовавшим в то время версиям мифов в сочинениях Гелланика и других логографов.

Πέλοπά τε πρῶτον πλήθει χρημάτων...

Согласно мифу, Пелоп — уроженец Малой Азии (в одних вариантах — лидиец, в других пафлагонец или фригиец), сын Тантала, убитый своим собственным отцом и чудесным образом спасенный богами. Возмужав, приехал из Азии в Грецию, в Пису (близ Олимпии). Здесь добился руки дочери местного царя Эномая — Гипподамии и вместе с ней также царской власти. Каким-то образом стал царем всего Пелопоннеса, который после этого стал называться по его имени, тогда как раньше назывался Пеласгиотидой или Аписом. Предание это находится в явном противоречии с другими мифами, согласно которым почти в каждом районе Пелопоннеса были свои царские династии, которые правили самостоятельно и не зависели от Пелопа. Так, в Микенах и Тиринфе власть принадлежала потомкам Персея Электриону и Сфенелу. В Спарте правил уже известный нам Тиндарей, а еще раньше его отец Ойбал,

в Пилосе — Нелей и т. д. Поэтому Пелоп не мог передать своим сыновьям — Атрею и Фиесту власть над Пелопоннесом. Им пришлось самим завоевывать ее. Каким образом Атрей стал царем Микен? Показания традиции на этот счет довольно запутаны и противоречивы. Согласно наиболее распространенному в древности варианту мифа, которому, очевидно, следует и Фукидид, Атрей и Фиест вынуждены были бежать из Писы, спасаясь от гнева Пелопа, после того как они по наущению своей матери Гипподамии убили своего сводного брата Хрисиппа (сына Пелопа от одной нимфы). Атрей после этого оказался в Микенах и был здесь принят внуком Персея и сыном Сфенела Еврисфеем, которому он приходился дядей по матери (мать Еврисфея Никиппа была дочерью Пелопа). О дальнейшем рассказывает Фукидид, хотя и очень сжато, ограничиваясь полунамеками, на, очевидно, и без того известные читателю события: Еврисфей идет походом на Афины, чтобы выбить оттуда засевших там Гераклидов (Геродот сообщает, что сыновья Геракла после смерти своего отца были изгнаны из Микен Еврисфеем или сами бежали и долго скитались по Греции, нигде не находя приюта, пока наконец не были приняты афинянами). В сражении с Гераклидами, которым помогали афиняне, Еврисфей был убит, по одной версии, Гиллом, по другой — Иолаем. В его отсутствие правителем Микен и других городов, входивших в царство Еврисфея, стал Атрей, от которого царская власть перешла затем к Агамемнону.

Фукидид пересказывает всю эту историю, с завидной легкостью обходя все рифы и мели, заключенные в предании, причем по своему обыкновению модернизирует мифы, переводя их из плоскости чудесного, сказки в плоскость обычной политики. Так, возвышение Пелопа объясняется его богатством, а вовсе не его отвагой и хитростью, проявленными в борьбе за руку Гипподамии. Он прибывает в Грецию — «страну бедных людей», по мнению Фукидида, из Азии, страны сказочных богатств, как некий индийкий гость. Фукидид, таким образом, как бы приземляет миф, приближает его к житейской прозе, в которой успеха добиваются обычно не самые смелые и ловкие, а самые богатые. Кроме того, это дает ему возможность еще раз напомнить читателю свою излюбленную мысль о тесной связи богатства с политическим могуществом. Точно так же осовременивается и карьера сына Пелопа Атрея. Он добивается власти над Микенами не просто потому, что Еврисфей, отправляясь на войну, сделал его своим заместителем и наследником, а потому что обстановка в государстве была критической (микенцы ожидали нападения Гераклидов), а Атрей казался им человеком могущественным и, кроме того, как ловкий демагог, сумел «очаровать народ» и расположить его к себе. Все это очень напоминает карьеру какого-нибудь тирана, скажем, Дионисия Старшего,

а Фукидид, несомненно, знал много примеров такого рода возвышения государственных деятелей и, очевидно, сознательно использовал их в своем анализе мифологической традиции.

Современные историки подходят к мифам о древних царских династиях Пелопоннеса, разумеется, уже с гораздо бóльшей осторожностью, без той грубоватой прямолинейности, которая отличает приемы Фукидида. Они понимают, что подлинные исторические факты могли отразиться в мифах лишь в многократном преломлении, утратив многое из своего первоначального облика и приобретя новые черты, которых раньше у них не было, что авторы мифов не заботились ни о точной хронологии, ни о строгой согласованности отдельных событий между собой. Имея в виду все это, предпринимаются попытки вылущить из каждого мифа его историческое зерно. В качестве вспомогательных инструментов используются данные археологии, диалектологии, топонимики, ономастики, исторической этнографии и т. д.

Нужно сказать, что, несмотря на весь этот арсенал современных научных средств, о которых Фукидид не имел, конечно, никакого представления, ученым XX в. не удалось продвинуться особенно далеко в этом направлении. И ничем, кроме нескольких десятков более или менее правдоподобных гипотез, мы пока не располагаем. Политическая история Ахейской Греции пока не написана и вряд ли когда-нибудь будет написана. Загадкой остается прежде всего возникновение микенской цивилизации (ср. Блаватская) и ее основных центров на Пелопоннесе и в других местах. Хотя существует несомненная преемственная связь между микенской культурой, возникшей в конце XVII–XVI вв. до н. э., и более ранней так называемой среднеэлладской культурой, появление первых значительных памятников микенской цивилизации — знаменитых шахтовых могил — воспринимается историками как какая-то неожиданность, сюрприз, не вытекающий прямо и непосредственно из предшествующего развития. Для объяснения этого феномена обращаются к идее иностранного вмешательства, ориентируясь на прямые указания мифов, согласно которым основателями чуть ли не всех царских династий героического века были чужеземцы, в основном выходцы из Азии: Данай, Кадм, Пелоп и другие. Так, в мифе о Пелопе видят отголосок контактов, существовавших в микенскую эпоху между Балканской Грецией и Малой Азией (Анатолией), а также Сирией. По мнению Сп. Маринатоса, Шахермайра и некоторых других археологов, в XVII–XVI вв. в Грецию проникли с Востока воинственные пришельцы, сражавшиеся на боевых колесницах и сумевшие, несмотря на свою малочисленность, подчинить своей власти местное население. Предводители отдельных дружин этих лихих наездников укрепились

в стратегически наиболее удобных пунктах на территории Пелопоннеса, например в Микенах и Тиринфе, и основали там свои разбойничьи гнезда. По происхождению эти люди были, как думает, например, Маринатос, арийцами (индоевропейцами), хотя среди них могли быть и отдельные семиты. Шахермайр думает, что это были гиксосы или выходцы из Митанни (Mitanni-Staat). Гипотеза эта кажется довольно соблазнительной, но пока что не получила никакого конкретного подкрепления в данных раскопок и поэтому не может быть принята безоговорочно.

В мифах говорится о двух царских династиях — Персеидах и Пелопидах, поочередно управлявших Арголидой, имея главную свою резиденцию в Микенах. Историки пытаются согласовать с этой схемой имеющийся археологический материал, предлагая все новые и новые комбинации. Так, одни думают, что периоду правления Персеидов соответствуют микенские шахтовые могилы (XVI в.), а Пелопиды, пришедшие к власти в XV в., начали хоронить своих покойников в более сложных толосных или купальных гробницах. Когда был открыт второй круг шахтовых могил (круг *Б*), немедленно родилась теория, что это было кладбище более древней династии Персеидов, а Пелопидам принадлежал ранее открытый круг шахтовых могил (круг *А*) в самой микенской цитадели (*ил. 36*). Наконец, существует мнение, согласно которому Персеидам принадлежала тиринфская цитадель (судя по данным раскопок, более древняя), а Пелопидам Микены (*ил. 37*). Каждая из этих гипотез имеет право на существование, но ни одна из них не может быть доказана как дважды два четыре, а пока что взаимоотношения между Пелопидами и Персеидами остаются весьма и весьма неясными, да и сам факт исторического существования этих двух династий никем еще не доказан по-настоящему.

ἅ μοι δοκεῖ Ἀγαμέμνων...

Фукидид снова возвращается к мысли, высказанной в начале главы: главной предпосылкой троянского похода было военное могущество микенского царя, который сумел поставить в зависимость от себя чуть ли не всех других греческих царей. В связи с этим Фукидид вступает в скрытую полемику с Гомером — своим главным источником, у которого несколько раз повторяется мысль, что другие ахейцы явились под Трою, чтобы угодить Агамемнону, оказать ему честь (как Ахилл: «чести ища Менелаю, тебе, человек псообразный» — Il. I, 159 — *ил. 38*), причем сделали это добровольно, а некоторых, как, например, Одиссея, пришлось даже уговаривать. Фукидид решительно отвергает этот вариант, утверждая, что другие ахейские герои присоединились к Агамемнону не из угождения, а из страха (οὐ χάριτι τὸ πλεῖον ἢ φόβῳ).

Ил. 36. Раскопки Шлимана шахтовых могил (круг *А*) Микенской цитадели.
На переднем плане — Софья Шлиман. Фото

Ил. 37. Галерея Тиринфской цитадели

Ил. 38. Золотая маска ахейского правителя («Маска Агамемнона»)

Φαίνεται γὰρ ναυσί τε...

Имеется в виду то место в «Каталоге кораблей» «Илиады» (II, 576 слл. и 612 слл.), где говорится, что Агамемнон привел с собой под Трою сто кораблей (самый большой из всех греческих флотов) и еще 60 кораблей предоставил аркадянам, так как у них не было своих судов.

εἴ τῳ ἱκανὸς τεκμηριῶσαι...

Это не единственное скептическое высказывание в адрес Гомера у Фукидида. Встречаются и другие, еще более резкие. Так, в речи Перикла (II, 41, 4): «Нам нет никакой нужды ни в панегиристе Гомере, ни в ком другом, доставляющем минутное наслаждение своими песнями в то время, как истина, основанная на фактах, разрушит вызванное этими песнями представление». Высказывания такого рода странно не гармонируют с ясно выраженной в «Археологии» тенденцией к некритиче-

скому, без всяких оговорок использованию свидетельств Гомера и других древних поэтов. Можно объяснить это так, как делает, например, Классен, что Фукидид, признавая в целом авторитет Гомера как важного источника исторических сведений, мог сомневаться в отдельных (не самых главных) его свидетельствах, например в том, что Агамемнон дал 60 кораблей аркадянам, или же в том, что древнейшим населением Сицилии были циклопы и лестригоны. Едва ли, однако, все обстоит так просто, как думает Классен. Цитированное выше высказывание о Гомере в речи Перикла звучит достаточно категорично. Фукидид четко разграничивает здесь песни, с одной стороны, и факты, с другой. Можно думать, что Гомер, да и вообще вся греческая мифология, в глубине души не внушали Фукидиду особенного доверия. Как человек сугубо прагматического склада ума он должен был с пренебрежением относиться ко всей этой болтовне. В то же время он не мог вполне исключить ту возможность, что в мифах и у Гомера хотя бы в превратной, искаженной форме отразились какие-то подлинные факты. Сам Фукидид не имел особой охоты разбираться в том, где древние поэты говорят правду, а где они сочиняют, так как его собственные интересы лежали совсем в другой сфере — сфере современной (новейшей) истории, да, очевидно, и понимал, что это не всегда возможно. Но так как ему был нужен для его рассказа широкий исторический зачин, а кроме того, он знал, что бóльшая часть его читателей еще продолжает слепо верить всему тому, что говорится в мифах, то он и решил, не вдаваясь в тщательное исследование каждого мифа и каждого предания, выбрать из них более или менее правдоподобные факты и попытаться сконструировать из них если не подлинную историю героического века, то по крайней мере приблизительную ее модель только для того, чтобы было с чем сравнивать события современности. «Археология», таким образом, представляет собой не столько исторический рассказ в том значении слова, которое вкладывает в это понятие сам Фукидид, сколько своеобразную фантазию на исторические темы — умозрительную конструкцию, в которой отдельные события изображаются так, как они могли бы происходить, но не обязательно — Фукидид понимает это — именно так и происходили. Можно сказать, что в «Археологии» автор несколько ослабляет узы своей собственной суровой методы, которая требует от историка неукоснительной честности перед читателем, и позволяет себе некоторую игру воображения. Но то же самое он делает и конструируя речи своих героев.

καὶ ἐν τοῦ σκῆπτρου ἅμα τῇ παραδόσει...

σκήπτρου παράδοσις — под этим названием в древности были известны знаменитые строки II песни «Илиады» (100–109), в которых описывается «отеческий, нетленный скипетр Агамемнона»:

Говор унявши, как пастырь народа восстал Агамемнон,
С царственным скиптром в руках, олимпийца Гефеста созданьем:
Скиптр сей Гефест даровал молненосному Зевсу Крониду;
Зевс передал возвестителю Гермесу, аргоубийце;
Гермес вручил укротителю коней Пелопсу герою;
Конник Пелопс передал властелину народов Атрею;
Сей, умирая, стадами богатому предал Фиесту,
И Фест, наконец, Агамемнону в роды оставил,
С властью над тьмой островов и над Аргосом, царством пространным.
Царь, опираясь на скиптр сей, вещал к восседящим ахеям...

Строки эти всегда, и в древности, и в Новое время привлекали к себе пристальное внимание историков. Дело в том, что это один из тех крайне редких в гомеровской поэзии случаев, когда Агамемнон предстает перед нами во всем блеске своей славы и могущества, как настоящий «пастырь народов» и «владыка мужей» (ποιμήν λαῶν), как его обычно величает поэт. Чаще всего его фигура выглядит в эпосе далеко не столь величественно. Довольно жалкое впечатление Агамемнон производит, например, в I песни «Илиады», в сцене ссоры царей, и в той же II песни, когда обнаруживается его полная беспомощность и неспособность справиться с разбушевавшейся стихией солдатского мятежа.

Заметим также, что Гомер почти никогда не говорит прямо о какой-либо зависимости других ахейских героев от «владыки мужей». Напротив, Ахилл, Диомед и другие герои «Илиады» нередко подчеркивают в своих речах, что своим присутствием под стенами Трои они как бы оказывают любезность Агамемнону и делают это по своей доброй воле, а не потому что он их к этому принудил (здесь Гомер совершенно расходится с Фукидидом).

Пассаж о скипетре занимает поэтому совершенно особое место во всей «Илиаде». Две необычные черты обращают на себя внимание в том образе Агамемнона, каким его рисует здесь поэт. Во-первых, его власть носит здесь явно наследственный характер и получена не от кого-нибудь, а от самого Зевса вместе со скипетром, который является одновременно и символом, и гарантией незыблемости этой власти. Для Гомера такое представление о «царской власти милостью божьей» явно необычно и даже чуждо. Обычно цари получают свою власть (или почесть — γέρας, как выражается Гомер) от народа, который может ее и отобрать назад в любой момент. Сама гомеровская царская власть очень далека от монархии в обычном понимании этого слова. Скорее это власть выборного президента, стоящего во главе аристократической республики. К тому же почти в каждой гомеровской общине имеется обычно несколько человек, носящих титул басилея, т. е. царя, и всегда достаточ-

но трудно бывает определить, кому из них принадлежит верховная власть. Так обстоит дело, например, на Итаке, на острове феаков, да и в ахейском лагере под Троей; как выясняется при ближайшем рассмотрении, существует аналогичная аристократическая форма правления, при которой власть находится в руках не одного царя, а целой коллегии басилеев, в которой Агамемнон занимает лишь место председателя, «первого среди равных». Любопытно, что царский скипетр, которому поэт в данном отрывке, казалось бы, придает такое исключительное значение, видя в нем символ нераздельной и наследственной царской власти, в других местах той же «Илиады» оказывается принадлежащим всей компании басилеев, возглавляющих ахейское войско, и как символ их совместной власти все время переходит из рук в руки, когда, например, басилеи выступают перед народом в собрании. В сцене «испытания войска» в той же самой второй песни «Илиады» Одиссей берет скипетр из рук Агамемнона и затем использует его как простую палку для того, чтобы навести порядок в войске и утихомирить крикунов. Этот эпизод отчетливо показывает, насколько чуждо было Гомеру представление о настоящем царском скипетре, переходящем по наследству из рода в род.

Вторая особенность пассажа о скипетре, резко выделяющая его в общем контексте гомеровской поэмы, состоит в том, что власть Агамемнона простирается здесь на какую-то очень большую территорию, тогда как власть рядового гомеровского басилея почти никогда не выходит за рамки небольшой городской общины — одного-единственного полиса. В царстве Агамемнона, если полагаться на то, что говорит здесь Гомер, не один, а множество полисов. Правда, границы его державы очерчены очень расплывчато. В самом деле, что следует понимать под выражением Ἄργει παντὶ — «над всем Аргосом»? Название «Аргос» употребляется Гомером в трех различных значениях: 1) город Аргос; 2) Арголида (в этом его значении слово сопровождают обычно эпитеты πολυδίψιον («многожаждущий») и ἱππόβοτον («кормящий коней»); 3) весь Пелопоннес или даже вся Греция (в связи с этим все ахейское воинство в ряде случаев именуется в «Илиаде» аргивянами). Наиболее вероятно, что в пассаже о скипетре слово «Аргос» употреблено именно в последнем значении — «вся Греция» или, по крайней мере, «весь Пелопоннес», т. к. если бы речь шла только об одной Арголиде, с ней трудно было бы связать множество островов, под которыми, очевидно, подразумеваются острова Центральной и Южной Эгеиды. Таким образом, в этих строках Агамемнон неожиданно предстает перед нами как великий владыка чуть ли не всей Балканской Греции, а другие ахейские цари, например Нестор, Диомед, Одиссей, возможно, также Ахилл, оказываются его подданными, даже не вассалами. Я говорю «неожиданно», потому что эта картина

никак не вяжется с тем, что Гомер говорит о владениях Агамемнона в других местах. Так, в «Каталоге кораблей», а он, как принято считать, дает наиболее полное и точное представление о политической географии гомеровской Греции, царство Агамемнона занимает сравнительно небольшую территорию в северной части Пелопоннеса. Ему принадлежат здесь только Микены и города, лежащие дальше к северу по Истму и побережью Коринфского залива: Коринф, Сикион и частично города Ахайи. Бóльшая часть Арголиды с Аргосом и Тиринфом находится в руках Диомеда.

Итак, в общем контексте «Илиады» пассаж о скипетре воспринимается как какое-то чужеродное вкрапление, никак не вяжущееся с историческими и политическими представлениями автора поэмы. Зная, что Гомер широко использовал в своем творчестве поэтические формулы, заимствованные им из устной эпической поэзии предшествýющего периода, можно предположить, что и данный отрывок представляет собой одну из таких формул, которую поэт автоматически перенес в текст II песни «Илиады», не особенно задумываясь о ее содержании и не особенно стараясь увязать ее с тем, что он говорил раньше, и с тем, что еще скажет потом. Для него важно было произвести эффект на читателя, создать нечто вроде апофеоза Агамемнона. Как определить возраст этой формулы? Если исходить из реального ее содержания, то следует сказать, что единственный период греческой истории, когда в Европейской Греции могла существовать держава, подобная царству Агамемнона, изображенному в этом отрывке, это, конечно, микенская эпоха. Эд. Мейер уже в конце XIX в. высказал догадку о том, что пассаж о скипетре представляет собой отголосок того времени, когда власть микенских царей простиралась на весь Пелопоннес или даже на еще бóльшую территорию, а Микенское царство было самым большим и могущественным во всей Греции. Сама по себе эта гипотеза кажется достаточно правдоподобной. Микенская цитадель — самая большая из всех известных нам цитаделей этого времени. Царские гробницы, расположенные вблизи от нее, например знаменитая «могила Атрея», также намного превосходят своими размерами все аналогичные сооружения в других местах. Все это наглядно свидетельствует о богатстве и могуществе правителей Микен. Однако никаких прямых подтверждений, опирающихся на письменные источники, гипотеза Мейера пока не получила и, значит, не может быть принята совершенно безоговорочно. Особенно разочаровали историков, грезивших о великом Микенском царстве, результаты дешифровки линейного письма *Б*. Никаких упоминаний об этой державе в табличках Пилосского и Кносского архивов, равно как и в документах, найденных в самих Микенах, обнаружить не удалось. В табличках из Пилоса фигу-

рирует, правда, лицо, именуемое «ванака», т. е. «властитель», «владыка» (греч. ἄναξ), но по всему видно, что это местный пилосский правитель, а не микенский «великий царь».

Еще раньше, в 20-х годах прошлого века, когда были прочитаны документы дворцового архива хеттских царей из Богазкея (Хаттуса), один из первых их исследователей Э. Форер выступил с заявлением о том, что ему удалось найти в этих документах следы Микенской державы, о которой писал в свое время Эд. Мейер.

В письмах из этого архива, датируемых XIV–XIII вв. до н. э., несколько раз упоминается царство Аххиява, с которым царь хеттов поддерживает довольно тесные контакты, иногда мирные, иногда, наоборот, враждебные.

Так, брат царя Аххиявы, согласно одному из писем, был принят владыкой хеттов и получил возможность упражняться в езде на боевых колесницах. Царь Аххиявы, со своей стороны, посылает своих богов на помощь хеттскому царю во время его болезни. Между обоими дворами происходит обмен ценными подарками. В то же время, как выясняется в одном из писем, на территории Аххиявы находит убежище беглый подданный хеттского царя некий Пиямараду, который своими разбойничьими набегами тревожит землю хеттов. Хеттский царь просит своего собрата принять меры и прекратить это безобразие.

Хотя общий тон этих писем очень почтительный (цари хеттов обращаются к правителям Аххиявы как к равным себе), речь едва ли может идти о великом Микенском царстве, расположенном на Пелопоннесе. По всему видно, что это государство находилось где-то неподалеку от границ Хеттской державы, может быть даже, прямо с ней граничило. Следовательно, искать его нужно либо на территории Малой Азии (на западном или на южном ее побережье в Киликии), либо на одном из близлежащих островов (скорее всего, на Родосе или, может быть, на Кипре). Во всех этих местах обнаружены следы микенских поселений XIV–XIII вв., т. е. как раз того времени, к которому относятся и письма из Богазкейского архива, и, таким образом, проблему Аххиявы можно считать хотя бы вчерне решенной — по-видимому, это было одно из колониальных микенских государств, возникших в период бурной ахейской экспансии в ряде районов Восточного Средиземноморья.

Что же касается великой державы Агамемнона (mykenisches Grosskönigtum), то вопрос о ее существовании приходится оставить пока открытым. Аргументы pro и contra пока что взаимно уравновешивают друг друга, и на чью сторону склонится в конце концов чаша весов, трудно предвидеть.

Фукидида эта проблема явно не беспокоит. Он принимает реальность царства Агамемнона как нечто само собой разумеющееся, хотя и не пытается точно определить его границы, внутреннюю структуру и т. д. Его в данном случае занимает только один вопрос: был ли у Агамемнона флот и насколько большой? Эту проблему он решает походя, но с блеском, используя фразу Гомера о множестве подвластных Агамемнону островов. Лишь господствуя на море, владыка Микен смог подчинить себе другие ахейские княжества и организовать такое грандиозное предприятие, каким был поход на Трою.

Глава 10

ὅτι μὲν Μυκῆναι μικρὸν ἦν...

В начале V в. (в эпоху Персидских войн) Микены еще существовали как самостоятельный полис и с трудом отстаивали свою независимость от гораздо более могущественного Аргоса. В пику аргосцам, подчинившимся персам, микеняне выслали 80 человек в греческое войско, стоявшее у Фермопил, а позднее вместе со своими соседями тиринфянами собрали отряд из 400 человек, который сражался в битве при Платеях. Впоследствии (ок. 468–67 гг.) Микены были разрушены аргосцами и утратили свою государственную самостоятельность. Руины микенской цитадели с ее знаменитыми львиными воротами были известны как одна из местных достопримечательностей еще во II в. н. э. (*ил. 39*). Павсаний упоминает о них в своем описании Эллады. Фукидид, судя по всему, знал об их существовании, а, может быть, даже и видел собственными глазами и, увидев, убедился, что внешний вид знаменитого гнезда Атридов никак не соответствует подлинному могуществу их державы. Здесь Фукидид отдает решительное предпочтение исторической традиции как в поэтической форме, так и в форме устного предания (ὁ λόγος κατέχει, впрочем, можно понять и как общее обозначение прозаической историографии — сочинения логографов и т. п.) перед материальными памятниками, которые, по его мнению, не отражают подлинного значения и масштабности действующих в истории политических сил.

τῆς τε ξυμπάσης ἡγοῦνται...

Некоторая неточность: Аргос и некоторые другие города Арголиды не входили в Пелопоннесский союз, возглавляемый Спартой. Союзниками Спарты за пределами Пелопоннеса были беотийцы и амбракиоты (см. *карту 3* на с. 155).

Это место дает определенную опору для датировки труда Фукидида. Совершенно ясно, что эти слова не могли быть написаны после 404 г.,

Ил. 39. Микены. Львиные ворота

когда Спарта стала гегемоном над всей Элладой, не только над своими пелопоннесскими союзниками.

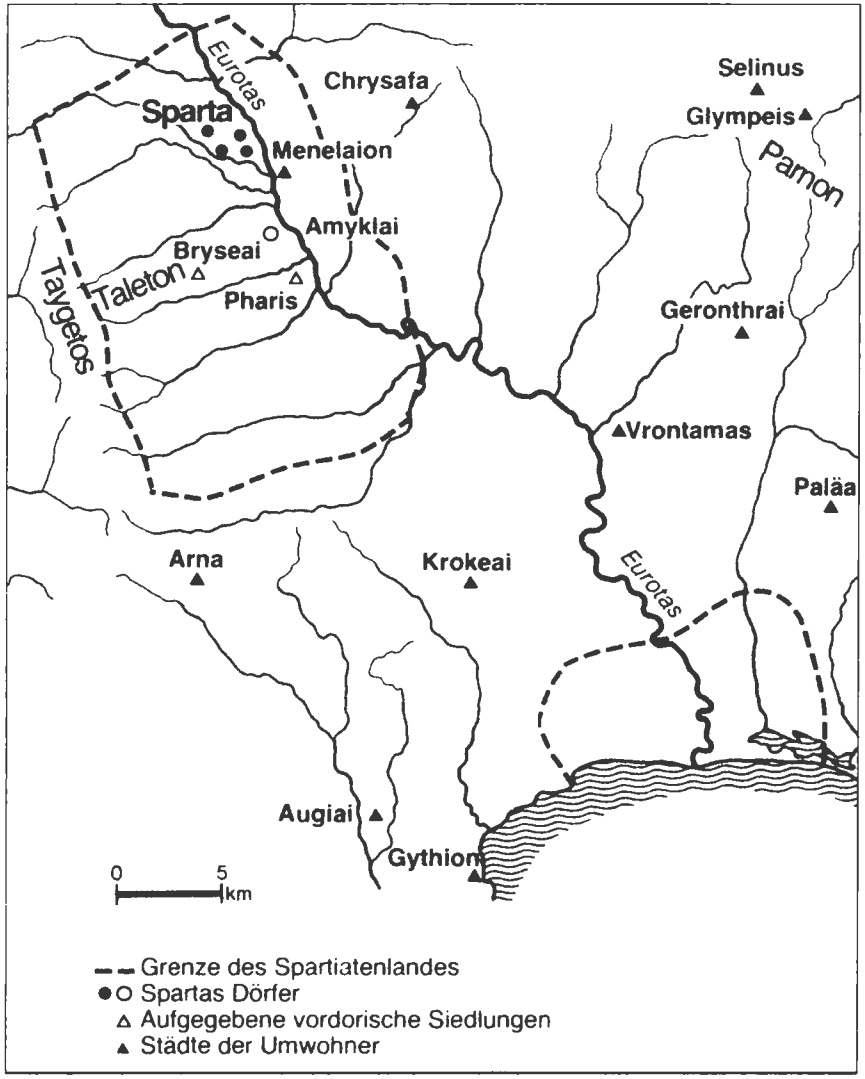
οὔτε ξυνοικισθείσης... κατὰ κώμας δὲ...

Эти слова перекликаются с тем, что Фукидид говорил уже раньше (5, 1) о древнейших греческих полисах, не имевших стен и заселенных по деревням (πόλεσιν ἀτειχίστοις καὶ κατὰ κώμας οἰκουμέναις). В Спарте настоящая городская стена была построена лишь в конце IV в. до н. э., уже после смерти Александра. До этого момента полис оставался несинойкизированным, и спартанцы жили вразброс по четырем или пяти деревням (*карта 10*). На этом примере мы убеждаемся, что понятие города и государства не обязательно совпадают в одном слове «полис». Они могут существовать и раздельно, т. к. полис может уже быть государством или общиной, еще не став настоящим городом, как Спарта. Или, может быть, правильнее было бы сказать, что для греков само понятие города имело скорее политический, чем демографический смысл. Город (полис) — это прежде всего политический центр определенной территории, а не особый тип поселения, имеющий специфические признаки, отличающие его от деревни, как то сплошную застройку, оборонительные стены и т. д.

διπλασίαν ἂν τὴν δύναμιν εἰκάζεσθαι...

Очевидный намек на постройки времени Перикла и другие сооружения, воздвигнутые в период расцвета демократии (*ил. 40*). Фукидид с видимым пренебрежением и даже иронией оценивает всю эту строительную эпопею, вероятно, воспринимая ее как своеобразную форму демагогической шумихи, политическую рекламу, направленную к тому, чтобы скрыть внутреннюю слабость и разложение Афинского государства.

Подсчеты сил эллинов, участвовавших в походе на Трою, в § 4 основаны на данных так называемого Каталога кораблей во II песни «Илиады». «Каталог» занимает особое место в тексте первой гомеровской поэмы. Внешне он напоминает не поэтическое произведение, а версифицированную хронику каких-то подлинных событий. И это сходство вводило в соблазн уже многих исследователей. Кроме того, «Каталог» явно плохо увязан с остальным текстом «Илиады». Описания «великих держав» героического века, которые мы находим в нем, заметно отличаются от того, что говорится о них в других частях поэмы (ср. описание царства Агамемнона). Да и сам этот длинный перечень кораблей здесь явно неуместен. Ведь речь идет уже о событиях десятого года войны. Выступление ахейской армии происходит на суше, а не на море. Зачем же было перечислять корабли? Все эти соображения подталкивают к той мысли, что «Каталог» не является органической исконной частью II песни «Илиады», что он попал в нее случайно, что это просто-напросто огром-



Карта 10. Спарта и ее окрестности

ная интерполяция, неизвестно кем и когда сделанная. Но чем был «Каталог» до того, как он вошел в состав «Илиады»? На этот счет в науке существуют самые различные мнения. Одни исследователи видят в «Каталоге» подлинный или слегка переработанный документ эпохи Троянской войны, в котором совершенно точно переданы не только очертания

Ил. 40. Акрополь Афин

границ основных микенских государств, но даже и некоторые характерные детали их ландшафта. В то же время другие ученые отзываются о «Каталоге» с крайним пренебрежением как о поздней эпигонской компиляции, лишенной какой бы то ни было исторической ценности. Кто же прав?

Версия о микенском происхождении «Каталога» была развита с наибольшей последовательностью и прямолинейностью немецким историком В. Бурром в книге, вышедшей в годы Второй мировой войны. В представлении Бурра, главным источником для автора «Каталога» был подлинный документ микенской эпохи, содержавший подробный перечень участников Троянского похода. Пролежав несколько столетий в одном из микенских архивов, таблички с текстом «Каталога» были вывезены в Малую Азию. Здесь этот текст подвергся поэтической переработке и в дальнейшем передавался изустно, пока наконец не был включен во II песнь «Илиады». На чем основана столь рискованная гипотеза? Ее сторонники выдвигают ряд аргументов. Наиболее важные из них следующие: 1) некоторые из мест, названных в «Каталоге», были, бесспорно, заселены в микенскую эпоху и совершенно заброшены в последующий пери-

од, например Евтресис, Криса, Дорион, Пилос, Гирия; 2) в «Каталоге» есть целый ряд пунктов, точное местоположение которых до сих пор не удалось установить. Это могли быть микенские поселения, местонахождение которых было забыто после их гибели; 3) очертания фигурирующих в «Каталоге» ахейских государств сильно отличаются от очертаний границ более поздних греческих полисов.

Насколько правомерны такие доказательства? Если взять первый аргумент, то он не так уж убедителен, как может показаться на первый взгляд. Сторонники микенского происхождения «Каталога» допускают элементарную логическую ошибку, принимая за исходную посылку то, что само еще нуждается в доказательстве, а именно полную идентичность забытых городов «Каталога» с покинутыми микенскими поселениями, открытыми лишь в недавнее время. У нас, например, не может быть твердой уверенности в том, что, говоря о Пилосе, автор «Каталога» имел в виду микенский дворец на холме Ано-Энглианос, обнаруженный в 1939 г. экспедицией Блегена–Куруниотиса, а не какой-нибудь другой Пилос, скажем, тот, который находился гораздо севернее первого, в Трифилии. Это отождествление можно было бы считать оправданным, если бы мы знали наверняка, что «Каталог» действительно имеет своей основой какой-то документ микенской эпохи, но ведь это как раз и требуется еще доказать.

Не выдерживает критики и второй аргумент в пользу теории Бурра. Если сейчас трудно сказать что-либо определенное о местоположении таких поселений, как Гоноесса в Арголиде, Фарис и Месса в Лаконии, Фрион и Кипариссия в Мессении, то отсюда еще не следует, что они исчезли уже в микенское время. Правда, их местоположение стояло, по-видимому, под вопросом уже в то время, когда Страбон писал свою «Географию», но в более раннее время, например при Геродоте или Гелланике Лесбосском, память об этих поселениях, возможно, еще была жива, а, может быть, они и сами еще существовали. Кроме того, мы должны иметь в виду, что упоминания о таких поселениях в сочинениях позднеантичных авторов, того же Страбона или Павсания, носят, как правило, случайный характер. Некоторые из них они могли просто обойти вниманием, даже если и знали о их существовании. Вот один только пример. Фессалийское местечко Глафиры во всей античной литературе упоминается один-единственный раз — в 712 строке «Каталога кораблей» II песни «Илиады». В позднейших источниках это название не встречается ни разу. Поэтому Глафиры долгое время считались «без вести пропавшими». Однако в 1958 г. была опубликована надпись, из которой со всей очевидностью явствовало, что это местечко благополучно продолжало существовать еще в III в. до н. э.

Третий довод защитников микенской гипотезы тоже не очень убеждает в ее справедливости. Действительно, очертания представленных в «Каталоге» ахейских царств в ряде случаев не находят себе никаких аналогий на политической карте Греции I тыс. до н. э. Так обстоит дело, например, с царством Агамемнона, Диомеда, Менелая, Нестора.

Означает ли это, однако, что на карте «Каталога» были очерчены именно те государства, которые существовали в Греции в микенскую эпоху? Такой вывод отнюдь не обязателен. И, более того, наталкивается на одно серьезное препятствие. В том единственном пока случае, где мы можем сверить показания «Каталога» с показаниями микенских письменных источников, обнаруживается как раз разительное несоответствие. Согласно «Каталогу», в состав царства Нестора, второго по величине из ахейских государств Пелопоннеса, входило девять городов. В табличках из архива Пилосского дворца прочитано довольно много географических названий (в основном это названия поселений, находившихся на территории Пилосского царства), но из них только два — сам Пилос и Кипариссия — совпадают с теми названиями, которые дает «Каталог». Кроме того, согласно «Каталогу», владения Нестора находились в основном в западной части Мессении, в то время как реальное Пилосское царство охватывало, если судить по данным табличек, всю Мессению вплоть до Тайгета.

Против микенского происхождения «Каталога» говорит и еще одно соображение. В самом деле, задумаемся, каким образом столь пространный перечень имен и географических названий мог пережить целый ряд столетий, сохранив в целости и неприкосновенности свое первоначальное содержание. Если предположить, что все это время он хранился, как думает Бурр, в каком-нибудь архиве, а затем был извлечен на свет божий и стал достоянием поэтов и сказителей, то, спрашивается, каким образом греческие поэты, жившие в X, IX, даже в VIII в. до н. э., могли разобраться в знаках линейного письма *Б*, которым, вероятно, был записан текст «Каталога», если сами они либо вообще никакого письма не знали, либо знали только новое алфавитное письмо? Если же — другой вариант — текст «Каталога» с самого момента своего возникновения передавался только изустно, то отсюда неизбежно следует то, что он никак не мог сохранить свой первоначальный вид, т. к. при передаче от одного сказителя к другому он, вне всякого сомнения, должен был подвергаться переработке, и в результате от его микенского содержания осталось бы, конечно, лишь очень немного.

Итак, ближе к истине стоят, по-видимому, те ученые, которые оспаривают микенское происхождение «Каталога», думая, что он возник или одновременно с «Илиадой», или даже еще позже, уже в VII в. до н. э.

Судя по всему, создатель «Каталога» знал о микенской эпохе ровно столько же, сколько и автор самой «Илиады», т. е. очень мало. Очевидно, он лишь весьма приблизительно представлял себе местоположение важнейших микенских резиденций и знал из унаследованной от древности поэтической традиции о некоторых характерных их особенностях, знал, например, что Микены были «златообильные», «Тиринф — «крепкостенный», Пилос — «песчаный». Вокруг этих центров автор «Каталога» произвольно сгруппировал все известные ему полисы Пелопоннеса и других районов Греции и, таким образом, наделил каждого из ахейских героев подобающим его положению доменом. Не следует думать, что задача, стоявшая перед создателем «Каталога», была простой и легкой. К тому моменту, когда он приступил к своей работе, основное ядро предания о Троянской войне уже успело обрасти множеством разнообразных и, как обычно бывает, противоречащих друг другу легенд. Нужно было весь этот пестрый материал разобрать, систематизировать и свести в единый панэллинский кодекс, по возможности никого не обижая. Для того чтобы справиться с этой нелегкой задачей, автору «Каталога» пришлось кроить и перекраивать карту Греции, чтобы всем хватило места. В некоторых случаях ему пришлось делить территорию одной какой-нибудь области между несколькими героями, которые одновременно претендовали на нее. Так он поступил, например, с Арголидой, выкроив из нее царство Агамемнона, имеющее достаточно странный вид, и царство Диомеда.

Итак, согласно наиболее вероятным предположениям современных ученых[6], «Каталог кораблей» представляет собой плод кропотливых научных изысканий какого-то безвестного эрудита архаической эпохи, задавшегося возвышенной целью объединить всю Грецию вокруг самого прославленного из героических деяний древности. По складу характера, по своей склонности к классификации и систематизации этот безымянный поэт ближе всего напоминает Гесиода с его «Теогонией» и «Каталогом женщин», хотя не обязательно, конечно, думать, что Гесиод и автор «Каталога» — одно и то же лицо.

Для Фукидида проблема «Каталога» в ее теперешнем виде, по-видимому, не существовала. Автором «Каталога» он без особых колебаний признает Гомера, т. е. того же поэта, который создал и всю «Илиаду». Сам Гомер, правда, жил уже много спустя после Троянской войны и как поэт должен был многое приукрасить и преувеличить в этих событиях,

[6] Более подробно о «Каталоге кораблей» см.: *Андреев Ю. В.* Политическая география гомеровской Греции (К вопросу о датировке «Каталога кораблей» в «Илиаде» // Андреев Ю. В. В ожидании «греческого чуда»... С. 336–351.

но в целом его свидетельство кажется Фукидиду, по-видимому, заслуживающим доверия.

οὐ πολλοὶ φαίνονται ἐλθόντες...

Этот вывод Фукидида кажется недостаточно обоснованным. Если следовать его собственным подсчетам (по 85 чел. на 1200 кораблей), получается весьма внушительная цифра — 102 000 чел. За всю историю Пелопоннесской войны ни в одной боевой операции не участвовало такое огромное количество людей. Фукидид, правда, подчеркивает, что они были собраны со всей Эллады, но в данном случае это не имеет значения, так как главная его цель состоит в том, чтобы доказать, что до Пелопоннесской войны Греция вообще не знала по-настоящему крупномасштабных военных предприятий. Здесь же он доказывает как раз обратное.

Глава 11

Не довольствуясь выводом о малочисленности греческого войска, сражавшегося под Троей, который он сделал в предыдущей главе, Фукидид пытается теперь подойти к той же цели (доказать, что Троянская война была не столь уж значительным событием) с другой стороны и объясняет читателю, что Агамемнон и не мог привести с собой в Азию слишком много людей, так как тогда их нечем было бы кормить. Более того, он не мог прокормить даже и то (небольшое, как думает Фукидид) войско, которое он привел с собой, и оно вынуждено было перейти на самообеспечение, из-за чего война неоправданно затянулась.

αὐτόθεν πολεμοῦντα βιοτεύσειν...

Нужно сказать, что этого же принципа самообеспечения всем необходимым греческие армии придерживались и в гораздо более поздние времена. Интендантская служба всегда была поставлена в них из рук вон плохо. В лучшем случае солдаты брали с собой запас продовольствия, рассчитанный на несколько дней пути, а потом добывали все необходимое или мародерством, или закупая провизию на рынках нейтральных государств. Это обстоятельство сыграло роковую роль во время битвы при Эгоспотамах. Правда, во время экспедиции в Сицилию афиняне взяли с собой большой запас хлеба, но его хватило ненадолго и продовольствие все равно пришлось потом закупать на самом острове.

ἐπειδὴ δὲ ἀφικόμενοι μάχῃ ἐκράτησαν...

Трудно сказать, на чем основано это утверждение Фукидида: на сообщении традиции или же на его собственных домыслах. Гомер ничего об этой победе греков не сообщает. Но в распоряжении Фукидида были не только гомеровские поэмы, но и другие источники, например «Киприи», в которых рассказывалось о первых девяти годах Троянской войны.

Более вероятно, однако, что он сам пришел к этому выводу, опираясь на тот факт, что грекам удалось построить стену вокруг своего лагеря. Правда, согласно Гомеру, эта стена была воздвигнута лишь на десятый год войны по совету Нестора (о ее постройке говорится в VII песни «Илиады»). Фукидид явно игнорирует это указание своего основного источника и думает о какой-то другой стене, построенной в первый же год войны, вскоре после высадки греков на троянском берегу. Откуда он взял эту стену, остается неизвестным, может быть, опять-таки из «Киприй». Неясно также, из каких источников он узнал о том, что греки занимались земледелием на Херсонесе (Фракийском?), чтобы обеспечить себя продовольствием. Что касается пиратства, то здесь он мог использовать встречающиеся в разных местах «Илиады» упоминания о грабительских рейдах ахейских героев по городам Троады. Главным участником этих походов является Ахилл. В одном месте IX песни он сам похваляется, что за время войны опустошил, действуя с моря и с суши, 23 троянских города. Судьбы некоторых персонажей «Илиады» прямо связаны с этими набегами. Так, дочь Хриса Хрисеида была захвачена ахейцами в городке, носящем то же самое название. Брисеида, наложница Ахилла, отданная им Агамемнону, родом из Лирнесса, другого такого же городка в окрестностях Трои. В Фивах Киликийских, на родине Андромахи, от рук Ахилла пали ее отец Этион и семь братьев. Все эти факты, по-видимому, и легли в основу утверждения Фукидида о том, что греки добывали себе пропитание, занимаясь пиратством.

ἢ καὶ μᾶλλον οἱ Τρῶες αὐτῶν διεσπαρμένων etc.

Анализируя ход Троянской войны, Фукидид мог использовать и свой личный военный опыт, и все то, что ему было известно о крупных военных кампаниях, имевших место в ходе Пелопоннесской войны. Говоря о тех ошибках, которые были допущены греками при осаде Трои, Фукидид, несомненно, сравнивал эту осаду с другими известными ему аналогичными операциями, например с осадой Потидеи, Митилены, Сиракуз афинянами или Платей спартанцами. Во всех этих случаях осада велась правильно, с точки зрения Фукидида, так как в ней участвовали все силы осаждающей армии. Вокруг осажденного города обычно возводилась стена, чтобы полностью блокировать его, и в большинстве случаев это предприятие оканчивалось успехом (неудачной была только осада Сиракуз в 415–413 гг.).

Взятая как целое, эта глава может служить еще одним ярким примером рационализации и в то же время модернизации Фукидидом мифологического материала. Поэты и историки, писавшие о походе на Трою до него, конечно, и не помышляли о таких вещах, как проблема обеспечения армии Агамемнона провиантом. Фукидид был первым, кому

эта мысль вообще пришла в голову. Интересно, что в ходе рассуждения он незаметно видоизменяет свою основную посылку (производит то, что в логике называется подменой тезиса). Если в 10 главе он пытался доказать, что численность греческой армии была не столь уж большой, используя для этого цифры, взятые из «Каталога кораблей», то здесь он проводит уже другую мысль: сама по себе армия Агамемнона могла быть весьма значительной, но ее все время приходилось дробить на части вместо того, чтобы, сконцентрировав все силы в один кулак, нанести врагу решающий удар. По этой причине война слишком затянулась, хотя могла кончиться гораздо раньше. В конечном счете основной причиной, обусловливающей недостаточный размах военных действий под Троей, была, в понимании Фукидида, экономическая отсталость тогдашнего греческого общества и несовершенство его военной организации (сюда входят отсутствие денег — нет надежной финансовой базы для ведения войны, отсутствие необходимого оборудования — ахейские корабли беспалубные и похожи скорее на пиратские ладьи, чем на настоящие боевые суда, неумение и неспособность организовать правильную осаду вражеского города). В заключение Фукидид еще раз выражает свое недоверие поэтам, в том числе, по-видимому, и Гомеру. Но из предыдущего ясно видно, что скептицизм Фукидида относится не столько к тем фактам, о которых сообщают древние поэты (он готов принять их на веру и даже использует в своих рассуждениях), сколько к общему слишком патетическому тону их произведений, из-за которого Троянская война вырастает в представлении читателя до грандиозных размеров, затмевая все, что было до нее, и все, что будет после. Не следует ли отсюда, что Фукидид, хотя, может быть, и подсознательно, стремился превзойти Гомера как историк великой Пелопоннесской войны, с которой борьба за Трою не идет ни в какое сравнение?

Глава 12

Ἐπεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ...

Манера выражения Фукидида в этом месте показывает, что он не проводит серьезных различий между теми передвижениями племен, которые были до Троянской войны, и теми, которые начались после нее. Для него вся эта эпоха — время сплошного хаоса и разброда, среди которого лишь время от времени возникает какое-то подобие государства, чтобы затем снова исчезнуть. Такими эфемерными образованиями были и держава Миноса, и империя Агамемнона. Все это еще раз говорит о том, что наш историк очень неясно представляет себе микенскую эпоху.

ἥ τε γὰρ ἀναχώρησις τῶν Ἑλλήνων ἐξ Ἰλίου...

В этом предложении спрессовано вместе множество разнородных и разновременных событий, которые Фукидид соединяет в общую картину, показывающую, насколько неустойчивой и беспорядочной была жизнь греков в период, следующий за Троянской войной. С одной стороны, он использует здесь цикл эпических поэм и преданий, посвященных возвращению на родину героев Троянской войны (так называемые Νόστοι), с другой — традицию о передвижениях племен в основном в направлении с севера на юг, в которых участвовали фессалийцы, беотийцы, дорийцы и прочие племена. Что касается первой группы источников, то она известна нам частично по произведениям трагиков V в., а в основном по кратким пересказам позднеантичных авторов: Диодора, Аполлодора, Павсания и других. Из всех поэм, входивших в цикл Νόστοι, до нас дошла одна только «Одиссея». Другие поэмы или прозаические предания (саги) этой серии строились, по-видимому, в основном по той же самой схеме, что и «Одиссея»: длительное отсутствие героя, возвращение которого затрудняют различные, не зависящие от его воли препятствия, и, как следствие этой задержки, активизация врагов героя, стремящихся захватить его престол, богатства, жену и т. д.

С наибольшей полнотой и яркостью эта ситуация обрисована в «Одиссее» (борьба героя с женихами Пенелопы), а также в «Орестейе» Эсхила, но нечто подобное происходило и во многих других местах. Некоторые из участников Троянской войны были убиты, низложены или изгнаны вскоре после их возвращения на родину, другие сами в силу тех или иных причин решили покинуть отечество. Так, Диомед был изгнан из Аргоса своей женой Эгиалеей и ее возлюбленным Кометом, после долгих странствий попал в Италию, унаследовал там царство царя Давна, женившись на его дочери, и основал на восточном берегу Италии несколько городов. Идоменей был изгнан с Крита (за то, что принес в жертву Посейдону своего собственного сына) и умер в Колофоне. Неоптолем (сын Ахилла) был убит Орестом, у которого он пытался похитить его жену Гермиону (дочь Менелая и Елены). Пелей, старый отец Ахилла, был изгнан из Фтии и умер вдали от отчизны на острове Кос. Многие герои так и не добрались до Греции. Носимые враждебными ветрами по морю, они вынуждены были пристать к чужим берегам и там поселиться. Так, Филоктет поселился на юге Италии вблизи Кротона, Туней попал в Ливию, Фидипп (герой острова Коса) поселился на Кипре. Там же обосновался и Тевкр, изгнанный с Саламина. Кстати, та же участь постигла и некоторых троянских героев, уцелевших во время разрушения города, например Энея. Более благосклонной судьба была только к Менелаю и Нестору. Оба они вернулись на родину (первый, правда, после долгих

скитаний) и благополучно процарствовали остаток своих дней. Однако их потомки, по-видимому, уже в следующем поколении были изгнаны из Пилоса и Спарты.

Степень исторической достоверности всех этих преданий не поддается точному определению. Можно предположить, что в них нашли свое отражение какие-то смуты и распри, происходившие внутри микенских государств, в том числе и среди самих правящих династий в последние десятилетия перед их окончательным крушением (где-то в конце XIII — первой половине XII в.). Результатом этих смут во многих случаях могло быть выселение в колонии группировок, потерпевших поражение в борьбе. Из этих изгнанников, судя по всему, вербовались дружины пиратов и авантюристов, блуждавшие в поисках добычи и мест для поселения по всему Средиземноморью (некоторые из них, по-видимому, приняли участие в набегах «народов моря» на Египет, может быть, также в колонизации Палестины филистимлянами, в заселении Кипра и Памфилии). Мы должны, однако, иметь в виду, что греческие колонисты, обосновавшиеся позднее (уже в эпоху Великой колонизации) в Италии, Сицилии, Северной Африке и в других местах, были заинтересованы в создании себе подобающей родословной, которая связывала бы их колонию с наиболее известными историческими фигурами прошлого. Тогда-то герои Троянской войны (даже и не очень значительные) пошли нарасхват и стали превращаться в ойкистов — основателей новых городов. Уже в V в. все эти предания были собраны и систематизированы Геллаником Лесбосским в сочинении, называвшемся Κτίσεις Πόλεων, которое, вероятно, было знакомо и Фукидиду.

Другая часть этого отрывка посвящена событиям совсем иного плана и логически не связана прямо с предыдущей (поэтому союз γὰρ после Βοιωτοί τε кажется здесь излишним). Речь идет о «великом переселении» народов, приведшем к радикальным изменениям этнического состава населения значительных районов греческого мира.

В этом переселении участвовали дорийцы, занявшие бóльшую часть Пелопоннеса и многие острова Южной Эгеиды, а также родственные им народы, входившие позднее в большую семью северо-западных греческих диалектов. Сюда можно отнести названных Фукидидом беотийцев и фессалийцев (в языке как тех, так и других, правда, очень сильны были эолийские примеси — очевидно, наследие более древнего микенского населения этих районов), а также не упомянутые здесь племена, населявшие Западную Грецию, например обитатели Пелопоннесской Ахайи, элидяне, фокидяне, локры и некоторые другие. Сам факт передвижения всех этих племен с севера на юг или с северо-запада на юго-запад сейчас почти никем не ставится под сомнение. Однако вокруг

вопроса о времени, обстоятельствах и характере этого Völkerwanderung ведутся ожесточенные споры. Многие историки и археологи непосредственно связывают с этими событиями катастрофу, пережитую микенской цивилизацией, на рубеже XIII–XII веков до н. э., после которой начался ее быстрый упадок и вырождение. Именно дорийцам и их соплеменникам приписывают эти ученые разрушение Микен, Тиринфа, Пилоса и других центров микенской культуры. Другие, однако — и эта точка зрения кажется мне более правильной, — полагают, что дорийцы здесь ни при чем: они были слишком слабым и малочисленным народом для того, чтобы произвести такие опустошения. К тому же в тех местах, где происходили все эти разрушения, до сих пор не удалось обнаружить никаких следов культуры пришельцев. Более вероятным кажется поэтому, что дорийцы и другие северные племена пришли на Пелопоннес и в Среднюю Грецию гораздо позднее — уже в самом конце XII или еще скорее — в XI в., когда микенская цивилизация уже агонизировала, и, не встречая на своем пути серьезного сопротивления (так как население Греции к этому времени сильно сократилось в числе), заселили пустующие территории.

Фукидид датирует эти события 60-ми и 80-ми годами после взятия Трои. Сообщение это имеет для нас мало ценности, так как нам неизвестно, к какому времени Фукидид относит саму Троянскую войну. Правда, к решению этого вопроса можно подойти косвенным путем. В V книге «Истории» (112, 2) дорийские поселенцы острова Мелоса сообщают афинянам, что они живут здесь уже 700 лет. Так как разговор этот происходил в 416 г., то можно сделать вывод, что, согласно подсчетам Фукидида, переселение дорийцев имело место где-то в конце XII в. Тогда Троянская война должна была происходить в начале этого века (напомню, что, согласно датировке Эратосфена, временем окончания Троянской войны должен считаться 1184/83 г. до н. э.). Если предположить вслед за Фукидидом, что дорийцы заселили Пелопоннес около 1104 г., а беотийцы заняли Беотию на 20 лет раньше, то это примерно соответствует тому, что говорит на этот счет и современная археология. Однако откуда Фукидид взял эти цифры? Ответить на этот вопрос нелегко. Известно, что если в пределах периода, следующего за первой олимпиадой (776 г. до н. э.), греческие историки пользовались более или менее точными способами датировки по годам афинских архонтов, правления персидских царей и т. д., то за пределами этого периода они были лишены такой возможности и вели счет годов по поколениям. Система эта была крайне ненадежной. К тому же у каждого автора было свое представление о том, что такое поколение. Одни исчисляли его в 30 лет, другие в 40, третьи даже в 100. Таким весьма несовершенным

способом были скалькулированы даты важнейших событий греческой предыстории, например похода Аргонавтов, той же Троянской войны, возвращения Гераклидов и т. д. Фукидид, вероятно, использовал одну из таких хронологических систем или даже две сразу. Так, 60 лет, отделяющих приход беотийцев в Беотию от Троянской войны, можно истолковать как два поколения по тридцать лет каждые, а 80 лет, истекшие после той же войны к моменту прихода дорийцев на Пелопоннес, как два поколения по 40 лет, или, что более вероятно, если добавить к 80 годам еще 10 лет (продолжительность самой Троянской войны), то получится промежуток из трех поколений по 30 лет. Все эти подсчеты Фукидид мог позаимствовать у своего предшественника Гелланика Лесбосского, который много занимался вопросами исторической хронологии.

Замечание о том, что часть (ἀποδασμός) беотийцев уже раньше жила в этой области и участвовала в походе на Трою, можно понять как попытку согласовать между собой две версии предания: согласно одной, беотийцы появились в Беотии лишь спустя 60 лет после похода на Трою, согласно другой, представленной у Гомера (в особенности в «Каталоге кораблей»), они уже населяли эту страну во время Троянской войны. Фукидид пытается найти компромисс между этими двумя противоположными мнениями, но неудачно, так как, по Гомеру, беотийцы заселяли почти всю Беотию, за исключением Орхомена и Аспледона, где обитал в это время народ миниев. Это обстоятельство — один из многих фактов, говорящих в пользу позднего (послемикенского) происхождения «Каталога кораблей», да и всей гомеровской поэзии в целом.

καὶ Ἴωνας μὲν Ἀθηναῖοι καὶ νησιωτῶν...

Кажется странным то, что Фукидид соединяет здесь в один хронологический отрезок два весьма удаленных друг от друга во времени события: так называемую Ионийскую колонизацию Малой Азии и заселение греками Южной Италии и Сицилии. Первое из этих событий датируется большинством современных историков XI–X вв. до н. э., т. е. считается почти синхронным дорийскому переселению (некоторые отодвигают колонизацию ионийского побережья еще дальше в глубь веков, относя ее к микенской эпохе, но это едва ли соответствует действительности), второе же (начало так называемой Великой колонизации) относится обычно ко второй половине VIII в. Возможно, для Фукидида разрыв примерно в два или полтора столетия был несущественным, а, возможно, он его просто не видел, так как сама ионийская колонизация Малой Азии могла быть гораздо более длительным процессом, чем его представляют себе современные ученые, и заняла не одно, а целый ряд столетий. Тогда это высказывание Фукидида говорит лишь о неполноте нашей информации. Как раньше (во 2 главе), так и

здесь Фукидид настаивает на афинском происхождении большинства ионийских колоний в Малой Азии и на островах. Того же мнения придерживался еще раньше Геродот, а в более позднее время Страбон и Павсаний (впрочем, уже Солон в одной из своих элегий называет Афины «старейшей среди ионийских земель»). Сохраненная этими авторами традиция приписывала основание почти всех ионийских городов выходцам из Афин, предводителями которых были многочисленные законные и незаконные сыновья царя Кодра, вероятно, специально придуманные для такого случая. Геродот прямо говорит, что все чистокровные ионийцы вышли прямиком из афинского пританея. Однако сам Геродот, да и другие авторы, придерживающиеся того же мнения, что и он, приводят факты, которые находятся в прямом противоречии с афиноцентристской концепцией ионийской колонизации. По его словам, в заселении малоазийского побережья и островов участвовали многие племена, никакого отношения к афинянам и вообще к ионийцам не имеющие, например абанты с острова Евбея, минии из беотийского Орхомена, кадмейцы, дриопы, фокейцы, аркадяне, дорийцы из Эпидавра и многие другие. Небольшая группа чистокровных ионийцев обосновалась только в Милете и здесь смешалась с местным карийским населением.

Во многих городах Малой Азии существовали местные легенды о их основателях, которые, как правило, расходятся с господствующей версией предания, делающей Афины метрополией всех ионийских полисов. Некоторые из этих преданий дошли до нас. Так, согласно поэту Мимнерму, уроженцу Колофона, основателем этого города был Андремон из рода Нелеидов, потомок мудрого Нестора, который прибыл в Малую Азию из Пилоса в Мессении. Чтобы примирить эту версию предания об основании Колофона с другой, в которой главенствующая роль принадлежала Афинам, было высказано предположение о том, что Нелеиды на своем пути на восток задержались в Афинах и здесь породнились с местной династией Кодридов, но это — чистейшая фикция.

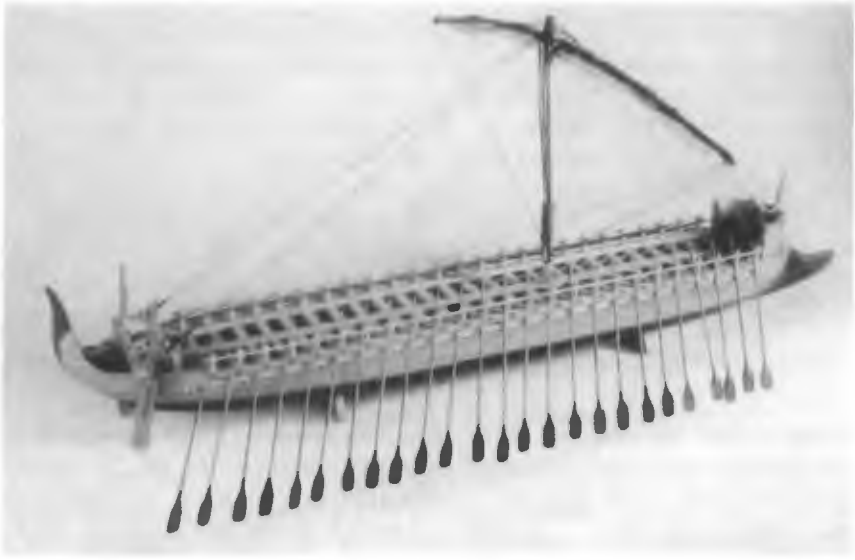
Итак, естественнее всего было бы представить себе ионийскую колонизацию (само это название может быть употреблено лишь условно) как очень медленное и постепенное передвижение с запада на восток разрозненных групп колонистов, происходивших из самых различных районов Балканской Греции, отнюдь не из одной только Аттики, хотя нельзя считать исключенным, что именно эта область (в силу самого своего географического положения) стала для всей этой волны переселенцев или по крайней мере для значительной ее части основным плацдармом перед броском через Эгейское море. Не исключено также, что в этом переселении наряду со многими другими принимал участие и народ,

именовавшийся Ἰαόνες (ионийцы) и находившийся в родстве с афинянами. В колонизации некоторых участков малоазиатского побережья, например района Милета, ионийцам, возможно, принадлежала первенствующая роль, и впоследствии, примерно в VII столетии, когда возникла ионийская лига во главе с Милетом с центром в Паниони, родилось предание об общем происхождении всех городов, входивших в состав этой лиги из единой метрополии в Афинах.

Глава 13

Начиная с этой главы, рассказ Фукидида становится менее последовательным и более скомканным. В нем больше пропусков и неясностей. Создается впечатление, что эта часть «Археологии» не была проработана по-настоящему, что это лишь незаконченные черновые наброски. Так, уже в первых строках Фукидид не разъясняет читателю, какая связь существовала между ростом богатства греческих полисов и возникновением в них тираний, а просто говорит об этом как о факте, не подлежащем сомнению. Можно допустить, что, подобно современным историкам, Фукидид видел в тирании порождение острой классовой борьбы, раздиравшей в то время греческие полисы, борьба же эта, в свою очередь, была результатом бурного экономического развития Греции, связанного главным образом с морской торговлей и колонизацией. Более вероятно, однако, что Фукидид понимал эту связь проще, чем мы теперь ее понимаем. Для него, как и для всех греков, тирания — ненормальная форма власти и уже в силу своей ненормальности крайне неэкономичная. Тирания сопряжена почти всегда с огромными тратами на самого тирана, на его двор, его наемное войско, наконец, на его строительные затеи, войны и прочее. Все эти расходы покрываются за счет налогового обложения граждан. Ясно, что выдержать такое бремя может только достаточно богатое процветающее государство. Бедному полису этот режим не по карману.

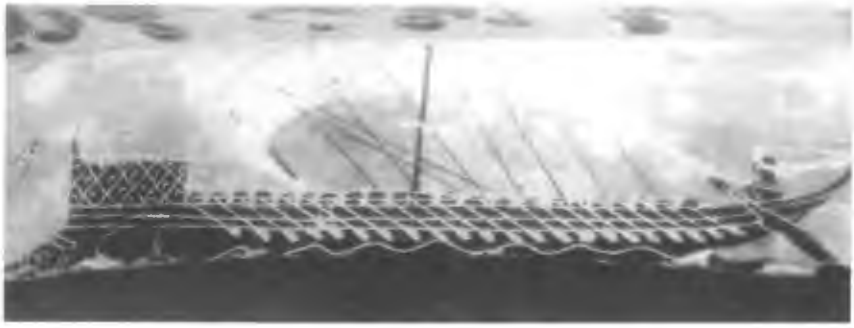
Тирании, как кратко замечает Фукидид, предшествовал период, когда у власти стояли наследственные цари с определенными (по договору) полномочиями («почестями»). Обычно считается, что речь идет о царской власти героического (или гомеровского) периода, когда власть царей действительно была, во-первых, наследственной, а, во-вторых, ограниченной договором (см. заключительную сцену «Одиссеи»; в некоторых государствах, например в Спарте, такой договор между царями и представителями общины регулярно возобновлялся еще и в V в. до н. э.). Но в этом случае остается непонятным, почему Фукидид из гомеровского периода перешагивает сразу в век тиранов, который начинается лишь с середины VII в. (приход к власти Кипсела в Коринфе и Орфагора в Сикионе), тогда



Ил. 41. Пентеконтера. VIII в. до н. э.

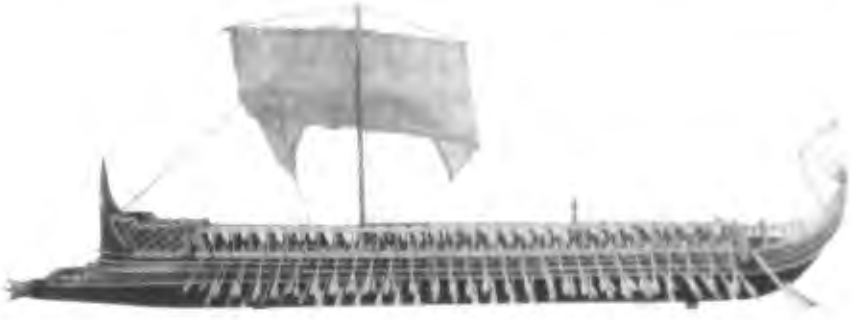
как единоличная царская власть в Афинах и других городах была, если верить преданию, ликвидирована задолго до этого. Фукидид, таким образом, совершенно опускает период олигархии, или господства знати, который, согласно принятой сейчас схеме истории Древней Греции, отделяет эпоху тирании от героической царской власти. Мы, однако, должны иметь в виду, что Фукидид вовсе не собирался излагать историю политических режимов, существовавших в Греции с древнейших времен. Его главная цель была совсем другая. Поэтому, вспомнив о тирании, он тут же по закону ассоциации подобного с подобным решил упомянуть и о древней царской власти. К тому же грань между гомеровской басилейей и аристократическими режимами типа коринфских Бакхиадов или лесбосских Пентилидов была не столь уж четкой, как мы ее теперь себе представляем. Уже Гомер застал в Греции скорее аристократическую республику, возглавляемую одним или несколькими басилеями, и этот режим без существенных изменений продолжал существовать и дальше в VII, кое-где даже еще в VI в., перемежаясь кратковременными периодами, когда власть переходила в руки узурпаторов — тиранов.

Триеры. Предшествующие им пентеконтеры (*ил. 41, 42*) имели от 30 до 50 гребцов на борту и длину ок. 32 м. Число гребцов на триерах было больше в три раза за счет создания второго и третьего ярусов сидений, как думают одни, или за счет того, что на одной скамье сажалось рядом



Ил. 42. Пентеконтера. Рисунок на вазе Эксегия

по нескольку гребцов, как на галерах, как думают другие. Триеры V в. уже имели палубу, хотя раньше ее могло и не быть (*ил. 43, 44*). Не совсем ясно, что имеет в виду Фукидид, говоря о четырех кораблях, построенных Аминоклом на Самосе, — триеры или какой-то другой тип судна. Логически (по связи с предыдущим предложением) это должны быть именно триеры. Многих ученых смущает, однако, столь ранняя датировка (конец VIII в.), тогда как известно, что в Афинах этот тип судна считался новинкой еще и в начале V в. Тем не менее Фукидид, несомненно, имел в виду именно триеры и ничто иное. Это ясно видно из начала следующей (14) главы, где сказано, что даже и в сильнейших греческих флотах до мидийских войн число триер было очень невелико. По преимуществу же использовались пентеконтеры и так называемые большие корабли, как и во времена Троянской войны. Если Аминокл построил для самосцев суда какого-то нового типа, то это могли быть только триеры, т. к. пентеконтеры и «большие корабли» существовали уже задолго до этого. В принципе в самом факте появления триер в Коринфе и на Самосе нет



Ил. 43. Триера. V в до н. э.

Ил. 44. Триера. Лондон. Британский музей

ничего невозможного. Принцип ярусного расположения гребцов был известен финикийцам уже в VIII в. (изображения двухъярусных финикийских кораблей мы видим на ассирийских барельефах из дворца Синахериба — около 700 г. до н. э.). В VIII–VII вв. финикийцы были частыми гостями на Истме. От них коринфяне и могли позаимствовать новую конструкцию судна. Правда, в греческом искусстве архаического периода изображения судов такого типа почти не встречаются, но это можно объяснить техническими трудностями вазовой живописи. Даты, которыми пользуется здесь Фукидид, могли быть заимствованы им из каких-нибудь местных хроник на Самосе или в Коринфе.

ναυμαχία τε παλαιτάτη...

Керкира была колонизирована Коринфом ок. 734 г. и, по-видимому, спустя короткое время после этого вышла из-под его контроля. Ок. 610 г. остров был снова подчинен Периандром.

οἰκοῦντες γὰρ τὴν πόλιν οἱ Κορίνθιοι...

Экономическое возвышение Коринфа началось при Бакхиадах во второй половине VIII в. и достигло своего апогея в период тирании, когда значительная часть Адриатики и островов Ионического моря вошли в состав Коринфской державы (*ил. 45–47*). Преимущества географического положения Коринфа отмечает также Страбон, замечая, что в древности плаванье вокруг Пелопоннеса считалось опасным (в особенности район мыса Малея). Поэтому бóльшая часть купеческих кораблей как с запада, так и с востока направлялась в Коринф и здесь сбывала свои товары. Коринфяне же, «державшие ключ» от перешейка в своих руках, облагали пошлинами как мореплавателей, так и пеших путешественников и благодаря этому чрезвычайно разбогатели. Страбон относит это процветание Коринфа ко времени правления Бакхиадов, т. е. еще

Ил. 45. Протокоринфская ойнохоя и арибалл со сценой танца (ок. 600 г. до н. э.)

Ил. 46. Протокоринфская амфора (амфориск). Ок. 600 г. до н. э.

Ил. 47. Коринф. Архаический храм Аполлона

Ил. 48. Диолк

до тирании Кипсела. Тогда же через Истм была проложена специальная дорога, вымощенная каменными плитами (диолк — *ил. 48*), по которой можно было перетаскивать суда из одного моря в другое, и это сделало Коринф еще более привлекательным для мореплавателей. Впоследствии Периандр собирался прорыть через перешеек канал, но не успел это сделать.

Используя выгоды своего положения, коринфяне уже в конце VIII в. установили свою монополию на рынках Италии и Сицилии и удерживали ее почти 200 лет (до середины VI в.). В течение всего этого времени коринфская керамика была безраздельно преобладающей во всем районе к западу от Пелопоннеса. Греческая колонизация Италии и Сицилии осуществлялась, судя по всему, в значительной мере под контролем Коринфа. Коринфянам удалось совершенно вытеснить из этого района таких опасных для них соперников, как Мегара и города Эвбеи. С конца VIII до начала VI в. в колонизации Запада принимали участие по преимуществу отсталые земледельческие общины Ахайи и Локриды, расположенные по берегам коринфского залива и экономически, а, может быть, также и политически зависевшие от Коринфа. Единственное государство, активно противодействовавшее Коринфу в этом районе, это его собственная колония — Керкира.

καὶ Ἴωσιν ὕστερον etc.

Здесь Фукидид вступает в некоторое противоречие с Геродотом, который нигде не говорит о морском владычестве ионян и в то же время рассказывает, как все ионийские города, за исключением Милета, были захвачены персами. Скорее период ионийской талассократии в Эгейском море можно было бы отнести к более раннему времени, когда ионийские города, господствуя на море, успешно сопротивлялись лидийцам (см. Hdt. I, 16–22 и 27). Вообще периодом процветания Ионии можно считать 650–550 гг. О Поликрате см.: Геродот III, 39.

Φωκαῆς τε...

Массалия была основана фокейцами ок. 600 г. Позднее жители самой метрополии, теснимые персами, покинули свой родной город и переселились на Корсику. Здесь им пришлось вести упорную борьбу с действовавшими заодно этрусками и карфагенянами. В битве с их объединенным флотом у города Алалия в 546 г. фокейцы потерпели поражение (Геродот говорит, что они одержали «кадмейскую победу», потеряв 40 из 60 кораблей, 20 других были сильно повреждены) и, покинув Корсику, обосновались в Италии, где ими был основан город Элея (или Гиэла). Фукидид, однако, едва ли имеет в виду именно эти события. Скорее речь идет о каких-то более ранних столкновениях фокейцев с карфагенянами, в которых первые одерживали победы (на то, что это происходило неоднократно, указывает форма Impf. ἐνίκων).

Глава 14

Фукидид предупреждает читателя, что развитие морского дела в Греции в «век тиранов» было еще достаточно замедленным, так как число триер, хотя они и появились уже в конце VIII в., было невелико.

πλοίοις μακροῖς ἐξηρτυμένα...

Различие между пентеконтерами и «большими кораблями» не совсем ясно. «Большими или длинными кораблями» называются в греческой литературе обычно всякие военные суда в противовес купеческим «круглым кораблям», вероятно, по той причине, что они имели более вытянутые пропорции. Пентеконтеры (т. е. пятидесятивесельные корабли) были, по всей видимости, одной из многочисленных разновидностей «больших кораблей», которые все вместе взятые противопоставляются Фукидидом триерам на том основании, что гребцы на них сидели в один ряд, а не в три, как на триерах.

ὀλίγον τε πρὸ τῶν Μηδικῶν...

Под Μηδικά Фукидид понимает лишь нашествие Ксеркса в 480–479 гг., относя предшествующие события, в том числе битву при Марафоне, к другой исторической эпохе. Смерть Дария — ок. 485 г. до н. э.

περί τε Σικελίαν τοῖς τυράννοις...

Могут иметься в виду Гелон, тиран Гелы, захвативший Сиракузы, Мегару Гиблейскую и некоторые другие города восточной Сицилии, также тиран Акраганта Ферон, завладевший всей центральной частью Сицилии от моря до моря, Анаксилай, тиран Регия, овладевший Занклой, которую он переименовал в Мессену. В 480 г. Гелон, действовавший в союзе с Фероном, нанес страшное поражение карфагенянам под Гимерой (северное побережье Сицилии) и вскоре после этого объединил под своей властью бóльшую часть острова. Его преемником (он умер в 478 г.) был Гиерон, при котором сиракузская тирания достигла наивысшего расцвета.

Керкиряне во время похода Ксеркса обещали прислать на помощь грекам, отражавшим персидское нашествие, большой флот, насчитывавший 60 триер, но, как рассказывает Геродот (VII, 168), не сдержали свое обещание, сославшись на то, что из-за сильных ветров их флот будто бы не смог обогнуть Пелопоннес у Малеи.

Ἀθηναίους Θεμιστοκλῆς ἔπεισεν...

Об этом более подробно — Геродот (VII, 143–144) и Аристотель (Ἀθ. π. 22. 7). Имеется в виду закон Фемистокла о лаврийском серебре, принятый в 483/482 г. Упомянутая здесь война с Эгиной, начавшись еще в 506 г., тянулась с перерывами до 481 г. На заключительном ее этапе (примерно с 488 г.) эгинеты, пользуясь своим превосходством на море, почти полностью блокировали побережье Аттики. Фукидид высоко ценил государственный ум Фемистокла, как это видно из его пространной характеристики в I, 138, 3.

καταστρώματα...

Фукидид имеет в виду, что первоначально палубы устраивались только на носу и в кормовой части триеры, пространство между ними оставалось открытым. Впоследствии (уже после битвы при Саламине) эти две палубы стали соединять переходными мостиками (πάροδοι), которые шли вдоль бортов судна. Впервые они были устроены, по свидетельству Плутарха, во время битвы при Евримедонте (в 469 г.).

Глава 15

Фукидид еще раз напоминает читателю, что, несмотря на сделанные им выше оговорки, прогресс, достигнутый греками в развитии морского дела и укреплении их военного могущества до начала греко-персидских войн, был довольно значительным.

χρημάτων τε προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχῇ

Это может относиться, например, к Коринфу, Самосу при Поликрате, Сиракузам при Гелоне и некоторым другим государствам. В какой-то степени сюда можно отнести и Афины, родной город Фукидида, которые,

как известно, очень страдали от малоземелья и уже в VI в. сумели присоединить к своим владениям Саламин и некоторые небольшие островки вблизи от побережья.

ὅθεν τις καὶ δύναμις παρεγένετο...

Глагол παραγίγνομαι кажется здесь не вполне подходящим, так как речь явно идет о результате войны (в противном случае можно было бы понять это выражение как указание на размеры воинских сил, участвовавших в войне). Поэтому многие комментаторы (Шталь, Турнье и другие) заменяют его на περίγίγνομαι — «возникать», «оставаться в результате».

Здесь особенно бросается в глаза небрежность или, может быть, недоработанность этой части «Археологии». Высказывая столь категорическое суждение о незначительности и малой результативности всех сухопутных войн древности, Фукидид упускает из виду по крайней мере два факта, прямо противоречащих его концепции: 1) создание Аргосской державы при Фидоне (точная датировка пока не установлена — VIII или, может быть, VI в. до н. э.); 2) установление спартанской гегемонии на Пелопоннесе.

πόλεμον Χαλκιδέων καὶ Ἐρετριῶν

Имеется в виду война между Халкидой и Эретрией, наиболее значительными городами острова Эвбея, из-за так называемого Лелантского поля. В этой войне участвовали и другие греческие государства: Милет на стороне Эретрии, Самос и Фессалия на стороне Халкиды. Фессалийская конница сыграла решающую роль в заключительном сражении, в котором победа досталась халкидянам. Датировка войны точно не установлена: одни считают, что она происходила около 700 г., другие — около 600 г.

Глава 16

Речь идет о событиях 546 г. (падение Лидийской державы Креза и последовавшее вскоре за этим — вероятно, уже в 545 г. — присоединение к Персии малоазиатских греческих полисов, частью добровольно, например Милет, частью силой оружия). Позднее (в основном при Дарии) произошло присоединение ближайших к малоазиатскому побережью островов и р-на Геллеспонта. В этом деле персам помог финикийский флот, попавший в их руки после подчинения финикийских городов (еще при Кире).

Фукидид здесь опять вступает в противоречие с Геродотом, который говорит (I, 143), что азиатские ионийцы перед установлением персидского владычества были самым слабым народом среди всех греков. Факты (в частности, данные археологии) здесь скорее на стороне Фукидида.

Глава 17

Отзыв Фукидида о тирании в этом пассаже может показаться пренебрежительным. Однако едва ли можно судить по нему об отношении историка к этой разновидности политических режимов. Насколько можно судить по высказываниям, встречающимся в некоторых других местах, подход Фукидида к тирании был достаточно дифференцированным. Так, в VI кн. (гл. 54–55) он довольно благожелательно отзывается о правлении Писистратидов в Афинах. Выше (Кн. I, гл. 13–14) отмечались достижения тиранов, например Поликрата и сицилийских тиранов, в развитии военно-морского флота. Здесь же лишь констатируется тот факт, что ни один из тиранов архаической эпохи не вел сколько-нибудь значительных войн, кроме войн с соседями, и не создал сколько-нибудь значительной державы. Фукидид тут же дает и объяснение этому факту — излишней, по его мнению, сдержанности внешней политики тиранов: все их помыслы были направлены на внутренние дела, на стабилизацию своей власти, из-за чего они предпочитали мир войне. Фраза, относящаяся к сицилийским тиранам, противоречит сказанному только что о ничтожестве тиранов вообще. Поэтому некоторые издатели выбрасывают ее или заключают в скобки, видя в ней приписку какого-то читателя на полях, неправильно включенную в текст. Но это вполне может быть и поправка самого Фукидида, который, безусловно, был осведомлен об успешной борьбе сиракузских тиранов, Гелона и Гиерона, с Карфагеном и этрусками и решил напомнить о них читателю.

Глава 18

Роль Спарты в ниспровержении тиранических режимов сильно преувеличена. Антитираническая политика спартанцев в основном не простиралась дальше Пелопоннеса и ближайших к нему районов. Кроме изгнания Писистратидов они, по-видимому, приложили руку также к свержению тирании в Коринфе и Сикионе и пытались освободить Самос от Поликрата, но неудачно.

ἡ γάρ Λακεδαίμων и т. д.

Одно из самых трудных мест во всей «Археологии». Переход Спарты от длительного периода смут к периоду «благозакония» и гражданского мира отмечают и другие авторы, прежде всего Геродот (I, 65–66). Текст Геродота можно понять таким образом, что «хорошие законы» в Спарте появились лишь незадолго перед правлением Леонта и Гегесикла (первая половина VI в.), т. е. где-то около 600 г., хотя Ликург (благоустроитель

государства) жил гораздо раньше этого времени (как дядя Леобота — внука Агиса I, он должен быть отнесен чуть ли не к началу X в.).

Фукидид дает более точную датировку этого события — 400 лет до конца «этой войны», т. е. примерно 804 или, может быть, 821 г. до н. э., но не упоминает при этом имя Ликурга. Если предположить, что Фукидиду было что-то известно о так называемой Большой ретре, заложившей основы спартанской конституции, тогда его утверждение о неизменности государственного строя Спарты на протяжении свыше 400 лет могло основываться на этом документе, который он, очевидно, датировал концом IX в. Еще более вероятно, что он ничего не знал о Ретре, а так же, как и Геродот, имел какие-то не очень ясные представления о реформаторской деятельности Ликурга, которого он считал, по-видимому, и социальным, и политическим реформатором в то же время.

В последующий период, однако, в эту схему были внесены некоторые уточнения и поправки. Во-первых, выяснилось, что одно из важнейших государственных учреждений Спарты — эфорат — не было создано Ликургом, а возникло позднее (в период I Мессенской войны) — это было известно уже Платону. Во-вторых же, было установлено, что смуты в Спарте не кончились вместе с Ликургом, а продолжались еще и в VII в., во время II Мессенской войны (это заметил Аристотель, читая стихи Тиртея, которые во времена Фукидида, возможно, еще не были широко известны). Окончательно схема Геродота — Фукидида рухнула уже в наше время, когда археологические раскопки открыли подлинное лицо архаической Спарты, резко отличное от того облика государства-казармы, которое она приобрела в классический период. Из этого сравнения был сделан вывод, что так называемый Ликургов строй не мог сложиться ранее середины VI в., и, следовательно, древние историки, в том числе и Фукидид, проглядели это важнейшее в истории Спарты событие, поддавшись мистификации анонимных авторов легенды о Ликурге, которые сознательно старались уверить общественное мнение Греции в том, что государственный строй Спарты сохранялся в неизменной форме на протяжении длительного времени (по крайней мере четыре столетия). Сама эта цифра, вероятно, получена опять-таки путем подсчета поколений (10 поколений по 40 лет каждое).

ПЛАТОНОВСКИЙ МИФ ОБ АТЛАНТИДЕ И ДАННЫЕ СОВРЕМЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ

Предварительные замечания

«Археология» Фукидида служит примером научного освоения мифологической традиции. Миф здесь становится материалом, пользуясь которым историк восстанавливает картину прошлого, стремясь прежде всего к возможно большей точности этой картины, ее близости к оригиналу. Прямо противоположной цели служит миф в творчестве Платона — величайшего из греческих философов классической эпохи (*ил. 49*).

Древние предания о богах и героях включаются здесь в сложную систему идеалистической философии, становятся ее опорой, ее краеугольными камнями и таким образом участвуют в создании отнюдь не научной, но фантастической и, следовательно, искаженной картины мира. При этом Платон редко использует мифы в их первоначальном, так сказать, каноническом виде, в котором их из поколения в поколение передавали народные сказители. Чаще всего он их переделывает на свой лад, произвольно меняя и сюжет, и характеристики действующих лиц, и, главное, саму идею мифа. В результате такой переработки на базе старого сказания возникает совершенно новый миф, наполненный новым философским содержанием. Во все это Платон вкладывает, пожалуй, не меньше рационализма, чем Фукидид в свои исторические изыскания. Только рационализм его направлен совсем в другую сторону. Фукидид ищет то, что было когда-то или по крайней мере могло быть в действительности. Платон силой своего могучего разума создает то, чего никогда не было и не могло быть, но что, в его понимании, должно было бы быть.

Итак, миф служит для Платона средством разъяснения и пропаганды его философских идей. Только миф, несущий на себе солидную идейную нагрузку, миф, являющийся орудием философского просвещения, может

Ил. 49. Платон. Ватикан. Герма в Зале муз

быть полезен. Все остальные не только бесполезны, но и прямо вредны. Отсюда вытекает мысль о необходимости строгого отбора, своеобразной цензуры мифологической традиции. Об этом говорится в «Государстве» — одном из двух главных утопических трактатов Платона — Rep. 377 b–c. Старые мифы в большинстве своем (по-видимому, даже те, которые он называет «общепринятыми») не устраивают Платона прежде всего как средство воспитания подрастающего поколения. Они внушают молодежи ложные представления о богах и о природе. Кроме того, они развращают души молодых людей, давая им примеры дурного поведения. За это Платон сурово осуждает даже таких любимых и почитаемых в Греции поэтов, как Гомер и Гесиод: они отбирали для своих произведений далеко не лучшие образцы старинных сказаний и тем самым способствовали нравственной порче своих читателей.

Во всех этих рассуждениях Платона, пожалуй, особенно примечательно то, что сама мифологическая традиция воспринимается им отнюдь не как что-то застывшее, раз и навсегда данное. Напротив, он видит в ней живой непрерывный процесс. Создание мифов продолжается и сейчас, как это было когда-то в седой древности. Отсюда требование контроля над мифотворчеством: «надо смотреть за творцами мифов» (по логике Платона, такими творцами могут быть даже женщины: матери и няньки, которые отступают в своих рассказах

от общепринятых мифологических канонов и несут всякую отсебятину). Отсюда же и принципиальная возможность создания совершенно новых, никогда ранее не существовавших мифов. Платон не видит в этом ничего дурного и прямо призывает поэтов создавать такие мифы, чтобы они способствовали воспитанию добрых нравов и давали молодежи примеры, достойные подражания (Rep., 377 e).

Имея в виду все это, мы приступаем теперь к изучению одного из наиболее интересных, если не самого интересного образчика платоновского мифотворчества, каковым по праву может считаться миф об Атлантиде. Его основное содержание излагается в двух широко известных диалогах — «Тимей» и «Критий».

Диалоги эти принадлежат, как принято считать, к позднему периоду творчества Платона, падающему на 60–50 гг. IV в. Последний из них «Критий», по-видимому, так и остался недописанным: Платон умер, не успев полностью разработать начатую им тему. Эта незавершенность делает его рассказ еще более загадочным в глазах современного читателя. Первый из двух диалогов «Тимей» заключает в себе, судя по всему, лишь предварительный набросок мифа об Атлантиде. В основной своей части он посвящен совсем другим сугубо философским проблемам.

Главные действующие лица диалога: Сократ — прославленный философ, учитель Платона; Тимей, по имени которого назван диалог, — также философ, последователь Пифагора, достаточно известный в свое время (а его современниками были Эмпедокл, Зенон, Анаксагор), по происхождению италийский грек, уроженец Локр Эпизефирийских; Гермократ, сын Гермона — сицилиец, государственный деятель и военачальник, фактический правитель Сиракуз в годы Пелопоннесской войны, особенно отличившийся во время осады Сиракуз афинянами в 415–413 гг. (именно он руководил обороной города и заслужил своими действиями весьма лестную характеристику Фукидида как человек, «никому не уступавший в сообразительности, сильный военным опытом и славный мужеством»). Оба — и Тимей, и Гермократ — в Афинах чужеземцы: они приехали сюда по каким-то делам. Их, как и Сократа, принимает в своем доме Критий — четвертый участник беседы. Личность этого Крития не установлена так же определенно, как личности других участников беседы, и остается поэтому предметом споров. Долгое время считалось (это мнение было унаследовано еще от античной традиции), что Платон имел в виду своего дядю — Крития, сына Каллесхра, знаменитого афинского олигарха, главу правительства тридцати, а также философа — крупнейшего представителя старшей софистики и поэта, автора трагедии «Сизиф» и некоторых других произведений. Однако, начиная с 20-х годов XX в., это мнение было серьезно поколеблено. Некоторые исследователи (Барнет,

Тэйлор, Фридлендер и др.) после внимательного изучения текста диалога пришли к выводу, что Платон имел в виду не Крития Младшего — ученика Сократа и одного из тридцати тиранов, а его деда, внучатого племянника Солона — Крития Старшего. По его собственным словам, Критий услышал рассказ об Атлантиде, будучи десятилетним мальчиком, от своего собственного деда — тоже Крития, которому было тогда около 90 лет. В то время стихи Солона в Афинах были еще новинкой, хотя сам Солон, как это можно понять из приводимого Критием разговора, уже успел умереть. Путем весьма приблизительных подсчетов можно установить, что деду Крития было 90 лет, а ему самому десять — где-то около 510–505 гг. до н. э. Не совсем понятно, правда, почему стихи Солона, умершего лет за 50 до этого, только в это время начали входить в моду и были новинкой, как говорит Критий. Во всяком случае ясно, что, если мы примем эту дату — 510–505 гг. до н. э., маленький Критий никак не мог стать впоследствии софистом и тираном, ибо этот последний погиб в 403 г., будучи мужчиной лет пятидесяти, и, стало быть, рассказ об Атлантиде слышал не он, а его дед. В связи с этим важно было бы попытаться установить время действия самого диалога, но сделать это довольно трудно. Более или менее ясно лишь время года. Это скорее всего месяц Таргелион (май-июнь), но какого года, неизвестно. Высказывалось предположение, что беседа между Сократом и его друзьями могла происходить в годы Пелопоннесской войны, возможно, во время какой-то передышки между военными действиями: иначе было бы трудно объяснить появление в доме Крития двух чужеземцев: Тимея и особенно Гермократа. Если это действительно так, то временем действия в диалоге может быть либо 421 г. (после заключения Никиева мира), либо 411–410 гг. (время, когда у власти в Афинах было олигархическое правительство четырехсот). В первом из этих двух случаев Критию Старшему было бы уже около ста лет, во втором — больше сотни. Столь почтенный возраст рассказчика никак, однако, не оговаривается участниками беседы, что, вообще говоря, кажется странным. Возможно поэтому, что прежняя версия, согласно которой Платон имел в виду Крития Младшего — тирана и философа, стоит все же ближе к истине.

По содержанию «Тимей» тесно связан с известным утопическим трактатом Платона «Государство». Некоторые авторы считают даже, что вместе с «Государством» два последних платоновских диалога «Тимей» и «Критий» составляют некое подобие триптиха, связанного общностью темы, хотя первое из этих трех сочинений было написано раньше, чем два последних, — еще в 70-е годы IV в. Беседа в «Тимее» начинается с краткого (тезисного) изложения основного содержания «Государства». Сократ (*ил. 50*) делает это по просьбе Тимея, повторяя вкратце, по его

Ил. 50. Сократ. Герма. Неаполь. Музей

собственным словам, то, что он уже говорил накануне в присутствии тех же самых собеседников (здесь у Платона некоторая неувязка, так как на самом деле в беседе о государстве участвуют совсем другие лица). Далее Сократ признается друзьям, что испытывает чувство некоторого неудовлетворения от своего собственного проекта идеального полиса, поскольку он напоминает ему красивых и благородных животных, изображенных на картине, или же живых, но пребывающих в неподвижности. Ему же хотелось бы увидеть придуманное им государственное устройство в движении и лучше всего в состоянии борьбы с другими государствами, ибо только таким образом оно могло бы продемонстрировать свое превосходство над ними. Высказав такую мысль, Сократ обращается к другим участникам беседы: Критию, Гермократу и Тимею и, как бы вызывая их на состязание, предлагает им попробовать свои силы и рассказать о войне идеального государства с какими-то другими враждебными ему силами. Все трое, по его мнению, вполне подходят для такого дела, ибо в равной мере опытны и в философии, и в делах государственных в отличие от большинства поэтов и философов, которые опытом государственной, в особенности военной деятельности как раз не обладают.

Откликаясь на этот призыв, Гермократ напоминает Критию о каком-то древнем сказании, которое он уже поведал им в отсутствие Сократа, и предлагает теперь еще раз повторить его. Критий, не заставляя долго себя упрашивать, приступает к рассказу. Вначале он уведомляет своих слушателей об удивительном разговоре, который состоялся когда-то между Солоном и жрецами святилища богини Нейт в египетском городе Саисе. Один из жрецов поведал Солону то, чего не знал ни он сам, ни другие его сограждане. Из рассказа жреца следовало, что в незапамятные времена, еще до Великого потопа Афины — родной город Солона — были самым замечательным государством не только в Греции, но и во всем мире. Древние афиняне совершили немало славных деяний, но самым прославленным была их победа над грозными и могучими атлантами — обитателями огромного острова, лежавшего по ту сторону Геракловых столбов в Океане. Афиняне освободили от власти атлантов все население Ливии к западу от границ Египта и Европы к западу от Тиррении и как будто даже достигли самой Атлантиды. Но тут произошла катастрофа, уничтожившая этот остров, а вместе с ним, по-видимому, и афинское войско.

Рассказав о всех этих удивительных событиях в очень кратких и не всегда понятных выражениях, Критий говорит, обращаясь к Сократу, что готов повторить свое повествование еще раз и теперь уже не в сокращенном виде, но со всеми подробностями, т. е. так, как он сам когда-то услышал его от своего деда. При этом он отмечает удивительное сходство между идеальным государством, придуманным Сократом,

и древнейшими Афинами, о которых рассказал когда-то Солону египетский жрец. Сократ готов еще раз выслушать Крития, но тут план их беседы неожиданно меняется. Критий предлагает предоставить слово до сих пор молчавшему Тимею и просит его как знатока астрономии рассказать присутствующим все, что ему известно о возникновении космоса и природе человека, с тем, чтобы потом опять вернуться к разговору о древнейшем прошлом Афин и об Атлантиде. Сократ с радостью соглашается на такое предложение, и далее следует длинная речь Тимея об основах мироздания, составляющая бóльшую часть этого диалога (по существу, эта речь представляет собой единственный в своем роде систематический очерк платоновского объективного идеализма).

Логическим продолжением «Тимея» является второй платоновский диалог «Критий». По сути дела, они составляют вместе одно произведение, лишь разбитое на две части. В «Критии» мы снова видим тех же собеседников, что и в «Тимее». Тимей только что закончил свою лекцию о природе вещей и теперь, согласно уговору, снова передает слово Критию, и тот после некоторых колебаний начинает новую версию своего рассказа. На этот раз он подробнейшим образом описывает сначала древние Афины и образ жизни их граждан, а затем переходит к еще более подробному описанию Атлантиды. Рассказав о природе этой страны, ее главном городе, о его удивительных архитектурных сооружениях, он бегло затрагивает вопрос о политическом устройстве государства атлантов, говоря главным образом о их царях, и после этого неожиданно сворачивает свое повествование, начинает говорить о причинах упадка и гибели Атлантиды. Не раскрыв по-настоящему свою мысль (причины гибели атлантов остаются для нас в значительной мере неясными), он уже в чисто гомеровском духе собирается описать совет богов, на котором должна была решиться судьба Атлантиды. Но тут, как говорится, на самом интересном месте рассказ его неожиданно прерывается. Мы так никогда и не узнаем, что сказал Зевс на совете небожителей, как протекали прения и что же в конце концов боги сделали с этим чудесным островом. Создается впечатление, что Платон очень спешил поскорее закончить это, возможно, последнее и самое загадочное свое произведение, но так и не сумел это сделать (см.: Плутарх. Солон 31–32).

Своими двумя диалогами великий греческий философ загадал человечеству загадку, которую оно до сих пор тщетно пытается разгадать. «Тимей» и «Критий» ставят перед внимательным читателем множество вопросов. Но самый главный из них это, конечно же, вопрос об исторической реальности Атлантиды. Уже в древности этот вопрос разделил всех читателей Платона на две враждебные партии: верующих и неверующих. Среди скептиков, почти сразу же заподозривших неладное

в «правдивой истории» Платона, оказался его великий ученик Аристотель. Страбон цитирует его краткий, но уничтожающий приговор платоновскому мифу: «Тот, кто ее (т. е. Атлантиду) выдумал, тот же заставил ее и исчезнуть». Аристотель сравнивал измышленный Платоном загадочный остров со стеной, которую ахейцы, осаждавшие Трою, соорудили, согласно Гомеру, вокруг своего лагеря. Позднее боги ее уничтожили, так что от нее не осталось никаких следов. Аристотель полагал, что так же, как Гомер убрал со сцены своей эпопеи уже ненужную ему стену, так же и Платон избавился от Атлантиды, погрузив ее в пучину океана, дабы никто потом не стал допытываться о ее настоящем местоположении.

С недоверием писали об Атлантиде Страбон, Плиний Старший, Птолемей, крупнейший географ поздней античности, о ней вообще не упоминает[7]. Неоплатоники (Лонгин, Порфирий, Прокл и другие), а также некоторые из раннехристианских апологетов толковали платоновский миф чисто аллегорически, как символическое воплощение идей великого философа. Любопытно сообщение Прокла о том, что вопрос об Атлантиде был предметом дебатов, происходивших среди ученых, работавших в Александрийской библиотеке. Так что спор между атлантоманами и атлантофобами начался уже очень давно.

Однако людей, твердо уверовавших в правдивость рассказа Платона, оказалось все же больше, чем скептиков, подобных Аристотелю. Уже Крантор, первый издатель «Тимея» (около 300 г. до н. э.), был абсолютно убежден в том, что каждое слово этого диалога соответствует действительности, и даже предпринял специальную экспедицию в Египет, чтобы лично удостовериться в правдивости главных источников Платона. Во время этой поездки жрецы того же святилища богини Нейт, в котором был когда-то и Солон, будто бы показали Крантору всю историю Атлантиды в виде надписи, вырезанной на столбах храма. В истинности предания был уверен крупнейший философ, историк и географ II–I вв. Посидоний, которого Страбон упрекал за это в легковерии.

Атлантология и атлантомания

Слухи об Атлантиде очень скоро стали достоянием всеобщей молвы и, уже оторвавшись от материнского лона платоновского творчества, продолжали, как говорится, носиться в воздухе на протяжении всего периода поздней античности и затем эпохи средневековья. На карте мира, составленной итальянским географом Тосканелли дель Поццо около 1475 г. (этой картой, по преданию, пользовался Христофор Колумб, го-

[7] Об отношении древних писателей к Атлантиде см.: *Панченко Д. В.* Платон и Атлантида. Л.: Наука, 1990.

товясь к своему знаменитому плаванию через океан), все пространство к западу от побережий Европы и Африки заполнено множеством больших и малых островов, среди которых есть и остров Антиллия (возможно, искаженная форма названия Атлантиды). Не подлежит сомнению, что ранние плавания испанских и португальских моряков в Атлантике в значительной мере стимулировались слухами о лежащих в океане остатках затонувшего материка. Используя эти острова и архипелаги как путеводную нить, можно было рассчитывать добраться до противолежащего материка, в котором, с тех пор как в сознании европейских мореплавателей утвердилась мысль о шарообразности Земли, все хотели видеть Индию. Как остроумно заметил уже в наше время английский исследователь античной географии Томсон[8], «Платон, сам не подозревая об этом, открыл Америку задолго до того, как она была открыта в действительности».

Казалось бы, эпоха великих географических открытий, очистившая воды Атлантики от множества выдуманных античными и средневековыми географами архипелагов, должна была раз и навсегда покончить с разговорами о затонувшем материке. Однако в действительности этого не произошло. Напротив, чем меньше оставалось на поверхности океана предполагаемых следов Атлантиды, тем больше становилось людей, убежденных в том, что она все-таки существовала и остатки ее цивилизации до сих пор покоятся на морском дне. Уже в течение XVI–XVIII вв. вышло огромное количество всевозможной литературы, посвященной этой загадке мировой истории. Кто только ни занимался поисками Атлантиды и где только ни обнаруживали ее следов.

Большой вклад в атлантологию внесли представители разного рода оккультных наук, от так называемых розенкрейцеров до теософов. Некоторые из них сумели вступить в прямой контакт с душами давно умерших египетских жрецов, возможно, тех самых, с которыми когда-то беседовал в Саисе Солон, и от них получили самую достоверную информацию об истории и цивилизации атлантов.

Еще в 1530 г. итальянский гуманист Джироламо Фракастро высказал мысль о том, что туземные культуры индейцев Центральной Америки представляют собой западные ответвления цивилизации атлантов. Афанасий Кирхер, известный ученый XVII в., опубликовал в своей книге «Подземный мир» карту Атлантиды, определив ее местоположение по трем архипелагам: островам Зеленого Мыса, Канарским и Азорским островам, которые, в его понимании, были остатками горных цепей затопленного материка. Через десять лет после Кирхера швед Рудбек отыскал следы Атлантиды в Скандинавии, объявив ее столицей шведский

[8] *Томсон Дж.* История древней географии. М., 1953. С. 141.

город Упсалу. Француз Сансон, со своей стороны, с такой же легкостью обнаружил загадочную страну в Бразилии. Спустя сто лет другой француз аббат Бальи (близкий друг Вольтера) объявил, что Атлантиду следует искать за Полярным кругом в р-не Шпицбергена. Когда-то климат в этих местах был гораздо мягче, и здесь вполне могла развиться цивилизация, подобная атлантской. Когда наступило похолодание, жители Атлантиды покинули свой остров и вдоль побережья Северного Ледовитого океана добрались до устья Оби. Отсюда этот «просвещенный народ, первый изобретатель наук и наставник рода человеческого» двинулся в Сибирь, Монголию, а затем в Индию, Китай, Египет и Палестину, неся человечеству светоч знания. В конце XVIII в. великий французский натуралист Бюффон указывал на два маленьких островка у побережья Южной Африки: остров Вознесения и остров Св. Елены как на остатки Атлантиды. А другой соотечественник Бюффона Кадэ утверждал, что обломками Атлантиды могут быть только острова Северной Атлантики. Множество курьезных гипотез касательно местоположения Атлантиды было выдвинуто и в XIX–XX вв. Англичанин Фесседен помещал атлантов на Кавказе[9].

Оккультисты ввели в оборот много новых источников по истории Атлантиды, никому ранее не известных. Так, Елена Петровна Блаватская, одна из основательниц теософского учения, узнала много нового и интересного о цивилизации атлантов из некоей книги «Дзян», существовавшей лишь в двух экземплярах, один из которых хранился в каком-то тибетском монастыре, другой в Ватиканской библиотеке. Ей удалось прочесть таинственную книгу лишь с помощью ясновидения. Еще один важный источник, открытый теософами, так называемый Кодекс Троано — хранящаяся в Мадриде рукопись на языке древних майя. Этот текст был переведен и опубликован в 1895 г. французом Ле Плонжоном. Если верить переводу Ле Плонжона, неизвестные авторы «Кодекса» описали трагическую гибель континента Му, который так же, как и Атлантида, исчез в результате страшной катастрофы, унеся вместе с собой 64 млн человеческих жизней. Нетрудно догадаться, что это был взгляд на ту же Атлантиду, но уже с другого американского берега. Появилось свидетельство, которого так не хватало всем, кто верил в родство древнейших культур Мезоамерики и Египта через посредство цивилизации атлантов. Впоследствии, когда «Кодекс Троано» удалось наконец прочесть по-настоящему, он оказался всего лишь ритуальным календарем, не имеющим абсолютно никакого отношения ни к материку Му, ни к Атлантиде.

[9] Подробный перечень возникших в разное время гипотез см.: *Кондратов А. М.* Атлантиды моря Тетис. Л., 1986.

Создатели оккультной истории Атлантиды работали в тесном контакте с авторами бесчисленных фантастических романов, бравших свои сюжеты из той же сферы. Сейчас уже невозможно установить, кто под чьим влиянием находился: оккультисты под влиянием фантастов или наоборот. Скорее всего, идеи, использовавшиеся теми и другими, как говорится, носились в воздухе и могли считаться общим достоянием. Такова характерная в равной степени и для поклонников оккультных наук, и для писателей-фантастов тенденция изображать цивилизацию Атлантиды, предвосхитившей или даже превзошедшей многие важнейшие достижения современной науки. Атлантам приписывалась, например, заслуга создания реактивного двигателя. На своих сверхскоростных кораблях они будто бы совершали налеты на окружавшие их страны, приводя в ужас их полудикое суеверное население. Отсюда якобы ведут свое происхождение повсеместно бытующие мифы об огнедышащих змеях и драконах. Во время гибели Атлантиды часть атлантов сумела спастись, улетев на своих реактивных кораблях в Америку, Африку и даже на другие планеты. От этой легенды, по сути, один только шаг от пресловутой теории о вмешательстве инопланетян в развитие земных цивилизаций.

За свою многовековую историю предание об Атлантиде расплодило вокруг себя невероятное множество всевозможных фальшивок. О некоторых из них (сочиненной Блаватской книге «Дзян» и плонжоновском переводе «Кодекса Троано») я уже упоминал. Но, пожалуй, самым сенсационным из всех документов этого рода может считаться статья, опубликованная в 1912 г. в одной американской газете. Статья эта называлась «Как я нашел потерянную Атлантиду, источник всех цивилизаций» и была подписана неким Паулем Шлиманом, который рекомендовал себя читателям как внук знаменитого археолога, сын его сына Агамемнона. История, излагавшаяся в статье[10], смахивает на приключенческий роман самого низкого пошиба. В ней фигурирует тайное завещание великого археолога, в котором сообщалось о якобы сделанных им открытиях, еще более ошеломляющих, чем открытия в Трое и Микенах. Собственно, главные открытия были сделаны в той же Трое, но о них до поры до времени никто не знал. Среди предметов, составивших знаменитый клад Приама, Шлиман будто бы нашел бронзовую вазу с надписью, сделанной египетскими иероглифами: «От царя Хроноса из Атлантиды». В той же Трое будто бы была найдена еще и таблица, содержавшая текст древнеегипетского медицинского трактата с описанием операций по удалению катаракты и внутренних опухолей.

[10] См.: *Зайдлер Л.* Атлантида / пер. с польск. Б.м., 1966. С. 147 слл.

Еще один важный текст с упоминанием имени все того же таинственного царя Хроноса был будто бы прочитан Шлиманом на Львиных воротах в Микенах и т. д. в том же духе. Эта весьма незатейливо сработанная фальшивка вызвала в свое время немалый переполох и смятение умов. Но в конце концов даже и самые рьяные атлантоманы вынуждены были признать, что дело здесь нечисто, хотя сделали это не без боли сердечной. Уж больно соблазнительный был документ[11].

Своего пика атлантомания достигла на рубеже XIX–XX вв. Отчасти этому способствовали, несомненно, такие крупные археологические открытия, как раскопки Шлимана в Трое и Микенах, раскопки Эванса в Кноссе. В каждом из этих случаев как будто подтверждалась правота древних мифов, и в связи с этим крепла вера рьяных почитателей платоновского мифа в скрывающуюся за ним историческую реальность. Кроме того, сама духовная атмосфера рубежа веков, атмосфера предвоенного и предреволюционного времени была насквозь пронизана мистическими настроениями, ожиданием чего-то еще неслыханного и небывалого, каких-то таинственных, сверхъестественных событий, которым суждено изменить весь облик нашего мира или окончательно погубить его (эсхатология). Мечты о затерянных в океане материках, древних загадочных цивилизациях очень хорошо вписывались в это чередование отчасти тревожных, отчасти радостных ожиданий. Отсюда чрезвычайная популярность всевозможной полуфантастической или даже совсем фантастической литературы об Атлантиде, которая заполнила в это время книжные прилавки.

Крупнейшим специалистом в этой области и чуть ли не основателем атлантологии как особой отрасли науки был признан в это время американец Игнатиус Дóннелли. Его книга под броским названием «Атлантида: Допотопный мир» (Atlantis, the Antediluvian World), впервые опубликованная в Нью-Йорке в 1882 г., за семь лет выдержала восемнадцать изданий и была переведена на многие европейские языки[12]. Опираясь на информацию, взятую из диалогов Платона, Доннелли создал, по существу, совершенно новую, ошеломляющую теорию происхождения человеческой цивилизации. Ее родиной был, по его мнению, гигантский остров, расположенный в Атлантике как раз напротив входа в Средиземное море. Именно здесь зародились древнейшие религии человечества, в том числе поклонение солнцу, здесь была открыта технология обработки бронзы и железа, здесь же был изобретен первый алфавит,

[11] *Жиров Н. Ф.* Основные проблемы атлантологии. М., 1964. С. 235.

[12] *Доннелли И.* Атлантида. Мир до потопа. Самара, 1998 и 2000. Перевод А. О. Альбедиль.

заимствованный затем финикийцами. Отсюда, с территории Атлантиды, разошлись по свету почти все главные человеческие расы, в том числе арийцы, семиты и туранцы. Древнейшей колонией атлантов был Египет, но они заселили также побережье Мексиканского залива, тихоокеанский берег Южной Америки, Прибалтику и Причерноморье, добрались даже до Каспия.

Воспоминания об Атлантиде сохранились в преданиях и мифах различных народов как память о прекрасной, навсегда утраченной прародине человечества. Сады Эдема и сады Гесперид, Елисейские поля, греческий Олимп и скандинавский Асгард — за всем этим стоит память об Атлантиде. С легкой руки Доннелли легенда об Атлантиде стала использоваться как некое подобие универсальной отмычки ко всем тайнам и загадкам в истории нашей планеты. Мифы о великом потопе, известные у многих народов земного шара, — это, конечно же, эхо гибели Атлантиды. Странное сходство доколумбовых цивилизаций Центральной Америки с цивилизацией Древнего Египта опять-таки было бы необъяснимо, если не допустить, что связующим звеном между ними была цивилизация атлантов.

Доводы Доннелли произвели ошеломляющее впечатление на широкую читающую публику как в самих Соединенных Штатах, так и во многих европейских странах. У нас в России его идеи были подхвачены В. Брюсовым («Учители учителей»)[13] и несколько позже Мережковским. Однако с точки зрения строгой исторической науки его теория не выдерживала никакой критики. Поэтому ближайшие последователи Доннелли попытались придать его построениям бóльшую научную весомость, обратившись прежде всего к данным геологии. Один из них, Льюис Спенс, в своих работах, опубликованных уже в 20-е годы XX столетия, пытался доказать, что еще в позднетретичном периоде бóльшая часть Северной Атлантики была занята континентом, который впоследствии раскололся на две части: Атлантиду, расположенную неподалеку от Испании, и Антилию вблизи теперешней Вест-Индии[14]. Еще позднее, где-то около 10 000 г. до н. э., Атлантида окончательно исчезла под водой, Антилия же распалась на отдельные острова Вест-Индийского архипелага. Однако прежде чем это произошло, цивилизация Атлантиды успела распространить свое влияние на оба побережья Атлантического океана. Под ее влиянием, как думал Спенс, возникли в частности палеолитические культуры Западной Европы, в том числе кроманьонская, мадленская

[13] *Брюсов В.* Учители учителей // Брюсов В. Собрание сочинений в 7 т. Т. 7. М., 1975.

[14] *Спенс Л.* Атлантида. История исчезнувшей цивилизации. М., 2010.

и азильская. Присущее этим культурам высокое искусство наскальной живописи возникло среди совершенно дикого населения тогдашней Испании и Франции в результате деятельности каких-то миссионеров, прибывших сюда с берегов Атлантиды. Посеянные ими на Европейском континенте семена культуры в дальнейшем дали побеги по всей окружности Средиземноморского бассейна. Одним из этих побегов стала египетская цивилизация. На противоположном побережье Атлантики — в Центральной Америке то же воздействие атлантической цивилизации вызвало к жизни культуру майя. Спенса нисколько не смущали огромные хронологические промежутки порядка нескольких тысячелетий, разделяющие, скажем, палеолитическое искусство юга Франции и Испании и первые проблески египетской культуры и, с другой стороны, пирамиды Хеопса и Хефрена и пирамиды Паленке и других центров культовой деятельности древних майя. Да и геологические выкладки этого автора не так убедительны, как казалось вначале. Остатком древнего Атлантического континента Спенс склонен был считать прежде всего большой подводный кряж, тянущийся почти через всю Атлантику от Исландии до южных вод океана. Его высшими точками, выступающими над водой, можно считать Азорские острова, остров Вознесения и архипелаг Тристан да Кунья, хотя основная часть этой горной цепи пролегает в среднем на глубине в одну милю от поверхности океана. Однако в современной океанологии утвердилась иная точка зрения на происхождение этого хребта, прямо противоположная точке зрения Спенса и его единомышленников. Специалисты по подводной геологии полагают, что хребет этот образовался не в результате опускания суши в этой части Атлантики, а, наоборот, в результате изменения конфигурации дна океана, вызванного вулканической деятельностью. Если это действительно так, то все домыслы Спенса, Доннелли и в конечном счете самого Платона о затонувших материках, конечно, придется оставить без дальнейшего употребления.

Долгое время считалось, что Атлантида, если только она существовала на самом деле, могла находиться только в Атлантическом океане и нигде более. На это недвусмысленно указывал сам Платон, говоря об острове, лежащем в «Атлантическом море» перед входом в пролив, именуемый «Геракловыми столпами». Да и само название этого острова или материка — Атлантида — как будто говорит в пользу все той же локализации.

Однако если разобраться в этом вопросе по существу, то связь между названиями материка и океана, хотя отрицать ее невозможно, могла носить совсем иной характер. Оба названия могли возникнуть и независимо друг от друга как производные от одного и того же слова. Этим

словом было, несомненно хорошо известное каждому из греческой мифологии, имя титана Атласа, или Атланта, того самого, который, по представлениям древних, не зная отдыха, держал на своих плечах небесный свод. Название «Атлантида» можно, таким образом, истолковать как «остров Атласа», а «Атлантическое море (или океан)» как «море Атласа». Но местоположение самого Атласа вряд ли оставалось неизменным. Скорее всего оно менялось и, по мере того как расширялись географические представления греков, постепенно продвигалось все дальше на запад, пока не оказалось зафиксированным на крайнем западе Ливии в районе современного Марокко, где и теперь еще высится горный хребет, носящий имя Атласа.

Впрочем, уже Гомер помещает Атласа (в «Одиссее» — Od. I, 48 слл.) где-то очень далеко от мест человеческого обитания, хотя и трудно сказать, где именно. Атлас здесь уже подпирает небесный свод или, как буквально сказано, держит огромные столбы, разделяющие небо и землю. Дочерью Атласа, согласно Гомеру, была нимфа Калипсо, удерживавшая Одиссея на своем острове (и дочь, и отец характеризуются поэтом как чародеи. Соответственно Атлас назван здесь ολοόφρων, что можно понять либо как «всезнающий», либо как «зло замышляющий кознодей»). Остров Калипсо Гомер называет «пупом моря», очевидно, имея в виду его центральное положение по отношению ко всем другим островам и побережьям. Вообще говоря, это хорошо согласуется с предполагаемым положением Атласа не где-то на краю земного диска, а, наоборот, в самом его центре, если исходить из того, что он был единственной опорой небесного свода, хотя уже Гесиод в «Теогонии» (517–519) ставит его на краю земли.

Очевидно, название «Атлантическое море» появилось на древнегреческих картах мира лишь тогда, когда греки достаточно хорошо изучили все Западное Средиземноморье и открыли выход в океан через Гибралтарский пролив. Сейчас трудно сказать, когда именно это произошло. Точно так же мы не знаем и когда было установлено местоположение Атласа на крайней западной оконечности Ливийского материка неподалеку от побережья океана. Во всяком случае, это произошло задолго до того, как были написаны платоновские диалоги «Тимей» и «Критий». Первым античным автором, у которого мы встречаем название «Атлантическое море», был Геродот, хотя отсюда, конечно, не следует, что он же впервые ввел его в употребление. Это мог сделать и Гекатей Милетский, и кто-нибудь другой из числа его предшественников. Геродот вроде бы ничего еще не знает об острове Атлантида, но ему уже известно племя атлантов, обитающее в оазисе в пустыне, лежащей далеко на запад от Египта.

Атлантами этот народ назывался, если верить Геродоту, по горе Атлас, находившейся в населенной ими местности. Геродот еще верит в то, что Атлас действительно был столпом, поддерживающим небо, хотя уже и не человекообразным титаном. «Как и подобает такому столпу, — пишет историк, — он узок, совершенно круглый и так высок, что вершина его никогда не бывает видна».

Платон, несомненно, знал то, что рассказывали его предшественники об Атласе, атлантах и Атлантическом море. Однако свою Атлантиду он решил вынести за пределы более или менее изученного греками средиземноморского мира и даже не захотел оставить ее на крайнем западе Африки, о которой Геродот, как это видно из его рассказа, имел лишь самые смутные и неясные представления. Что его побудило к этому? Объяснения могут быть различными. Если предположить, что Платон, как он сам это утверждает, использовал какую-то древнюю традицию, восходящую по крайней мере к VI в. до н. э., то в этой традиции Атлантида действительно могла быть островом, а не частью материка. А так как для размещения большого и могущественного государства, каким философ представлял себе Атлантиду, нужна была достаточно внушительная территория — такая, какой не обладал ни один из островов Средиземноморья, Платон счел за лучшее вынести свой остров за пределы Средиземного моря на просторы Атлантики. Только здесь и мог поместиться этот остров, превышающий своими размерами, как утверждает Платон в «Тимее», Ливию и Азию вместе взятые.

Возможно и еще одно объяснение. Уже давно замечено, что война между Афинами и Атлантидой в описании Платона отдаленно напоминает некоторые центральные эпизоды в истории греко-персидских войн, например нашествие Ксеркса на Элладу. Можно предположить поэтому, что философ строил свой рассказ по принципу, если можно так выразиться, «исторической симметрии». В войне с персами афинянам и всем остальным грекам угрожала опасность с востока, в войне с атлантами — с запада. В первом случае афиняне дали отпор огромной сухопутной державе, во втором еще более огромной морской империи. В главном эти две истории как бы повторяют друг друга. В обоих случаях афиняне одерживают решительную победу над чужеземными пришельцами и спасают от порабощения не только самих себя, но и всю остальную Элладу.

Наконец, если все же допустить, что в глубине души Платон сознавал, что он пишет не историю в строгом смысле этого слова, а нечто вроде фантастического романа (позднее мы еще специально вернемся к этому вопросу), то вполне естественным было бы его стремление перенести описываемые им события, а главное, саму придуманную им державу атлантов как можно дальше за пределы обжитой греками ойкумены,

куда-нибудь на край света, где могло произойти все что угодно и даже целый материк мог исчезнуть в глубинах океана, не оставив никаких или почти никаких следов. В этом случае Платон поступил бы вполне логично, как и до сих пор еще поступают писатели-фантасты, перенося действие своих произведений куда-нибудь подальше от проторенных человеком путей, например в глубины Вселенной, на другие планеты, так как на самой Земле места для сказочных происшествий уже почти не осталось.

Поистине фантастическая грандиозность событий, описываемых в «Тимее» и «Критии», всегда отпугивала от рассказа Платона трезво мыслящих ученых. Первым из них был, как я уже говорил прежде, Аристотель. Но у него нашлось немало последователей уже в наше время. В основном это были, как нетрудно догадаться, знатоки древней истории и знатоки самого платоновского творчества — филологи-классики. Все они подходили к оценке мифа об Атлантиде, разумеется, совсем с иными критериями, нежели блестящие дилетанты вроде Доннелли, Спенса или Д. С. Мережковского. Их поражала историческая и географическая несуразность целого ряда важных деталей в повествовании Платона.

Огромное расстояние, отделяющее Атлантиду от Аттики и вообще от Греции, казалось бы, уже должно было сделать невозможным прямое столкновение между этими двумя народами. Немыслимой кажется хронология платоновского рассказа. Атлантида, по его словам, погибла за 9 тыс. лет до посещения Египта Солоном. Невозможно представить себе высокоразвитую цивилизацию, основанную на широком использовании разных металлов, знакомую с кораблестроением, градостроением, письменностью, законами, государственными учреждениями, возникшую в то время, когда все остальное человечество еще прозябало во мраке первобытной дикости, если, конечно, не допустить, что создателями цивилизации атлантов были пришельцы из космоса (весьма популярная сейчас теория, на которой мы, однако, не будем задерживаться).

Виднейший советский атлантолог Н. Ф. Жиров пытается как-то сгладить этот контраст между высокой культурой атлантов и дикостью всего остального человечества. Для этого он, с одной стороны, стремится доказать, что на самом деле культура атлантов была не такой уж высокой (с этой целью он помещает ее в эпоху халколита или энеолита, т. е. время перехода от камня к металлу, и пытается связать с так называемыми мегалитическими культурами Западной Европы и Северной Африки), с другой же стороны, пытается подтянуть дату рождения древнейших цивилизаций Евразии и Центральной Америки к предполагаемому времени существования Атлантиды. Как та, так и другая операции не обходятся без весьма рискованных хронологических натяжек. С текстом

платоновских диалогов Жиров обращается весьма произвольно, полагая, что в них можно легко и просто отделить элементы вымысла и фантастики от элементов исторической реальности. Для этого, дескать, надо только строго придерживаться метода последовательного исключения всего маловероятного и так до тех пор, пока не получим некую квинтэссенцию мира, которая непременно должна заключать в себе вполне правдоподобную историческую истину. Жиров забывает упомянуть лишь о том, что этот метод, который он для большей авторитетности объявляет методом, свойственным точным наукам, существует уже очень давно. Им блестяще пользовались уже самые первые греческие историки, приходя подчас к совершенно удивительным результатам. Так, один из логографов — Акусилай Аргосский, тщательно проанализировав миф о похищении Европы и устранив из него маловероятное сообщение о превращении Зевса в быка, остановился на более правдоподобной версии, согласно которой Европа была похищена дрессированным быком, специально обученным и подосланным Зевсом.

Рассуждая примерно в том же духе, что и Акусилай, Жиров решительно рассекает платоновский миф на две части. Одна часть — описание праафинского государства — отбрасывается им как явная утопия, отражающая политические взгляды Платона и ничего более. Другая часть — описание Атлантиды, хотя и с некоторыми оговорками о том, что Платон и здесь тоже мог дать волю своей фантазии, принимается за подлинное историческое ядро всего рассказа. Что касается самой фабулы, соединяющей эти две темы — предания о войне между древними Афинами и Атлантидой, — то тут Жиров твердо уверен, что никакой такой войны быть не могло, а появилась она лишь потому, что ее придумали хитрые египетские жрецы для того, чтобы убедить Солона в необходимости союза между Египетским царством и Афинами. Вот так легко и просто, оказывается, распутываются все узлы, завязанные гениальным философом в его диалогах. Надеюсь, вы понимаете, что эта простота — не более чем обманчивая видимость, которой может поддаться лишь такой неопытный историк, как почтенный Николай Феодосьевич.

Если пренебречь совершенно нелепыми домыслами о якобы имевшем место влиянии атлантической цивилизации на палеолитические культуры Южной Европы, то никаких осязаемых следов этой цивилизации до сих пор не удалось обнаружить ни на дне Атлантического океана, ни на его островах и побережьях. Бессмысленно было бы искать также и какие-либо материальные остатки праафинской и праегипетской культур, синхронных Атлантиде. Наконец, геология, как мы уже видели, скорее противоречит платоновской легенде о затонувшем материке, чем подтверждает ее.

Очевидная чуть ли не со всех точек зрения уязвимость атлантической версии мифа об Атлантиде уже давно поставила вопрос о ее пересмотре, о необходимости внесения в нее ряда весьма существенных корректив, разумеется, в том случае, если мы останемся на позиции исконного историзма платоновской легенды, т. е. захотим во что бы то ни стало доказать, что в ней, несмотря на весьма значительный элемент вымысла, есть и некое зерно истины, которое может быть извлечено из-под напластований литературной фикции путем тщательного научного анализа.

Самый простой выход из создавшегося затруднительного положения — попытаться как-то понизить совершенно чудовищную, с точки зрения современной исторической науки, датировку гибели Атлантиды — более чем за 9,5 тыс. лет до н. э. Некоторые авторы полагают, что Платон или, может быть, используемый им источник просто ошибся и вместо цифры 900 лет поставил 9000 (так же ровно в десять раз увеличены и все другие цифры). Но одной хронологической поправки здесь мало, и чтобы ввести содержание платоновского мифа в рамки правдоподобия, наиболее решительно настроенные приверженцы его историчности идут на крайний шаг, утверждая, что Платон напутал не только в хронологии, но и в географии и перенес в Атлантический океан, за столбы Геракла, события, которые в действительности происходили в пределах Средиземноморья и, в сущности, совсем недалеко от его родных Афин.

Еще в 1854 г. русский путешественник и ученый Авраам Сергеевич Норов (при Николае I он занимал некоторое время пост министра просвещения) написал большую статью об Атлантиде[15], в которой доказывал, что первоисточником платоновского мифа являются книги Ветхого завета. Саму Атлантиду Норов поместил в Средиземном море поближе к Палестине. Он считал, что этот остров занимал когда-то все пространство от Кипра до Сицилии.

В течение XIX — первой половины XX в. появилось по меньшей мере два десятка гипотез, создатели которых искали ее во всех концах Средиземноморья. Одни помещали ее на африканском побережье в районе современного Туниса и Марокко, другие в Испании, отождествляя ее с не менее загадочной Тартессидой на нижнем течении Гвадалквивира (гипотеза Шультена), третьи — у берегов Италии в Тирренском море (гипотеза итальянца Руссо о том, что потомками обитателей этой Тирреиды были этруски). Однако наиболее устойчивой оказалась локализация Атлантиды в Эгейском бассейне. В разное время к этой идее возвращались разные авторы, в том числе у нас в стране сначала (в конце

[15] *Норов А. С.* Атлантида // Путешествия А. С. Норова. Т. V. Путешествие к семи церквам, упоминаемым в Апокалипсисе. 2-е изд. СПб., 1854. С. 1–55.

XIX в.) Карноржицкий, а позднее, уже в 20-е гг. XX века, академик Берг. Помимо доводов чисто геологического характера в пользу этого варианта решения проблемы говорили прежде всего сенсационные археологические открытия, сделанные в начале века на Крите. На этой (критской или минойской) версии истолкования платоновского мифа я хотел бы остановиться сейчас специально потому, что она производит на первый взгляд наиболее правдоподобное впечатление среди всех других возможных версий.

В 1909 г., спустя лишь несколько лет после открытия дворцов в Кноссе и Фесте, в газете «Таймс» появилась статья, подписанная неким Фростом, сотрудником Белфастского университета. Статья называлась «Потерянный континент» и была посвящена, как нетрудно догадаться, вопросу о местонахождении Атлантиды[16]. Фрост был убежден, что Атлантиду искали до сих пор совсем не там, где она находилась в действительности. Изображая в деталях загадочный остров или материк и помещая его далеко на западе, в Атлантике, Платон, сам не подозревая об этом, описал минойский Крит таким, каким он стал известен в последние годы благодаря открытиям археологов. Фрост обратил внимание на целый ряд конкретных подробностей в платоновском описании Атлантиды, которые позволяют отождествить ее с Критом в эпоху расцвета минойской цивилизации, т. е. около середины II тыс. до н. э. Островное положение государства атлантов, его из ряда вон выходящее морское могущество, делавшее его столь грозным для народов материка, великолепно устроенная гавань, ванные комнаты и стадионы — все это живо перекликается с тем, что нам известно о Крите и его культуре. Особенно поразило Фроста описание жертвоприношения, которое устраивали цари Атлантиды в святилище Посейдона. Во время этого жертвоприношения они должны были собственноручно с помощью одних только палок и веревок без всякого оружия изловить одного или нескольких диких быков и принести их в жертву владыке моря. Именно этот обряд был изображен, как считал Фрост, на знаменитом золотом кубке из Вафио и некоторых других произведениях минойского искусства. Статья Фроста прошла почти незамеченной и вскоре была забыта (тон в атлантологии начала XX в. задавали последователи теории Доннелли, которые и слышать не хотели ни о какой иной Атлантиде, кроме той, которую они привыкли представлять себе скрытой под водами Атлантического океана).

Снова вспомнили об этой забытой гипотезе лишь в 50-е годы, когда все более широкое внимание начала привлекать к себе оригинальная

[16] См. также: *Frost K. T.* The *Critias* and Minoan Crete // JHS. 1913. XXXIII. P. 189–206.

концепция греческого археолога Спиридона Маринатоса — концепция грандиозной вулканической катастрофы, главным очагом которой был небольшой остров Санторин (древняя Фера), лежащий в 120 км к северу от берегов Крита. Именно эта катастрофа, согласно Маринатосу, послужила главной причиной гибели минойской цивилизации. Эта мысль впервые была высказана и аргументирована в 1939 г. в статье, которую Маринатос опубликовал в журнале «Antiquity». Затем, уже после II Мировой войны, в 1950 г., Маринатос снова вернулся к этому сюжету и попытался, отталкиваясь от своей же собственной гипотезы, истолковать миф об Атлантиде (его статья, посвященная специально этому вопросу, вышла на греческом языке в журнале «Kretika Chronica»). Подобно Фросту, Маринатос исходил из того, что Атлантида у Платона — это всего лишь псевдоним, за которым скрывается вполне реальный остров Крит. Однако аргументация Фроста была усилена в его статье новым и очень важным доводом. Если Фрост видел причину гибели минойской культуры во вторжении на остров какого-то враждебного племени, скорее всего ахейцев, то, по Маринатосу, этой причиной могла быть лишь грандиозная стихийная катастрофа, хотя и не уничтожившая Крит, но сделавшая его на долгое время непригодным для жизни. Такой поворот дела, конечно, уже довольно близко напоминает события, описываемые Платоном в его двух диалогах. Гипотеза Маринатоса почти сразу же нашла себе многочисленных сторонников среди археологов и историков. Но настоящая ее популярность началась лишь в конце 60-х — начале 70-х гг. после новых удивительных открытий, сделанных самим Маринатосом на Санторине.

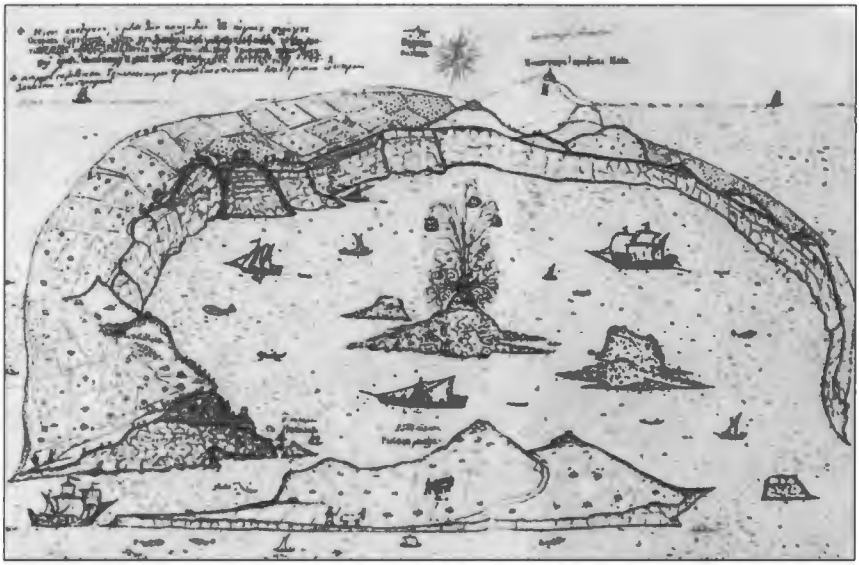
Эти открытия, да и сам остров Санторин заслуживают того, чтобы поговорить о них более обстоятельно.

Санторинская катастрофа. Гибель минойской цивилизации

Санторин — самый южный и поэтому ближе всего расположенный к Криту из островов Кикладского архипелага. Кроме его древнего названия Фера нам известны еще два других: Каллисте — «Прекраснейший» и Стронгиле — «Круглый». Оба эти названия мало подходят к острову в его теперешнем состоянии, но, возможно, они восходят к тем весьма отдаленным временам, когда Санторин действительно был очень красивым островом и очертания его берегов вписывались в почти идеальный круг (*ил. 51, 52*). В те времена остров, имевший в поперечнике, вероятно, свыше десятка километров, служил основанием большой вулканической горы, высота которой могла достигать по приблизительным подсчетам геологов

Ил. 51. Санторин. Рисунок голландского картографа Олферта Даппера 1688 года

около 1600 м. Склоны горы были покрыты лесом, а в прибрежных долинах на плодородной вулканической почве мог произрастать виноград и другие культурные растения. Теперь от былой привлекательности острова почти ничего не осталось. Форма острова уже далека от идеального круга. В сущности, единого острова больше уже не существует. Современный Санторин — это всего лишь обломки древней Феры. Обломков этих несколько. Два самых больших — собственно Фера (или Тира) и островок поменьше Ферасиа — образуют замкнутую почти со всех сторон бухту с двумя входами: один на северо-западе, другой (пошире первого) — на юго-западе (см. цветную карту). Место это и сейчас не лишено своеобразного мрачного величия и красоты. Крутые скалистые берега бухты, почти отвесно обрывающиеся в воду, сложены из темных вулканических пород и во многих местах покрыты наслоениями пемзы и вулканического пепла белого или желтовато-коричневого цвета (тефра). Высота береговых обрывов достигает двухсот пятидесяти метров, глубина бухты у бере-



Ил. 52. Санторин. Рисунок русского монаха и пилигрима Василия Григорьевича Барского 1745 года[17]

гов от 200 до 400 м (корабли, прибывающие на Санторин, не могут поэтому встать здесь на якорь — он не достигает до дна — и швартуются поэтому к большим буям, закрепленным на длинных цепях). Панорама бухты так же, как и линия внешних берегов Санторина, до сих пор напоминает о некогда происходивших здесь грандиозных катаклизмах (*ил. 53*).

По своей природе Санторинская бухта представляет собой не что иное, как вулканическую впадину — кальдеру, заполненную морской водой. Вулканическая активность не прекратилась здесь и по сие время. Ее центром являются лавовые островки Неа Камени и Палеа Камени (буквально «горящие острова»), расположенные как раз посередине бухты. Они увеличиваются в размерах после каждого нового извержения и со временем, вероятно, заполнят всю бухту. По существу, Санторин остается сейчас единственным действующим вулканом в Эгейском бассейне. Уже в XX столетии остров пережил по крайней мере три крупных извержения: в 1925–1926 гг. (*ил. 54*), в 1938–1941 и в 1956 г. Последнее разрушило 2400 домов и унесло 53 человеческих жизни. Но даже самые страшные извержения, оставшиеся в памяти жителей Санторина, не идут

[17] *Барский В. Г.* Письма пешехода Василия Григорьевича Барского (1723–1746) / публ. А. Лазаревского // Русский архив. 1874. Кн. 2. Вып. 9. Стб. 513–532. Этим примечанием я обязана любезности Николая Федоровича Саввониди.

Ил. 53. Санторин. Извержение вулкана в 1866 г., запечатленное в журнале того времени

ни в какое сравнение с той поистине титанической катастрофой, которая произошла здесь когда-то в глубокой древности и, в сущности, до основания разрушила и сам вулкан, и остров, на котором он находился.

Толщина слоя вулканических отложений на Санторине в некоторых местах достигает 66 м. Первоначально она была, по-видимому, гораздо больше: за тысячелетия, истекшие со времени извержения, значительная часть пепла и пемзы была смыта дождями в море. Как считают специалисты-вулканологи, такая огромная масса продуктов вулканической деятельности не могла образоваться обычным путем даже при многократно повторявшихся извержениях. Слой пепла и пемзы такой толщины мог возникнуть только в том случае, если бы все содержимое вулкана было сразу выброшено наружу. А это предполагает взрыв такой силы, что он неизбежно должен был уничтожить сам вулкан или точнее его кратер. Взрыв расколол кратер, как глиняный горшок. Его стенки, не выдержав собственной тяжести, обрушились, и огромные массы морской воды, хлынув в образовавшийся провал, затопили его. Так образовалась теперешняя кальдера Санторина.

О масштабах и характере этой катастрофы можно судить по аналогичным событиям, происходившим в сравнительно недавние времена и наблюдавшимся множеством очевидцев. Наиболее известное явление

Ил. 54. Санторин. Выброс вулканических газов из кратера Неа Камени в 1926 году

этого рода — грандиозное извержение вулкана Кракатау в Индонезии в проливе Сунда между Явой и Суматрой, произошедшее 27 августа 1883 г. Чудовищный грохот этого извержения был слышен даже в Австралии и на островах Тихого океана, удаленных от места катастрофы на 3 тыс. с лишним морских миль. Все море вокруг вулкана на пространстве в тысячи км^2 было покрыто слоем пемзы. Приливная волна огромной силы обрушилась на побережье Южной Африки в р-не мыса Горн. Воздушный вихрь, образовавшийся на месте извержения, три с половиной раза пронесся вокруг земного шара со скоростью 700 миль в час. На протяжении многих месяцев после катастрофы во многих странах далеко за пределами Индийского океана наблюдались необычные атмосферные явления: солнце на восходе становилось зеленым, затем голубым, луна также меняла окраску, повсюду можно было видеть необыкновенно красочные закаты (результат преломления световых лучей, проходящих через тонкое облако вулканической пыли, достигшей верхних слоев атмосферы). Конечно, самые ужасные бедствия выпали на долю тех мест, которые находились в непосредственной близости от вулкана. Здесь царила паника. Мысль о светопреставлении напрашивалась сама собой. Тьма среди бела дня, длившаяся 5–7 часов в радиусе 50 миль. Разрушенные дома, выбитые окна и двери на расстоянии в 100 миль. Падающий с неба горячий пепел.

Погибшие плантации. Заваленные пеплом источники и колодцы. Наконец, гигантская приливная волна (ее высота достигала 15, а в некоторых местах 30 м). Обрушившись с невиданной силой на побережье Явы и Суматры, она смыла все прибрежные города и поселки, погубила множество судов. Всего за время этой катастрофы погибло более 36 тыс. человек.

По предположениям вулканологов, санторинское извержение по своим масштабам не уступало извержению Кракатау, а, может быть, даже превосходило его. Во всяком случае кальдера Санторина почти в четыре раза превосходит по площади кальдеру, образовавшуюся на месте взрыва Кракатау. В битком набитой островами и полуостровами акватории Эгейского моря извержение такого масштаба могло иметь такой же разрушительный эффект, как взрыв мощного термоядерного устройства. Пробы вулканического пепла, взятые с морского дна в южной части Эгеиды, а также за ее пределами в водах Средиземного моря, показали, что образовавшееся при извержении облако пепла двигалось в юго-восточном направлении, захватив на своем пути многие острова, в том числе всю центральную и восточную части Крита. Общая площадь дна, покрытого слоем пепла, составляет около 300 тыс. $м^2$. Этот слой тянется на расстояние 700 км от Санторина и местами достигает толщины более 200 см.

Но как определить дату санторинского извержения? К этой проблеме возможны два подхода. Один подход с помощью так называемого радиокарбонового метода пока еще не принес сколько-нибудь надежных результатов. Радиоуглеродный анализ обуглившегося древесного ствола, извлеченного из-под наслоений вулканического пепла, позволяет предполагать, что катастрофа произошла где-то между 1603 и 1413 гг. до н. э. Амплитуда колебания в установлении искомой даты получается, таким образом, около 200 лет. Это вынуждает археологов обратиться к более сложному, но вместе с тем и более испытанному способу датировки с помощью найденной во время раскопок керамики. Почти вся керамика, найденная на Санторине (теперь после раскопок Маринатоса насчитывается несколько тысяч сосудов), принадлежит к одному и тому же периоду, который в составленной Эвансом хронологической таблице истории минойской культуры назван позднеминойским IA периодом (ПМ IA). Его хронологические рамки колеблются (у разных авторов) между 1600–1520 гг. и 1575–1500 гг. (такие колебания в датировке стилей минойской вазовой живописи — весьма обычное явление в современной археологической литературе). Сам Маринатос до начала своих раскопок склонен был думать, что катастрофа произошла где-то около 1520 г. Потом он стал склоняться к более поздней датировке — около 1500 г. Однако тотальные разрушения на Крите, которые Маринатос пытался связать, как мы уже знаем, с извержением санторинского вулкана, от-

носятся к более позднему времени. Большинство археологов датирует их ПМ IB периодом, для которого характерны замечательные вазы так называемого морского стиля с изображениями осьминогов, наутилусов и других морских животных (*ил. 55*). На Санторине до сих пор не удалось найти ни одной вазы такого типа. Как это объяснить? Внимательное изучение вулканических отложений на берегах острова показало, что

Ил. 55. Позднеминойская ваза морского стиля. Ок. 1500 г. до н. э.

трагическая развязка наступила не сразу. Между пробуждением вулкана и взрывом, приведшим к образованию кальдеры, прошло довольно длительное время, может быть, несколько десятилетий. Можно предположить, что при первых же признаках пробуждения вулкана население острова собрало все самое ценное, что у него было, село на корабли и бежало куда глаза глядят. Так можно объяснить то немаловажное обстоятельство, что при раскопках поселения Акротири (самого большого из всех открытых на Санторине) не было найдено никаких сколько-нибудь ценных вещей, а также человеческих останков (этим Санторин отличается от римских Помпей, обитатели которых были захвачены врасплох внезапно обрушившимся на них извержением Везувия). Этим же объясняется, по-видимому, и отсутствие на острове керамики «морского стиля»: он был покинут своими обитателями еще до того, как первые вазы этого стиля были созданы критскими гончарами и художниками. А. Эванс относил окончание ПМ IB периода к 1450 г. Сейчас некоторые археологи передвигают эту дату вверх к 1470 г. Следовательно, вулканическая катастрофа, уничтожившая остров Санторин, опустошившая Крит и, видимо, также другие острова Южной Эгеиды, должна была произойти где-то между этими двумя датами.

Археологические раскопки на Санторине начались еще в 60-х годах XIX века. Толчком к их началу послужили случайные находки остатков древних строений. Эти находки были сделаны на островке Ферасиа (западная часть Санторинского архипелага) рабочими, добывавшими пемзу для производства цемента (его отправляли затем на строительство Суэцкого канала в Египет). За раскопки взялся сначала сам хозяин карьера Алафузос, которому помогал местный врач — доктор Номикос, затем к ним присоединился французский геолог Фуке. Позднее (уже в 70-х гг.) раскопки были перенесены на остров Феру, и здесь в районе деревни Акротири, неподалеку от того места, где уже в наше время работал со своими сотрудниками Спиридон Маринатос, были открыты первые дома поселения минойской эпохи, найдены первые фрески, расписная керамика, изделия из дерева, металла и даже ткани, сохранившиеся в наглухо запечатанных огромной массой пепла и пемзы и лишенных доступа воздуха помещениях. Эти раскопки вели археологи французской школы в Афинах Маме и Горсье. Однако дальше этих первых находок дело в то время не пошло: чрезвычайно сложные условия раскопок в толще вулканических отложений требовали не только очень больших денежных средств, но и такого технического оснащения, которое было недоступно тогдашним археологам. В дальнейшем (уже в самом конце XIX в.) систематические раскопки на Санторине были предприняты немецкой археологической экспедицией под руководством Гиллера фон Гертрингена.

Ил. 56. Спиридон Маринатос на раскопках Акротири

Однако на этот раз объектом исследования стало не поселение эпохи бронзы, а гораздо более поздний греческий город классического и эллинистического времени (он находился на восточном внешнем берегу острова Феры в районе мыса Мессавуно). Во время этих раскопок удалось сделать лишь несколько случайных находок, свидетельствующих о том, что история острова уходит далеко в глубины II тыс. до н. э. Одной из таких находок был великолепный бронзовый кинжал, украшенный инкрустацией, изображающей боевые топоры (ср. клинки из шахтовых могил). Немецкий археолог Цан приобрел его у местного крестьянина, который нашел эту редкую вещь, вскапывая свой виноградник.

После очень большого перерыва раскопки на Санторине возобновились лишь в 1967 г. На этот раз их целью были с самого начала поиски следов культуры эпохи бронзы, предшествующих вулканической катастрофе или же синхронных с нею. Руководитель греческой археологической экспедиции, в то время уже маститый ученый с мировым именем Сп. Маринатос возлагал на эти раскопки большие надежды, рассчитывая, что с их помощью он сумеет доказать правильность своих давних предположений о причинах, вызвавших упадок минойской цивилизации Крита (*ил. 56*). Местом раскопок Маринатос выбрал глубокую лощину, опускающуюся к морю неподалеку от деревни Акротири, на юго-западной оконечности острова Феры. Слой пемзы и пепла был здесь сильно размыт водой ручья и дождями, что в значительной степени облегчало

работу археологов: им не пришлось особенно глубоко закапываться в толщу вулканических отложений.

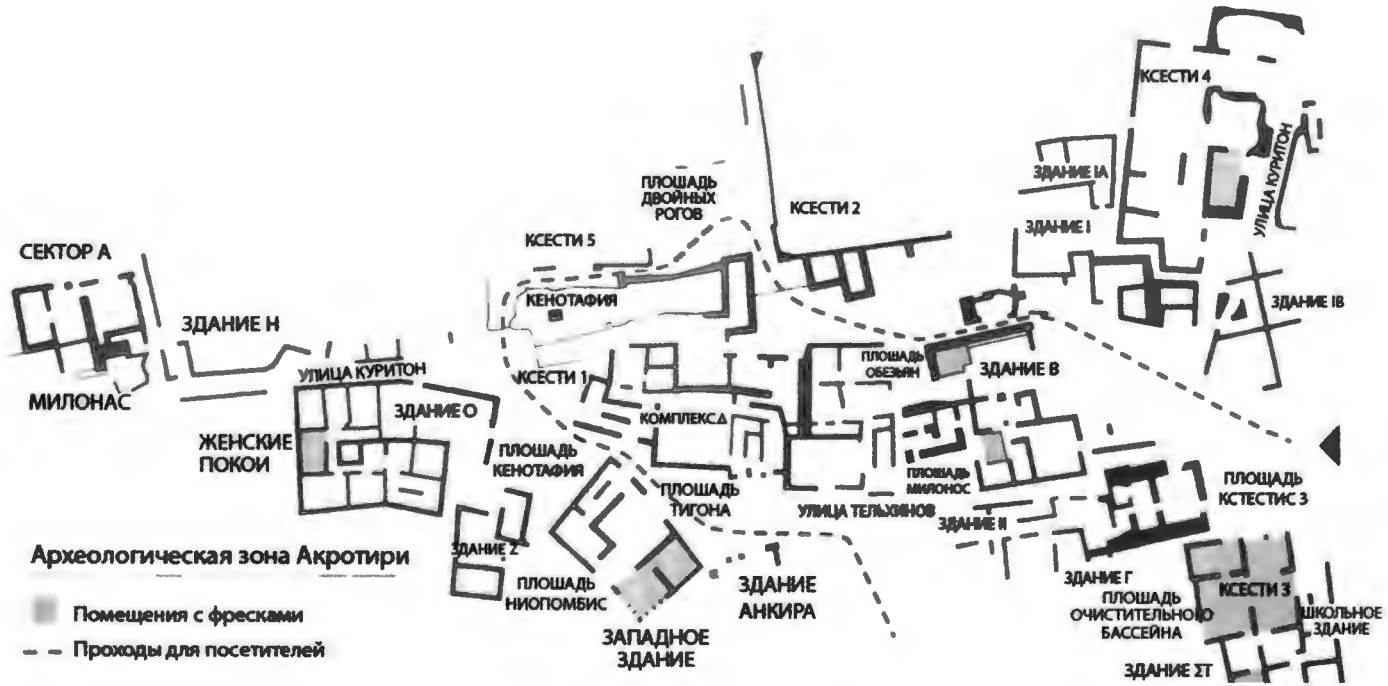
Раскопки велись по хорошо продуманной системе, с большой тщательностью. Сквозь толщу пемзы и пепла прокладывались длинные тоннели, которые потом постепенно расширялись. Каждая вновь открытая постройка или участок улицы перекрывались специальной крышей из гелленита, под прикрытием которой велись дальнейшие работы. Сам Маринатос пишет, что он поставил своей целью превратить открытое им поселение в музей и поэтому требовал от своих сотрудников чрезвычайно бережного отношения буквально к каждому камню в стене дома или в вымостке.

За восемь лет раскопок (они продолжались с 1967 по 1974 г.) был открыт целый жилой квартал двух- и трехэтажных домов, тянущийся в направлении с севера на юг вдоль русла ручья на расстояние в 150–160 м, и, кроме того, несколько отдельно стоящих домов[18]. Маринатос был уверен, что этот квартал составляет лишь часть большого поселения (*ил. 57*). По его расчетам, это поселение должно было занимать весь полуостров Акротири, как говорится, от моря до моря, причем мы не должны забывать о том, что бóльшая его часть могла обрушиться в море во время вулканического взрыва. Можно предполагать, что когда-то это был многолюдный и процветающий приморский город вроде уже известных минойских поселений на самом Крите и ближайших к нему островах Эгейского моря. О высоком жизненном и культурном уровне обитателей древнего Акротири свидетельствуют уже сами их жилища (см. цветн. вклейку).

Дома в городе имели по два и даже по три этажа, по несколько комнат в каждом из них. Стены домов были тщательно выложены из хорошо отесанных каменных плит. Некоторые из них даже украшены по фасаду мрамором. Внутренние помещения домов были оштукатурены, а в некоторых местах еще расписаны великолепными фресками, по своим художественным достоинствам нисколько не уступающими знаменитым фрескам критских и микенских дворцов. При раскопках в Акротири не удалось найти ни одной золотой или серебряной вещи. Очевидно, они покинули остров вместе с его обитателями. Зато во время бегства жители города оставили в домах много высококачественной керамики как местного производства, так и импортированной с Крита. Теперь эти сосуды служат важным подспорьем в хронологических калькуляциях ученых, пытающихся определить время гибели поселения.

Среди построек Акротири нет ни одной, которая по своей архитектуре и планировке могла бы сойти за дворец. Существовал ли он

[18] *Marinatos Sp.* Kreta, Thera und das mykenische Hellas. 2. Aufl. München, 1986.



Ил. 57. Акротири. План поселения

Ил. 58. Корабль Феры. Ок. 1500 г. до н. э.

здесь вообще, возможно, так никогда и не удастся узнать, если только не предположить, что он находился в той части поселения, которая скрылась под водой. По-видимому, и в уже открытых домах города жили достаточно богатые и знатные люди. Маринатос думал, это были в основном судовладельцы и капитаны, богатства которых были нажиты посредством транзитной торговли с дальними странами. О той большой роли, которую мореплавание (*ил. 58*) и, несомненно, связанные с ним торговля и пиратство играли в жизни населения Акротири, с огромной наглядностью свидетельствует изумительный живописный фриз, открытый в так называемом доме адмирала, на котором изображен большой флот парусных и гребных судов, совершающий круиз вдоль побережий и островов Средиземного моря.

Раскопки на Санторине были прерваны летом 1974 г. по причине внезапной трагической гибели Спиридона Маринатоса. Бровка траншеи, на которой стоял археолог, неожиданно обрушилась. От полученных при падении увечий он вскоре скончался. То, что было сделано Маринатосом на Санторине за восемь неполных археологических сезонов, вполне достаточно для того, чтобы поставить его имя в одном ряду с именами таких выдающихся археологов, как Г. Шлиман, А. Эванс, К. Блеген и др. Его находки стали одним из самых ярких событий в истории эгейской археологии. Правда, древняя Фера, несомненно, готовит науке еще много сюрпризов. Ведь систематическое исследование острова, по существу, только еще начинается, и никто не может сказать, какие новые открытия ждут археологов под многометровыми отложениями пемзы и пепла (в некоторых местах на территории острова,

например, в карьере близ главного города Санторина Фиры, отчетливо виден скрытый под этими отложениями культурный слой эпохи бронзы, до него можно дотронуться рукой, но раскопки здесь сейчас практически невозможны).

Но вернемся снова к той главной проблеме, которая заставила Маринатоса начать его раскопки в Акротире. Удалось ли ему доказать, что, как он и предполагал с самого начала, вулканическая катастрофа на Санторине была главной причиной массовых разрушений на Крите и последующего упадка минойской культуры? Конечно, о доказательстве в строгом смысле слова, как доказывают, скажем, математическую теорему, здесь говорить не приходится ввиду крайней временной удаленности самого события, о котором идет речь, практически полного отсутствия каких-либо письменных свидетельств и, наконец, недостаточной полноты археологического материала. Тем не менее степень вероятности гипотезы Маринатоса представляется сейчас весьма значительной, во всяком случае более значительной, чем вероятность всех других существующих сейчас догадок и предположений относительно причин бедствия, постигшего Крит где-то во второй четверти XV в. до н. э., в конце ПМ IB периода.

Присмотримся теперь более внимательно к тому, что происходило на Крите в это весьма тяжелое для него время. Раскопки выявили картину поистине тотальной катастрофы. Погибли почти все сколько-нибудь значительные поселения, начиная с дворцов (Фест, Маллия, Като-Закро, Агиа-Триада) и кончая небольшими городками и отдельными виллами (Тилисс, Ниру Хани, Склавокампо, Амнис — на центральном Крите; Гурния, Псира, Мохлос, Палекастро — в восточной части острова — *карта 11*). После катастрофы все эти поселения были покинуты своими обитателями. Некоторые из них так и остались заброшенными. В других местах население спустя какое-то время вернулось, но при этом почему-то упорно избегало разрушенных дворцов и селилось на некотором удалении от них, что говорит о распаде существовавшей здесь некогда системы социально-политических отношений и общем культурном упадке.

Что могло быть причиной катастрофы? Первое впечатление, возникшее у археологов, работавших почти во всех названных выше местах, это то, что немцы называют Brandkatastrophe, т. е. сильный пожар. На него указывает толстый слой пепла, обуглившиеся куски дерева, закопченные стены. Вместе с тем в некоторых местах, например в Фесте, Като-Закро, Амнисе, обнаружены следы разрушений такого рода, что их невозможно объяснить действием пожара даже и самого сильного, а приходится предполагать либо землетрясение, либо наводнение. Об этом говорят обрушившиеся стены и опрокинутые, сдвинутые со своих мест каменные

Карта 11. Крит

глыбы фундаментов. Особенно впечатляют в этом плане развалины дворца в Като-Закро на восточном побережье Крита, открытые в 1963 г. археологической экспедицией под руководством Ник. Платона. Судя по тому, что показали раскопки, катастрофа была внезапной и стремительной. Обитатели дворца были застигнуты врасплох и, видимо, успели покинуть его лишь в самый последний момент. Об этом свидетельствуют оставшиеся на очаге кухонные горшки, молот, брошенный на наковальне в мастерской. Вся трехэтажная постройка дворца рухнула в один какой-то момент, причем фасад здания оказался отброшенным на расстояние в несколько метров от остальной его части. Почти все специалисты-археологи, занимавшиеся этой проблемой, полагают, что катастрофа произошла одновременно на всей территории Крита в течение одного или самое большее нескольких дней, хотя доказать, что дело обстояло именно так, конечно, трудно.

Единственное поселение на острове, которое резко выпадает из этой общей картины, это, как ни странно, — Кносс, самый большой и лучше всего сохранившийся из всех дворцов Крита. Если принять историю этого дворца такой, какой ее представил в своей знаменитой книге

в эпоху расцвета

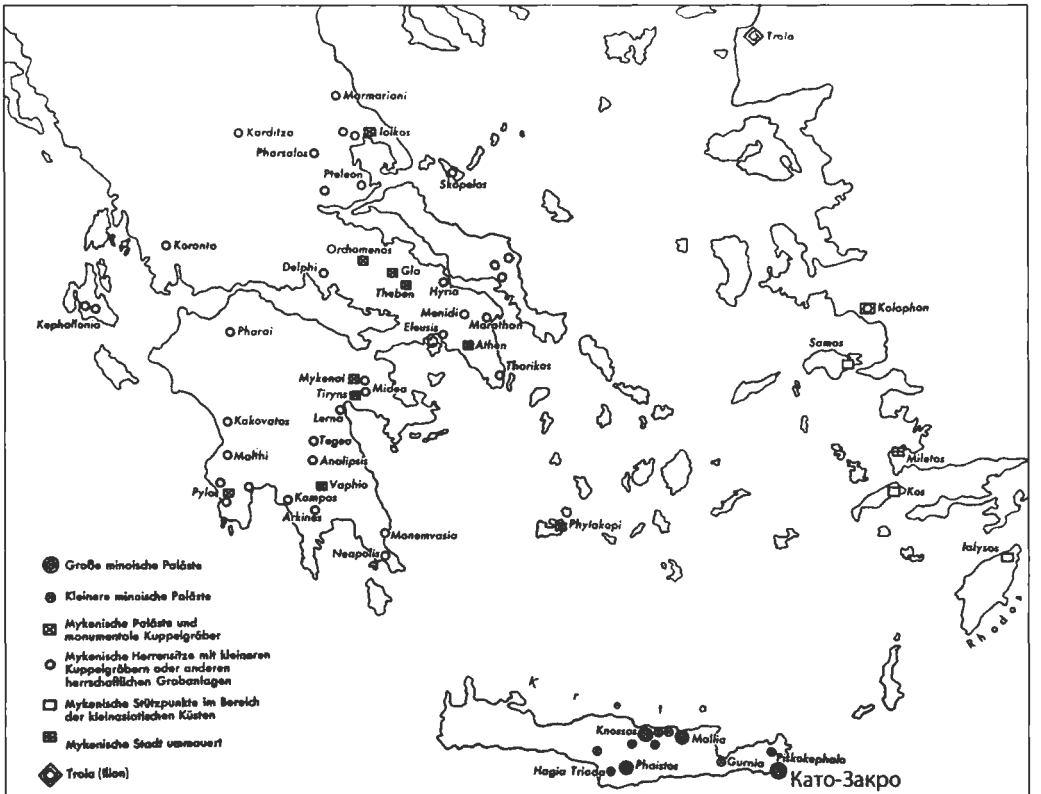
А. Эванс (*ил. 59*)[19], то получается, что никакой катастрофы во второй четверти XV в. здесь не было. Незначительные разрушения, следы которых удалось обнаружить в отдельных помещениях дворца (возможно, они были вызваны землетрясением), как будто никак не повлияли на привычный уклад жизни его обитателей. Их последствия были довольно быстро ликвидированы, и жизнь во дворце продолжалась как ни в чем не бывало вплоть до самого конца XV или даже начала XIV в., когда дворец Миноса, как считал Эванс, был разрушен уже всерьез и навсегда покинут своими обитателями.

Но как могло случиться, что во время массовых разрушений, широкой волной прокатившихся по всему острову, это бедствие каким-то чудом обошло лишь единственный дворец, к тому же самый значительный из всех? Нельзя же предполагать, что боги, покровительствовавшие царю Кносса, оказались сильнее всех других богов и спасли его от разгневанной стихии, хотя древние, вероятно, разрешили бы эту загадку именно таким образом. Пытаясь найти выход из затруднительного положения,

[19] *Evans A.* The Palace of Minos at Knossos. Vol. I–IV. London, 1921–1935.

Ил. 59. Артур Эванс в возрасте 85 лет представляет критскую (кносскую) часть на выставке греческих древностей в 1936 г. в музее Бёрлингтон-хаус в Лондоне

некоторые археологи предлагают резко понизить датировку общего разрушения критских поселений, подтягивая ее к моменту гибели Кносского дворца, т. е. к концу XV в., что вряд ли оправдано. Другие считают, что все объясняется очень просто, если предположить, как это раньше и делалось, что виновниками разрушений были какие-то завоеватели (скорее всего, это могли быть в то время греки-ахейцы, вторгшиеся на Крит с материка — *карта 12*). Укрепившись в Кноссе, который им, судя по всему, удалось захватить без боя, пришельцы начали опустошать его окрестности, совершая набеги в другие районы острова. Но такое допущение сразу сталкивает нас с новым вопросом: для чего понадобилось завоевателям это тотальное опустошение территории острова и уничтожение мирных, как правило, неукрепленных поселений? Ведь если они собирались и дальше оставаться на Крите, а, скорее всего, так оно и было, было бы весьма неразумно с их стороны сдирать шкуру с овец, которых они могли бы с большей выгодой для себя только остричь. К тому же сами разрушения, по крайней мере в некоторых местах непохожи на дело человеческих рук. Для того чтобы сдвинуть с места огромные каменные глыбы, образующие фундамент большого дома, открытого Маринатосом



Карта 12. Крито-микенский мир

в Амнисе на северном побережье Крита, нужны были нечеловеческие усилия, на которые были способны разве что мифические циклопы. Все это вынуждает думать, что завоеватели, хотя их появление на острове в этот период кажется весьма вероятным (особенно после того, как удалось установить, что документы линейного письма *Б* из кносского дворцового архива были написаны на греческом языке), пришли сюда уже после того, как почти все дворцы и поселения Крита были уничтожены в результате стихийного бедствия, и обосновались в единственном уцелевшем дворце в Кноссе.

Можно предположить, что причиной разрушений было сильное землетрясение. Повсеместно встречающиеся следы пожаров как будто не противоречат этой догадке. Пожары являются почти неизменным спутником землетрясений даже и в наше время — в век газа и электричества. В древности такая последовательность событий была почти обязательной, если учесть, что в минойской архитектуре широко использовались деревянные конструкции: крыши, стропила, колонны, лестницы и т. д. — все это было сделано из дерева, а основным прибором для отопления и приготовления пищи служили переносные жаровни, которые легко могли быть опрокинуты или расколоты при первых же толчках землетрясения. И все же картина катастрофы, постигшей Крит в 1470–1450 гг., сильно отличается от обычной картины бедствий, связанных с землетрясением даже самым страшным. Следует иметь в виду, что землетрясения на Крите были, в общем, довольно привычным явлением (сильные подземные толчки происходят здесь еще и сейчас, по крайней мере один раз в 50 лет). Однако ни одно из этих стихийных бедствий не приводило к столь длительной приостановке культурного развития (даже страшное землетрясение конца XVIII в. до н. э., разрушившее дворцы по всему Криту, не имело таких губительных последствий). Катастрофа второй четверти XV в. была, по-видимому, событием иного рода. Ее результатом было обезлюдение значительной части территории Крита, исчезновение целого ряда населенных пунктов, превращение в бесплодные пустыни некогда плодородных, усердно культивируемых земель.

Все это заставляет предположить, что на этот раз к землетрясению присоединились какие-то другие бедствия и что вместе взятые они и привели к столь беспрецедентному опустошению острова. И тут весьма удобной оказывается гипотеза Маринатоса о вулканической катастрофе, которая как раз и предполагает одновременное действие нескольких разрушительных факторов. Такими факторами могли быть, во-первых, подземные толчки, предшествовавшие или сопутствовавшие извержению вулкана, во-вторых, возникшая на месте извержения гигантская

приливная волна (цунами) и ураганный ветер и, в-третьих, обильное выпадение вулканического пепла. Эти три или даже четыре силы действовали, можно сказать, рука об руку во время извержения уже упоминавшегося вулкана Кракатау. Они же с еще бóльшей силой могли свирепствовать и при извержении санторинского вулкана. Большинство критских поселений, пострадавших во время катастрофы, находилось в пределах береговой черты острова, некоторые в непосредственной близости от моря. Все они легко могли стать жертвой цунами, волны которого вследствие большой глубины моря в этих местах могли достигать огромной высоты — до 200 м. Им ничего не стоило затопить и даже совсем смыть такие приморские поселения, как Амнис, Катсамба и Ниру Хани на северном побережье острова, Итан, Палекастро и Като Закро на восточном берегу. Жители этих городков должны были воспринимать обрушившееся на них бедствие как самый настоящий потоп. О том, что катастрофа в этих местах носила именно такой характер, свидетельствуют обнаруженные при раскопках скопления пемзы. В развалинах большого дома в Амнисе толщина слоя пемзы достигала 1 м. Кстати, именно это обстоятельство и навело Маринатоса, который обследовал эту постройку еще в 1932 г., на мысль о вулканическом извержении. Однако в некоторых случаях ссылки на действие приливных волн едва ли могут быть приняты всерьез. Так, Фестский дворец, расположенный на удалении около 6 км от побережья и на высоте 70 м над уровнем моря, конечно, не мог стать их жертвой. Очевидно, главную роль в разрушении Феста сыграло землетрясение и вызванный им пожар. Однако и здесь, как и в других районах Крита, дело, по-видимому, не ограничилось одними разрушениями. За гибелью дворцов и поселков последовало выпадение толстого слоя вулканического пепла (по минимальным расчетам его толщина должна была составлять на Крите от 10 до 20 см), что на долгое время (может быть, на несколько лет) могло сделать почву острова непригодной для обработки и выращивания культурных растений. Этим может быть объяснено обезлюдение важнеших сельскохозяйственных районов Крита, длительная заброшенность поселений, общий упадок минойской культуры.

Лишь один факт не укладывается в рамки этой, в общем, довольно стройной и убедительной концепции. И этим фактом остается ситуация в Кноссе. Расположенный так же, как и Фест, на удалении около 5–6 км от побережья, к тому же защищенный с севера цепью невысоких холмов Кносский дворец едва ли мог серьезно пострадать от волн цунами. Но толчки землетрясения, пожар, ураган и, наконец, дождь вулканического пепла, вероятно, не обошли бы стороной и его. Тем не менее, как было уже сказано, никаких следов сколько-нибудь серьезных

разрушений, которые можно было бы датировать первой половиной XV в., в Кноссе обнаружить пока еще не удалось. Быть может, в дальнейшем, когда будет пересмотрена и уточнена разработанная Эвансом хронология истории Кносса и всего минойского Крита (о необходимости такого пересмотра говорят сейчас многие), удастся каким-то образом сблизить гибель этого дворца с гибелью других поселений острова и, следовательно, с извержением санторинского вулкана. Пока это не сделано, гипотеза Маринатоса при всей своей соблазнительности будет оставаться уязвимой для критики.

Совершенно ясно, что такое грандиозное природное явление, как санторинское извержение, не могло пройти незамеченным. Его должны были наблюдать и так или иначе испытать на себе его воздействие или по крайней мере что-то слышать о нем тысячи, а, может быть, и миллионы людей не только в ближайших окрестностях Санторина — на островах Эгеиды, на побережьях Греции и Малой Азии, но и далеко за пределами этого региона, вероятно, по всему Восточному Средиземноморью. Такое событие не могло не запечатлеться надолго в памяти потомства. Тем более что происходило все это в густонаселенной местности, а не где-нибудь в глухой тайге. А между тем прямых свидетельств о катастрофе как будто совсем не сохранилось.

В ответ на это сам Маринатос и его многочисленные теперь последователи ссылаются на всевозможные косвенные свидетельства, которые, по их мнению, могут считаться отголосками этого события[20].

Так, например, используются мифы о борьбе богов и гигантов, о борьбе Зевса с Тифоном. Как отголоски санторинской катастрофы нередко интерпретируются различные варианты мифа о потопе (в Греции чуть ли не в каждой местности существовала своя особая версия этого мифа, причем эти локальные катастрофы иногда отождествляются с великим, или Девкалионовым, потопом, иногда же, напротив, отделяются от него). В принципе нет ничего невероятного в том, что все эти предания или хотя бы некоторые из них как-то связаны с интересующим нас событием. Но еще более вероятно, что все это, как говорят фольклористы, — «бродячие сюжеты», в которых спластовались бесчисленные реальные и воображаемые потопы, происходившие в разное время и в разных местах (вы, конечно, знаете, что сказания о потопе распространены по всему земному шару, и, конечно, нет никакой необходимости пытаться в каждом из них во что бы то ни стало выявить

[20] *Резанов И. А.* Атлантида: фантазия или реальность? М., 1976; *Kehnscherper G.* ...und die Sonne verfinsterte sich. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen über die Santorin — Katastrophe. Halle, 1972. 2. bearb. Aufl. Aalen, 1979.

какое-то реальное историческое зерно). Примерно то же самое можно сказать и о «блуждающих островах» (в греческих мифах фигурируют по крайней мере два таких острова: Астерия — Делос, место рождения Аполлона, и упоминающийся в «Одиссее» плавучий остров Эола). Приверженцы гипотезы Маринатоса полагают, что на формирование этих мифов повлияло зрелище плавающих по морю гигантских скоплений пемзы, которые во многих местах могли затруднять движение кораблей.

Точно так же объясняют они гомеровский рассказ в «Одиссее» о печальной судьбе народа феаков. Феаки, как вы, наверное, помните, гостеприимно встретили на своем острове скитальца Одиссея и даже позаботились о том, чтобы благополучно доставить его на родину, чем вызвали против себя страшный гнев Посейдона. Чтобы наказать феаков, он обратил в камень у самого входа в гавань их корабль, на котором спящий Одиссей был доставлен на Итаку, а саму гавань задвинул высокой горой, так что и гавань, и город на берегу исчезли из глаз людских. В понимании последователей Маринатоса, феаки — это то же самое, что и критяне-минойцы, гибель их города — прямое следствие вулканической катастрофы, гора, загородившая вход в гавань, — опять-таки скопления плавучей пемзы. Интересное истолкование получают в работах тех же авторов некоторые эпизоды мифа об аргонавтах. На обратном пути в Грецию Арго вместе с его экипажем пристает к берегам Крита, но здесь путников встречает ужасный страж острова — поставленный Миносом бронзовый великан Талос. Он забрасывает аргонавтов каменными глыбами и заставляет их как можно скорее покинуть негостеприимный остров. Лишь хитрость Медеи помогла им преодолеть эту неожиданную преграду. Колдунья усыпила Талоса и, пока он спал, вытащила у него из пятки бронзовый гвоздь, затыкавший вену гиганта. Кровь вытекла из тела Талоса, и он погиб. Приверженцы гипотезы Маринатоса видят в этом эпизоде чуть ли не буквальное описание извержения санторинского вулкана. Сам Талос — это, конечно, вулканическая гора, забрасывающая проплывающие корабли каменными раскаленными «бомбами». Отверстие в его пятке — дополнительный кратер, образовавшийся во время извержения. Вытекающая из этого отверстия кровь — постепенно застывающая лава. Когда вся лава вытекла наружу, вулкан, осев под собственной тяжестью, рухнул, подобно погибшему исполину.

Все в этих объяснениях вроде бы правдоподобно, и вместе с тем все вызывает протест, потому что высокая поэзия мифа безжалостно рационализируется, превращается в набор унылых аллегорий, с помощью которых древние люди будто бы пытались передать потомству

зашифрованную информацию о наблюдаемых ими явлениях природы. Для чего они это делали, никто, конечно, объяснить не может. Но даже если оставить без применения обвинения в эстетической, да и в исторической глухоте, и принять ту логику, которой следуют в своих рассуждениях приверженцы гипотезы Маринатоса, то не может не вызвать удивления одно обстоятельство: почему ни в одном из используемых ими мифов, если предположить, что они все действительно ориентированы на одно и то же событие — извержение санторинского вулкана, сам этот вулкан не назван прямо по имени (мы, конечно, не знаем, как назывались во II тыс. до н. э. остров Фера — теперешний Санторин — и гора на нем, но какое-то название они должны были иметь уже тогда)? События, происходящие в мифах, могут быть локализованы где угодно: в Балканской Греции (миф о Девкалионовом потопе), на Крите (миф о Талосе), просто в тридевятом царстве (миф о феаках), но только почему-то не на Санторине. Все это, конечно, достаточно странно. Можно, разумеется, сослаться на то, что население Греции и островов Эгеиды в то время, когда происходила катастрофа, только еще начало выходить из состояния первобытной дикости, еще не научилось фиксировать важнейшие исторические события иначе, как в форме фантастических сказаний и мифов, не имело ни настоящей письменности, ни разработанной системы летоисчисления и вообще не отдавало себе ясного отчета даже в том, что происходило у него на глазах.

Но, может быть, что-то более вразумительное, чем тот же миф о великане Талосе, могли бы поведать нам более цивилизованные соседи греков, например египтяне или хетты, или сирийцы, которые, несомненно, должны были что-то знать о таком событии, как грандиозный вулканический взрыв, опустошивший окрестности на сотни километров. Как ни странно, но и в восточных документах, синхронных предполагаемой катастрофе, а их сохранилось довольно много, нет никаких упоминаний о ней. Судя по некоторым данным, египтяне в XV в. поддерживали довольно оживленные контакты с Критом, который они называли страной Кефтиу. На египетских фресках эпохи Тутмоса III и царицы Хатшепсут мы видим изображения посланцев народа Кефтиу, несущих дары фараону. Тем не менее в египетских источниках, как эпиграфических, так и литературных, ни словом не упоминается о несчастье, постигшем жителей Крита. Немецкий историк Г. Кеншерпер (один из самых рьяных приверженцев гипотезы Маринатоса) пытался истолковать под этим углом зрения библейское предание об исходе евреев из Египта и даже картину Страшного суда в «Апокалипсисе». Но его доводы вряд ли можно принять всерьез.

Атлантида Платона. Источники философского мифа

Единственный источник внегреческого происхождения, который как будто бы заключает в себе или по крайней мере может заключать какую-то информацию о санторинской катастрофе, это платоновский миф об Атлантиде, к которому мы можем теперь наконец снова вернуться. Разумеется, этот источник можно считать свидетельством сторонних негреческих наблюдателей события лишь в том случае, если мы примем всерьез уверения самого Платона в том, что переданный им рассказ был некогда записан Солоном со слов египетских жрецов. Верить в это мы, конечно, не обязаны, но давайте выслушаем доводы тех людей, которые полагают, что так оно и было на самом деле, что Солон действительно побывал в Египте, беседовал там с жрецами богини Нейт в городе Саисе, узнал от них удивительную историю о войне афинян с атлантами и о гибели Атлантиды. Платон же хотя и знал это предание и добросовестно, как он сам думал, изложил его в своих диалогах, в действительности неправильно его понял и перенес Атлантиду туда, где ей быть не положено — за столбы Геракла, во Внешнее море, или Атлантический океан, так как на самом деле под этим псевдонимом скрывался хорошо известный каждому греку остров Крит. Наиболее обстоятельно и, надо признать, не без остроумия эту идею развивает ирландский историк Дж. Люс в своей небольшой, но очень интересно написанной и уже неоднократно переизданной (впервые она вышла в Лондоне в 1969 г.) книге «Конец Атлантиды. Новые аспекты древности»[21], к которой я и хотел бы теперь обратиться. В понимании Люса, миф об Атлантиде в его окончательном платоновском варианте является завершающим звеном в длинной цепи исторических и географических недоразумений. Жрецы богини Нейт, с которыми Солон беседовал в Саисе во время своего визита в Египет, а Люс вполне убежден в реальности такой беседы, могли рассказать ему со ссылками на древние хроники и другие документы о чудесном острове Кефтиу, лежащем далеко на западе где-то среди вод «великой зеленой равнины», как египетские тексты III–II тыс. обычно именуют Средиземное море. По их словам, народ, населявший этот остров, славился своим могуществом и богатством. Его корабли бороздили «великую зеленую равнину» по всем направлениям. Его владычество простиралось далеко на север — на другие лежащие за ним острова, а также побережье противолежащего материка. Это описание, как полагает Люс, вполне соответствует тому, что нам известно теперь

[21] *Luce J.* The end of Atlantis. New light on an old legend. N. Y., 1975.

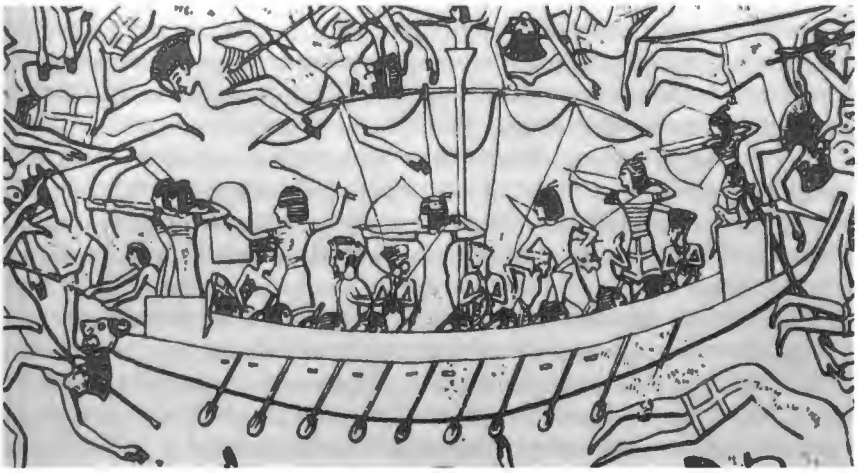
о могуществе Критской морской державы до середины XV в., пока минойцы не уступили свою талассократию микенским грекам. С другой стороны, такое предположение хорошо объясняет загадочные слова в тексте платоновского «Тимея» (Тимей 24е–25): «и с него (с острова Атлантиды) тогдашним путешественникам легко было перебраться на другие острова, а с островов — на весь противолежащий материк, который охватывал то море...» (по-видимому, египтяне во времена Тутмоса III и царицы Хатшепсут именно так и должны были представлять себе географию Эгейского бассейна). Саисские жрецы, беседовавшие с Солоном, однако, уже не знали толком, какой остров их предки называли именем Кефтиу и где он расположен, хотя местоположение Крита и других греческих островов, конечно, было им известно очень хорошо, так как в конце VII — начале VI в. (время, когда Солон мог посетить Египет) между обеими сторонами существовали весьма оживленные торговые и всякие иные сношения. Поэтому, когда Солон спросил их, что означает само название Кефтиу, жрецы могли ответить ему лишь то, что оно образовано от египетского слова «кефт», что буквально означает «столб» или «колонна», и что остров получил такое название потому, что древние считали, что на нем находится один из четырех столбов, поддерживающих небо, а это, как думает Люс, очень удачно характеризует именно Крит, известный своими высокими и крутыми горами, которые издалека видны каждому мореплавателю, откуда бы он к нему ни приближался (замечу в скобках, что, хотя я и не считаю себя знатоком древнеегипетского языка, такое объяснение слова Кефтиу представляется мне сомнительным уже потому, что, исходя из представлений египетских географов о четырех столбах, подпирающих небо в четырех разных точках, следовало бы ожидать появления сходных названий также и в других местах, но Кефтиу в египетских источниках как будто твердо связывается с одним только Критом). Услышав ответ жрецов на свой вопрос, Солон, как полагает Люс, тут же вспомнил греческий миф об Атласе и, так как он старался переводить все египетские названия и имена на греческий язык (об этом специально упоминает Платон), у него легко получилось название острова — Атлантида, что должно было, по его мнению, буквально соответствовать египетскому Кефтиу.

Египетские собеседники Солона могли сообщить ему что-то и о трагической судьбе страны и народа Кефтиу, хотя, как думает Люс, они и сами уже толком не знали, что же там, собственно, произошло. Современники санторинской катастрофы, жившие в Египте, особенно в районе дельты Нила, вероятно, слышали от беженцев, а также от мореплавателей, бывших в тех местах, о стихийном бедствии, постигшем население Крита. Возможно, до них доходили и какие-то слухи об исчезновении

в морской пучине значительной части острова Фера после взрыва вулкана. Наконец, египтяне или по крайней мере египетские власти были осведомлены также и о произошедшей на Крите смене политического режима после того, как Кносский дворец был захвачен пришедшими с материка ахейцами (Люс усматривает признаки такой осведомленности в изменении фасона одежды послов народа Кефтиу, изображенных на стенах гробниц египетских вельмож эпохи Тутмоса III). Все эти факты как-то смешались в сознании египтян, так что они и сами уже не могли разобраться, что чему предшествовало: стихийная катастрофа завоеванию Крита ахейцами или же наоборот. Результат же этого сложного переплетения событий состоял в том, что из поля зрения жителей Египта исчез богатый и процветающий остров Кефтиу, каким был в их представлении минойский Крит до постигшей его катастрофы, и этот факт каким-то образом породил мысль о том, что остров этот и в самом деле исчез не в переносном, а в буквальном смысле слова, т. е. скрылся в морской пучине. Следует заметить, что этот пункт в рассуждениях Люса отличается некоторой неясностью. С одной стороны, в самом конце своей книги он прямо говорит, что склонен понимать «исчезновение» Атлантиды не буквально, а иносказательно как конец минойского владычества над Эгейским миром. В этой связи он отвергает предположение греческого вулканолога Галонопулоса, который готов был отождествить Атлантиду с самим островом Фера, буквально, а не переносно исчезнувшим под водой. «Я не ищу пропавшую Атлантиду, — пишет Люс, — под поверхностью бухты острова Фера. Фера ни в каком смысле не была метрополией Крита и поэтому не может быть отожествлена с метрополией Атлантиды... Для меня "исчезнувшая Атлантида" — представление скорее исторического, нежели географического порядка». Однако, с другой стороны, рассказ Платона о гибели Атлантиды никак не может быть понят иносказательно. Люс это признает и указывает, что Платон воспринял эту идею от своих предшественников в уже готовом виде. Но кто же в этом случае первым сказал, что Атлантида, или страна Кефтиу, погрузилась в море: Солон или же саисские жрецы, или же безымянные египетские хронисты II тыс., от которых сами жрецы переняли ту информацию, которой они поделились с Солоном? Этого Люс почему-то прямо не говорит, хотя сам по себе этот вопрос, конечно, весьма важен.

Но Люс еще больше запутывает существо дела, нагромождая одну гипотезу на другую. На каком-то этапе в египетскую традицию о стране Кефтиу были привнесены, как он говорит дальше, новые исторические события, первоначально никак не связанные ни с санторинской катастрофой, ни с упадком критского морского владычества. Люс думает, что это могло быть знаменитое нашествие «народов моря» на Египет при

фараонах Мернепте и Рамзесе III (конец XIII — начало XII в. до н. э. — *ил. 60*). В этом нашествии, как считают сейчас многие историки, могли участвовать отдельные дружины или даже целые племена греков-ахейцев (данауна, как их называют египетские тексты этого времени). Люс полагает, что эти события каким-то образом смешались в сознании жрецов, просвещавших Солона, с более ранними событиями на острове Кефтиу. Солону было сказано, что его предки некогда сломили могущество народа Кефтиу (Люс высказывает предположение, что саисские жрецы должны были каким-то образом отличать афинян от других греков, поскольку их богиня Нейт считалась египетским аналогом греческой Афины), и к этому сообщению присоединился еще рассказ о нашествии «народов моря» на Египет. Как все это было между собой увязано, понять трудно (Люс то ли сам в этом до конца не разобрался, то ли нарочно запутывает дело.) В итоге всей этой путаницы Солон пришел к мысли о создании большой эпической поэмы на сюжет предания об Атлантиде (об этом упоминает Плутарх в своей биографии афинского законодателя). Главной темой этой поэмы должна была стать, как думает Люс, тема агрессии островной империи дальнего Запада против Египта и Греции и отражение этой агрессии. Как известно, Солон не сумел осуществить свой замысел. От него остались лишь какие-то черновики или наброски, которые наряду с устным преданием, передававшимся из поколения в поколение среди потомков Солона, мог использовать Платон при работе над новым вариантом мифа об Атлантиде. Само собой разумеется, что Платон отнесся с величайшим пиететом и к записям Солона, и к устному преданию уже по одному тому, что и на том, и на другом стояло имя великого законодателя и его (Платона) отдаленного предка. Вместе с тем он счел необходимым внести в свой рассказ некоторые разъяснения, которых, по-видимому, не было в дошедшем до него предании. Прежде всего нужно было уточнить местоположение загадочного острова, о котором со слов египетских жрецов поведал своим потомкам Солон. В самом его названии «Атлантида» ясно звучало имя гиганта Атласа. В греческой географии V—IV вв. это имя четко ассоциировалось с крайними западными пределами обитаемого, т. е. средиземноморского мира (уже Геродот поставил Атласа где-то на дальнем краю великой ливийской пустыни — Сахары — там, где она выходит к Атлантическому морю или океану). Рассуждая логически, Платон должен был заключить, что такая огромная и могучая морская держава, какой он представлял себе Атлантиду, не могла разместиться в тесных пределах западной части Средиземного моря. Следовательно, остров с таким названием должен был находиться по ту сторону пролива, соединяющего внутреннее море с внешним. Только здесь в просторах океана можно было разместить уже



Ил. 60. Морская битва египтян с «народами моря».
Рельеф из Мединет-Абу

не остров, а целый материк, превышающий своими размерами Ливию и Азию вместе взятые. Кроме того, Платон должен был учитывать, что в греческой исторической традиции не сохранилось никаких сведений о вторжении атлантов в пределы Средиземноморья и о войне, которую вели с ними афиняне. Объяснить это можно было лишь тем, что война эта была так давно, что о ней все успели забыть. Даты, содержавшиеся в записках Солона, где это событие было отнесено ко времени, отделенному на 900 лет от момента беседы Солона с саисскими жрецами, эти даты показались Платону слишком незначительными (очевидно, он полагал, что о событиях столь недавнего времени, как XV в. до н. э., у греков тоже должна была бы сохраниться какая-то информация). Поэтому он решил для большей верности округлить цифру 900 до 9000, а заодно удесятерить и все другие цифры в рассказе Солона об Атлантиде, дабы они соответствовали размерам и могуществу этого государства. Все это, как полагает Люс, Платон сделал, руководствуясь самыми благими намерениями и при этом добросовестно заблуждаясь относительно подлинного смысла предания. Правда, Люс допускает, что автор «Тимея» и «Крития» ввел в свое описание Атлантиды много и всяких других подробностей, которых не было в первоначальном варианте мифа, заимствуя их из самых разнообразных источников. Так, он разукрасил с необыкновенной роскошью город и храмы атлантов, ориентируясь на описания городов Востока в сочинениях Геродота и Ктесия, заполнил пастбища острова стадами африканских слонов, которых первоначально там быть

не могло, провел через всю территорию страны огромные судоходные каналы, подражая ирригационным системам Египта и Месопотамии, соорудил великолепные гавани и арсеналы, помня о сходных сооружениях в Сиракузах и Карфагене.

Но, несмотря на все эти прикрасы, Атлантида и в описании Платона сохранила, как считает Люс, немало характерных примет, сближающих ее с минойским Критом, который и был подлинным ее прототипом. (Люс насчитывает всего пять главных признаков такого сходства и еще семь второстепенных.)

Итак, к чему же приводит нас автор этой любопытной книги, заставляя следовать за собой в своих рассуждениях? Очевидно, к тому, что легенда об Атлантиде в ее платоновском варианте возникла в результате нанизывания ошибок на ошибки. Саисские жрецы, сами добросовестно заблуждаясь в отношении острова Кефтиу, ввели в заблуждение Солона, который, в свою очередь, ввел в заблуждение своих потомков и в том числе Платона, а уже тот также из самых лучших побуждений направил на ложный путь в поисках настоящей Атлантиды и всех бесчисленных читателей своих диалогов. Насколько правдоподобна такая многоэтажная конструкция? Если исходить из того, что в истории человечества и в частности в истории мировой литературы случаются и куда более фантастические совпадения, то в концепции Люса вполне может заключаться известная, может быть, даже большая доля исторической вероятности. Но для того, чтобы гипотеза была принята всерьез, будь она хоть трижды фантастична, она должна быть внутренне гармоничной или логически в полной мере сбалансированной. О гипотезе Люса именно этого как раз и нельзя сказать. Я уже обращал ваше внимание на некоторые неувязки и неясности в его рассуждениях. Непонятно, кто и когда отправил остров Кефтиу или Атлантиду на дно моря (ведь рано или поздно это, несомненно, должно было случиться). Неясно, какую роль сыграли в развитии фабулы предания пресловутые «народы моря». Люса можно понять в том смысле, что они-то и превратились в конце концов в грозных атлантов, стремившихся утвердить свое владычество над Ливией и Европой в одно и то же время. Но как же тогда быть с другой версией гипотезы Люса, согласно которой враждебной силой, противостоявшей и Египту, и Греции одновременно, была морская держава народа Кефтиу, или Крит, ставший потом Атлантидой, а греки сначала сокрушили могущество Крита, а потом принимали участие в нашествии «народов моря» на Египет? Но главное внутреннее противоречие концепции Люса, а вместе с тем и ее неправдоподобность состоит даже не в этом. Очень трудно поверить, что саисские жрецы, сохранив весьма обстоятельную информацию о минойском Крите

и передав ее чужеземцу Солону, сами тем не менее не подозревали, что загадочный остров, который их источники называли Кефтиу, это, конечно же, хорошо известный им Крит, в сущности, ближайшая к Египту часть греческого мира. Это тем более странно, что если следовать за Люсом в его доказательствах, то получается, что те же самые жрецы, которые уже не догадывались о том, что Кефтиу и Крит это одна и та же земля, вместе с тем были прекрасно осведомлены о греческих племенах той же легендарной эпохи, живших дальше к северу на островах и материке, и даже могли выделить среди них как особое племя афинян — отдаленных предков Солона (замечу в скобках, что мне представляется в высшей степени маловероятным, чтобы египтяне времен Тутмоса III были способны провести сколько-нибудь четкое разграничение между критянами, или Кефтиу, и другими северными народами, населявшими архипелаги и побережья Эгейского моря; скорее всего все эти северные варвары были для них на одно лицо, как европейцы для китайцев или японцев, когда они только еще начали появляться в странах Дальнего Востока).

Итак, возведенная Люсом хитроумная логическая конструкция при ближайшем рассмотрении оказывается слишком шаткой и неустойчивой. Она явно не годится для того, чтобы служить опорой главного тезиса ирландского историка: Атлантида — это минойский Крит, а ее гибель — это искаженный и приглушенный временем отголосок вулканической катастрофы, погубившей минойскую цивилизацию. Очень большую роль в рассуждениях Люса играет его почти ничем не подтвержденная вера в реальное существование египетских источников платоновского мифа. Собственно говоря, почему мы должны верить на слово Платону, которого уже хорошо знавшие его современники почитали за человека совершенно необузданной фантазии или, попросту говоря, за отъявленного лжеца и мистификатора? Сохранилось любопытное сообщение о том, что уже Сократ выражал неудовольствие тем, что его ученик слишком часто дает волю своему воображению. Знаменитый софист Горгий говорил, что его изумляет способность Платона до неузнаваемости переиначивать чужие слова и мысли. Да и сам Платон уже зрелым мужем откровенно рассуждал в «Государстве» о том, что «благородная ложь» часто бывает полезна и даже необходима, когда она оправдывается высшими политическими соображениями.

Отсюда же вытекает и другая важная мысль Платона о необходимости вмешательства властей в стихийный и неуправляемый процесс мифотворчества и о целесообразности сочинения новых мифов, которые могут принести пользу в воспитании юношества. Сам Платон, очевидно, вполне сознавал, что его репутация как человека правдивого очень

сильно подорвана его предшествующими сочинениями. Видимо, поэтому свой рассказ об Атлантиде в «Тимее» он начинает с заверений в том, что его история будет «хотя и странной, но, безусловно, правдивой». Напомню, что именно с таких заверений начинают свои повествования авторы неисчислимого множества фантастических романов, начиная уже с Лукиана из Самосаты, который прямо так и назвал свой рассказ о полете на Луну и иных невероятных путешествиях «Правдивой историей». Следует также иметь в виду, что ссылка на мнимые восточные источники (египетские, персидские или какие-нибудь еще) была в греческой литературе доволно обычным приемом, с помощью которого писатели пытались заручиться доверием читателя и привлечь его внимание к своему рассказу. Авторитет восточной мудрости в Греции V–IV вв. стоял очень высоко. Культура, обычаи, история народов Востока живо интересовали греческого читателя. Поэтому историки и философы классического периода нередко подкрепляли свои собственные измышления ссылками на авторитет каких-нибудь чаще всего анонимных восточных информаторов. Так поступает, например, Геродот уже в самом начале своей «Истории», где он предлагает читателю две любопытные версии известного греческого мифа об Ио, выдавая их за рассказы персов и финикийцев. Этот же прием он неоднократно использует и в дальнейшем. В IV в. мистификации такого рода стали уже настолько распространенным явлением, что разоблачение их не составляло особенно большого труда, и сам Платон в некоторых ранних своих диалогах прибегает к такой маскировке, уже почти не скрывая иронии и, видимо, не особенно рассчитывая на то, что ему удастся обмануть доверчивого читателя. Так, в «Федре» Сократ рассказывает своему другу якобы египетскую притчу о происхождении письма, но тотчас же разоблачает подделку: «Ты, Сократ, легко сочиняешь египетские и какие тебе угодно сказания».

В «Тимее» и «Критии» Платон до конца сохраняет серьезную мину, стараясь вести игру по придуманным им самим правилам так, чтобы у читателя не было повода для каких-либо кривотолков. Это, безусловно, означает, что легенда о войне афинян с атлантами значила для него самого гораздо больше, чем нехитрая притча о Тамусе и Тевте, которую он рассказал в «Федре». Но отсюда, разумеется, вовсе не следует, что на этот раз он решил поведать своим читателям чистую правду или же сам был введен в заблуждение какими-то недобросовестными информаторами.

Если вдуматься, в предании об Атлантиде нет абсолютно ничего такого, что могло бы указывать на его египетское и вообще негреческое происхождение. Разве что беглое упоминание о богине Нейт, но о ней Платон легко мог узнать, никуда не выезжая из Афин. Все остальные имена, фигурирующие в рассказе Платона, чисто греческие и к тому же в боль-

шинстве своем хорошо известные каждому эллину из его отечественных мифов и сказаний. Ничего особенно экзотического в них нет. Это в равной мере относится и к именам греческих богов и героев, фигурирующих в той части предания, которая посвящена древнейшим Афинам, и к именам первых царей Атлантиды. Правда, в отношении этих последних Платон, очевидно, предвидя возможные возражения читателя, предупреждает, что они представляют собой результат двойного перевода: сначала египтяне перевели атлантские имена на свой язык, а потом Солон, справившись у саисских жрецов о значении каждого из них, еще раз перевел эти имена на греческий язык. Но это — всего лишь уловка, рассчитанная на то, чтобы сбить с толку слишком уж дотошного читателя. Правда, античные писатели, начиная с Гекатея и Геродота и кончая Плутархом и Тацитом, действительно нередко заменяли в своих сочинениях имена варварских богов на более благозвучные имена греческих или римских божеств, но, поступая таким образом, они, конечно, давали не прямой перевод имени чужеземного божества (в большинстве случаев это было практически просто невозможно), а лишь подбирали для него более или менее подходящий аналог среди имен своих собственных богов, руководствуясь не сходством значения имен, которого они, как правило, не могли знать, а сходством самих образов богов. Солон, даже если бы ему и очень этого хотелось, конечно, не мог бы подобрать среди египетско-атлантских имен ничего похожего по смыслу на имена Посейдона или Атланта по той простой причине, что значение этих двух вроде бы греческих имен ему самому наверняка было неизвестно так же, как и теперь мы его не знаем, и, значит, эти два имени не могут быть переводом ни с какого другого языка. Не приходится особенно ломать голову над тем, откуда эти имена взялись в рассказе Платона. Уж, конечно, не из вымышленных египетских источников. Посейдон, как об этом сказано в «Критии», получил в удел Атлантиду при разделе мира между богами, потому что он — владыка моря, а Атлантида — остров, лежащий среди бескрайних морских просторов. Только здесь и пристало иметь главную резиденцию такому божеству, как Посейдон.

Атлант — старший сын Посейдона и первый из царей Атлантиды — это, конечно же, несколько трансформированный титан Атлант (Атлас), подпиравший небесный свод в греческих мифах. Уже в древнейших из них, например у Гомера, он возвышается где-то посреди моря и вместе с тем на краю земного круга, возможно, уже на острове, который позднее (может быть, это произошло еще до Платона) получил его имя.

Если малоправдоподобным кажется египетское происхождение истории Атлантиды, то с еще большей уверенностью это же можно сказать о другой части платоновского мифа, посвященной древнейшему

прошлому родного города самого философа — Афин. Конечно же, никакие египетские хронисты не могли так обстоятельно передать родословную древних афинских царей, правивших до Тесея, дать такое подробное описание первоначальной Аттики и Афин, обнаружив при этом удивительное знание местной топографии, как это сделано в платоновском «Критии». Совершенно ясно, что для столь красочного изображения своего собственного отечества, пусть даже и очень сильно приукрашенного, у Платона не было никакой надобности обращаться к свидетельствам чужеземцев. Он и без них мог это отлично сделать. К тому же, если предположить, что египетские авторы предания переводили на свой язык все афинские имена и географические названия так же, как они это сделали с именами атлантов (а по логике Платона, они именно так и должны были бы поступить, хотя он об этом осторожно умалчивает), то тогда на долю Солона выпала бы поистине мученическая работа: переводить все эти имена и названия обратно на греческий. Интересно, как бы мог он это сделать и при этом ни разу не ошибиться?

В источниковедческом введении Платона к преданию об Атлантиде есть и еще одно уязвимое место. Остается неясным, в каком именно виде дошла до него самого или до Крития, на которого он ссылается как на главный свой источник в последней инстанции, основная часть использованной им информации — в виде устного предания или же в виде каких-то записей, сделанных Солоном. В том, что говорит по этому поводу сам Критий, есть какая-то двусмысленность и неопределенность. В первой краткой версии своей истории, которую он произносит в «Тимее», он ссылается только на устный рассказ, который он слышал еще ребенком от своего деда — Крития Старшего. Тот же, в свою очередь, услышал ее когда-то, видимо, также еще в молодости из уст самого Солона. Нам приходится верить на слово рассказчику в том, что он по прошествии достаточно долгого времени уже взрослым человеком смог чуть ли не дословно повторить довольно трудную для детского восприятия историю, которую он десятилетним мальчиком слышал от своего девяностолетнего деда. Заверения Крития, которыми он заканчивает свое повествование, звучат не слишком-то убедительно (см. «Тимей», 25d–26a–c): «Как уже заметил Гермократ, я начал в беседе с ними припоминать суть дела, едва только успел вчера покинуть эти места, а потом, оставшись один, восстанавливал в памяти подробности всю ночь подряд и вспомнил почти все».

Получается удивительная вещь: то, что Критий плохо помнил еще накануне, он сумел восстановить в памяти за одну только ночь, как будто не пользуясь при этом никакими вспомогательными средствами вроде хотя бы краткой (конспективной) записи рассказа Солона. Далее,

однако, выясняется, что такая запись или нечто подобное ей все же существовала. Излагая вторую (пространную) версию предания в диалоге, носящем его имя, Критий внезапно вспоминает, что имена атлантских царей были записаны Солоном, как только он узнал о их значении у египетских жрецов и перевел их на греческий язык, и эти записи потом хранились у Крития Старшего, а от него достались его внуку («они и до сей поры находятся у меня, и я прилежно прочитал их еще ребенком», — говорит Критий — «Критий», 113b). У каждого внимательного читателя это заявление неизбежно вызывает вопрос: но почему же Критий ни словом не упомянул об этих записях, начиная свой рассказ в «Тимее», а лишь морочил голову своим собеседникам, объясняя им, какая у него прекрасная память, с одной стороны, и как ему пришлось эту память напрягать, чтобы припомнить диковинную историю, услышанную в детстве? Ответ здесь может быть только один: работая над «Тимеем», Платон, очевидно, еще не думал о том, что кроме устной версии предания об Атлантиде ему может понадобиться еще и письменная. Эта последняя была придумана им, так сказать, на ходу, когда, приступив к подробному описанию своего чудесного острова, он сообразил, что никакая человеческая память не способна запомнить на слух странные имена атлантов, а в добавлении к ним множество точных цифровых данных и всяких иных подробностей, которыми он решил украсить свое повествование. У каждого опытного историка небрежности такого рода не могут не вызвать очень сильных подозрений в правдивости рассказчика. А, может быть, не было не только письменной, но и устной традиции об Атлантиде, и Солон никогда не беседовал с жрецами в святилище богини Нейт об этой загадочной стране, и всю эту свою источниковую базу Платон придумал, как говорится, ad hoc, т. е. к случаю, просто потому, что ему очень уж хотелось убедить читателя в достоверности своей истории?

Скорее всего так оно и было на самом деле. При всем своем наукообразном историческом облачении рассказ Платона так же далек от подлинной истории, как описания Лилипутии или Бробдингнега в «Путешествиях Гулливера» далеки от подлинных географических и этнографических описаний дальних стран, хотя создавший их Свифт, несомненно, сознательно подражал таким описаниям и на свой лад был не менее точен, чем иные путешественники того времени. Но если Свифт в душе лишь злорадно издевался над слишком доверчивым читателем, гипнотизируя его этой мнимой точностью своего повествования, то Платон, несомненно, искренне хотел, чтобы ему поверили. Как хорошо известно, идейно и «Тимей», и «Критий» тесно связаны с большим утопическим трактатом Платона «Государство» (не исключено, что вместе

они должны были составлять единое философское и художественное целое). Об этом свидетельствует уже самое начало беседы в «Тимее», где Сократ призывает своих друзей попробовать представить в действии вымышленное им идеальное государство. Конечно, Сократ мог бы это сделать и сам, сочинив какой-нибудь подходящий к случаю миф (а он ведь был большим мастером этого дела — я, разумеется, имею в виду не реального Сократа, сына Софрониска, о котором мы знаем не так уж много, а придуманного Платоном идеального мудреца), но в этой ситуации Платону было нужно более внушительное и полновесное подтверждение справедливости его теории, а такое подтверждение — он хорошо это понимал — ему могла дать только история, никак не мифология. Очевидно, именно поэтому на роль рассказчика на этот раз выбирается Критий, который, если, конечно, предположить, что это был Критий-тиран, а не его дед, о котором мы почти ничего не знаем, и сам был в некотором роде исторической личностью и уж, во всяком случае, обладал большим политическим опытом, необходимым для историка (Платон особо это подчеркивает). Кроме того, Критий Младший, насколько нам известно, вполне мог бы сойти за историка, а не только за философа, так как им был написан специальный трактат о государственном устройстве Спарты («Лакедемонская полития») — едва ли не первое из сочинений на эту тему. Важные преимущества давало Критию также и его родство с Солоном, самым популярным из семи мудрецов, законодателем и к тому же великим путешественником и знатоком чужих стран, следовательно, тоже потенциальным историком, которому можно было приписать все что угодно. Весь рассказ Крития в обеих его версиях (краткой и пространной) построен как искусная имитация исторического или, скорее, историко-географического повествования. Обширное источниковедческое введение должно сразу же расположить читателя к доверию, показав ему, что история Атлантиды не выдумана и не взята с потолка, а основана на весьма солидных и авторитетных свидетельствах, на непрерывной традиции, восходящей к самым отдаленным «допотопным» временам. Подобно великим основоположникам исторического метода (Геродоту и Фукидиду), Платон широко использует приемы обращения к пережиткам прошлого и сравнения: 1) о погружении Атлантиды свидетельствуют огромные массы ила, которые до сих пор еще делают море в этих местах непроходимым для кораблей; 2) общественный строй Египта такой, каким застал его Солон, в сущности, лишь повторяет сословную систему древнейших Афин и т. д. Помня, что он пишет не миф, а историю, Платон старается избегать в своем повествовании явной фантастики. Там же, где ему приходится говорить о вещах, которые с трудом укладываются в человеческом сознании, он всегда подчер-

кивает, снисходя к слабости воображения своих читателей, что речь пойдет о чем-то невероятном, что, если бы не неопровержимое свидетельство его источника, он и сам бы не мог поверить, что такое бывает на самом деле. Так, описывая канал, окружающий центральную равнину Атлантиды, он замечает: «Если сказать, каковы были глубина, ширина и длина этого канала, никто не поверит, что возможно было такое творение рук человеческих... но мы обязаны передать то, что слышали». Ср. у Геродота: «Я обязан передавать то, что слышал, верить же всему не обязан». Насыщенность платоновского рассказа множеством точных дат, геометрических обмеров различных сооружений и пространств, вообще фактическим материалом также сближает его с повествовательной манерой современных ему греческих историков. Очевидно, Платон был весьма начитан в литературе такого рода и при желании сам легко мог бы писать настоящие, а не фиктивные исторические труды (попытка такого рода была предпринята им в его последнем большом трактате — «Законах», где мы находим весьма любопытный обзор древнейшей истории Греции после Девкалионова потопа). Однако в «Тимее» и «Критии» историческая или, скорее, квазиисторическая оболочка лишь маскирует заключающийся в ней, как косточка в мякоти плода, философский миф (иногда употребляют выражение «научный миф», что, вообще говоря, не очень-то удачно, так как наука и миф — взаимоисключающие понятия, философия же не обязательно является наукой).

Смысл платоновского мифа не до конца нам ясен. Его пониманию препятствует прежде всего незавершенность самой дилогии об Атлантиде. Тем не менее внимательный анализ текста обоих диалогов позволяет хотя бы приблизительно догадываться, куда клонил Платон, рассказывая свою «странную, но абсолютно правдивую историю». Описание древнейших Афин и Атлантиды, составляющее основное содержание пространной версии мифа в «Критии», построено по закону контраста или антитезы. Два государства абсолютно во всем противоположны друг другу. Это очень хорошо показал немецкий исследователь Карл Рейнхардт в своей книге «Платоновские мифы»[22]. Резко различается даже природная среда, в которой развивалась цивилизация древних Афин, с одной стороны, и цивилизация атлантов, с другой (в понимании Платона, страна и народ, который ее населяет, составляют как бы единое нераздельное целое; поэтому он и уделяет так много внимания описанию природы обоих государств). «Допотопная» Аттика была богатой и процветающей страной. Боги в достатке снабдили ее всем необходимым для спокойной и счастливой жизни: землей, водой, лесами и пастбищами.

[22] *Reinhardt K.* Platons Mythen. 1927.

В этом смысле древнейшая Аттика предстает перед нами как идеальный прообраз реальной современной Платону Аттики, которая из-за множества пережитых ею катастроф почти утратила сходство со своим оригиналом, стала безлесной, безводной и поэтому малоплодородной и малопригодной для жизни землей. Но и в те счастливые времена, о которых рассказывает Платон, природа Аттики не была чересчур щедрой к человеку. Она снабжала его самым необходимым, тем, без чего нельзя существовать, но не более того. В ней не было никакой роскоши, никакой чрезмерности. Совсем по-иному описывается природа Атлантиды. Она напоминает великолепный банкетный стол, буквально ломящийся от всевозможных яств. Неслыханное обилие драгоценных металлов, среди которых Платон упоминает загадочный, нигде более не встречающийся орихалк, обилие различных пород строительного камня. Богатейшая растительность, в избытке снабжающая обитателей страны и строительным лесом, и пищей, и ароматическими смолами для изготовления благовоний. Тучные поля, приносящие каждый год двойной урожай. Разнообразный животный мир, включающий даже слонов (Платон особо отмечает, что этих животных, отличающихся невероятной прожорливостью, на острове водилось великое множество — так обильны были его естественные кладовые). Наконец, огромные пространства, во много раз превосходящие территорию Аттики и способные прокормить колоссальное количество людей и животных. Все эти сказочные богатства были легко доступны. От жителей Атлантиды не требовалось никаких особых усилий, чтобы овладеть ими: стоило, как говорится, лишь протянуть руку и взять. Среди всего этого изобилия атланты могли бы жить беспечно и праздно, ни в чем не нуждаясь, подобно людям золотого века в царстве Крона или же Адаму и Еве в садах библейского Эдема. Но мы этого не видим. Напротив, атланты одержимы лихорадочной жаждой деятельности. Подобно участникам знаменитого Вавилонского столпотворения, они непрерывно что-то сооружают: прорывают огромные каналы, оросительные и судоходные, перебрасывают через них мосты, возводят стены вокруг своего города, с необыкновенным искусством украшают золотом, серебром, орихалком, слоновой костью святилища своих богов и царские дворцы, строят гавани, верфи и арсеналы. Все эти сооружения грандиозны так же, как и сама природа Атлантиды. В них есть что-то исполинское, сверхчеловеческое. Очень хорошо писал об этом в своей книге об Атлантиде Д. С. Мережковский[23]: «Сеть исполинских оросительных и судоходных каналов, пересекающих вдоль и поперек великую равнину за Городом, напоминает “систему каналов” на планете Марс... Столь же неимоверны циклопические стены городских

[23] *Мережковский Д. С.* Тайна Запада: Атлантида — Европа. [Б. м.], 1930.

валов и Акрополя — одна, обитая медью, другая — оловом, третья — орихалком... Неимоверны мосты с крепостными воротами и башнями, перекинутые через каналы на такой высоте, что самые большие триремы проходят под ними, не опуская мачт. Неимоверны прорытые сквозь земляные насыпи окружных валов подземные каналы и вырубленные в толще скал, в бывших каменоломнях, подземные, для целых флотов, гавани — светом каких искусственных солнц освещенные? Неимоверны титанические верфи, орудийные заводы, арсеналы, казармы, ристалища, водопроводы, бани, школы, дворцы, сады, священные рощи с деревьями красоты и высоты божественной..., и царственная тишина Акрополя, где живет царь Атлантиды, сын Атласа, "человек-бог", и в торговой части города, с домами из белого, черного и красного камня, в тесных улицах над главной гаванью, переполненной кораблями со всех концов мира, от Гипербореи до Африки, — оглушительный грохот, скрежет, лязг медных машин... и в многоязычной толпе несмолкаемый ни днем, ни ночью гул голосов». На мой взгляд, воображение нашего великого мистика удачно восполняет здесь то, чего не досказал сам автор «Крития».

На фоне роскоши и великолепия цивилизации атлантов жизнь первоначальных Афин производит впечатление патриархальной простоты и скромности. Здесь нет ничего, даже отдаленно напоминающего грандиозные сооружения атлантов. Описывая афинский акрополь тех времен, Платон бегло перечисляет общие жилища сословия воинов, помещения для их совместных трапез, гимнасии, очевидно, устроенные прямо под открытым небом, святилища, опять-таки, судя по всему, самого простого типа. Ничего яркого, запоминающегося, останавливающего внимание. Никаких излишеств и роскоши в быту даже среди представителей господствующего сословия. Платон особо отмечает, что воинам было строжайше запрещено употреблять изделия из драгоценных металлов, и вся их жизнь была подчинена принципу умеренности, являя собой наглядное воплощение знаменитого дельфийского изречения, приписываемого, кстати, Солону: «ничего слишком» (μηδέν ἄγαν). «Блюдя середину между пышностью и убожеством, они (т. е. воины) скромно обставляли свои жилища, в которых доживали до старости они сами и потомки их потомков, вечно передавая дом в неизменном виде подобным себе преемникам».

Если, устраивая жизнь своих атлантов, Платон продумывает до мелочей все, что касается комфорта и гигиены («купальни, из которых одни были под открытым небом, другие же, с теплой водой, были устроены как зимние, причем отдельно для царей, отдельно для простых людей, отдельно для женщин и отдельно для коней и прочих подъяремных животных»), то для обитателей древних Афин философ ничего такого не предусматривает, очевидно, полагая, что с них довольно и того, что

им дала сама природа, а именно проточной воды, которой их снабжает единственный источник на акрополе. В то же время, описывая город атлантов, Платон — и это весьма показательно — ни словом не упоминает о специальных помещениях для коллективных обедов — сисситий, хотя в Афинах такие помещения были устроены.

Отсюда можно сделать вывод, что и само атлантское общество Платон представлял себе, по-видимому, весьма далеким от идеального общественного строя ранних Афин. Во всяком случае, никаких признаков того потребительского коммунизма, который был установлен как непреложный закон и для древнеафинского государства, и для идеального полиса, описанного в «Политии», в Атлантиде мы не находим. Видимо, экономика Атлантиды мыслилась Платоном как экономика большого торгового города типа Афин V–IV вв. или Карфагена с высоко развитыми товарно-денежными отношениями. Ригористическая на спартанский лад уравнительность в повседневной жизни даже среди правящего сословия была бы здесь не уместна.

Еще одна важная черта цивилизации атлантов, как мы бы сказали теперь, это высокий уровень ее научного оснащения. Платон, правда, нигде не говорит специально о научных знаниях атлантов. Но уже из того беглого, как бы с высоты птичьего полета, описания страны атлантов и их главного города, которое автор «Крития» предлагает нашему вниманию, можно понять, как много значила наука в жизни этого народа. Атлантида в изображении Платона это — настоящее царство математики, которой сам философ, заметим это попутно, отводил первое место среди всех других наук. Здесь всюду, как сказал поэт, дышит «жар холодных чисел», все подчинено точному расчету. Ландшафт Атлантиды — это прежде всего комбинация различных геометрических фигур. Главная равнина острова имеет очертания вытянутого в длину прямоугольника, широкой стороной обращенного к морю. Ее природные очертания искусственно подчеркнуты окаймляющим всю равнину гигантским каналом, от которого расходится целая сеть малых каналов. В прямоугольник равнины вписаны три концентрических водяных круга, разделенных двумя земляными кольцами. В центре круга на островке в пять стадиев в диаметре — акрополь столицы атлантов. С морем его соединяет идущий строго по радиусу из центра круга канал. Ширина водяных и земляных колец, опоясывающих акрополь, соотносится как 3 к 2 и к 1. Все это рассчитал и устроил сам владыка Атлантиды Посейдон, как полагает Платон, с единственной целью, чтобы без помех соединиться с прекрасной девой Клейто, от которой пошел царский род атлантов. Грандиозные архитектурные и инженерные сооружения атлантов предполагают, что их создатели владели обширными познаниями в механи-

ке, физике, геологии, химии и других науках. Однако знания научные тесно переплетаются в культуре Атлантиды со знаниями совсем иного свойства, а именно с магией и колдовством. Точные математические расчеты, положенные в основу атлантских сооружений, при внимательном изучении оборачиваются пифагорейской мистикой чисел, дань которой Платон отдал во многих своих произведениях. Об этом хорошо сказал все тот же Д. С. Мережковский: «Математической точностью он, может быть, хочет уверить нас в действительности того, что описывает; но это плохо ему удается: мифом пахнет его математика... Так в ледяных кристаллах геометрии закипает у Платона огненное вино мистерии; проступает сквозь математику страшно-огромный сон самого титана, небодержца Атласа». Магическая подоплека цивилизации атлантов особенно ясно проступает в той части «Крития», где Платон очень подробно и с видимым удовольствием описывает загадочные и довольно мрачные обряды, которыми сопровождались происходившие через каждые пять или шесть лет встречи десяти царей Атлантиды, во время которых, как здесь сказано, «они творили суд и подвергались суду».

В отличие от атлантов граждане первоначального афинского государства не знают ни магии, ни науки. Судя по тому, что рассказывает о них Платон, они живут в почти первобытной чистоте и невинности, еще не вкусив плодов от древа познания. Во всем полагаются они на богов и не пытаются подчинить себе силы природы с помощью тайных знаний, как это делают атланты, а лишь приспосабливаются к ним. Их жизнь более естественна и поэтому более гармонична.

И, наконец, еще одно важное различие существует между двумя государствами. Атлантида такая, какой описывает ее Платон, — прежде всего военная держава, жадно стремящаяся к захвату чужих земель и покорению других народов. Среди невероятного обилия даров природы, обладая несметными богатствами, атланты с завистью взирают на своих соседей и стремятся завладеть их достоянием. Это вынуждает их непрерывно наращивать свои воинские силы. Военная мощь атлантов не знает себе равных. По исчислениям Платона, их пешее войско составляло 1200 тыс. человек, конница насчитывала 240 тыс. коней и 10 тыс. боевых колесниц, флот — 1200 военных судов. С этими силами атланты не только утвердили свое владычество по сю сторону столбов Геракла на океанских побережьях Европы и Ливии, но и вторглись в пределы Средиземноморья, завоевав весь северный его берег вплоть до Тиррении и весь южный вплоть до Египта. Лишь вмешательство афинян смогло остановить их дальнейшее продвижение. Вместе с тем, как и всякие агрессоры, атланты живут в непрерывном страхе и ожидании вражеского вторжения на свою территорию. Видимо, поэтому они превратили

свой город в неприступную крепость с тщательно продуманной системой оборонительных сооружений.

Древнейшие Афины, судя по описанию Платона, также были могущественным государством, хотя во внешнем исчислении их военное могущество не идет в сравнение с силами атлантов (Платон сообщает, что сословие воинов, или стражей, из которого комплектовалась основная часть афинского войска, насчитывало 20 тыс. человек). Власть афинян простиралась в те времена на всю Элладу, хотя основывалась эта власть не на насилии, как владычество атлантов, а на добровольном подчинении худших лучшим. «Во всей Европе и Азии, — замечает Платон, — не было людей более знаменитых и прославленных (чем афиняне. — *Ю. А.*) за красоту тела и за многостороннюю добродетель души». В описании древних Афин мы не найдем тех, видимо, сознательно подчеркнутых признаков милитаристского империалистического государства, которыми Платон наделил свою Атлантиду.

Итак, цели, которые великий философ ставил перед собой, приступая к созданию мифа об Атлантиде, как будто ясны. Судя по всему, Платон хотел столкнуть между собой два прямо противоположных и потому по своей природе враждебных друг другу типа государства и посмотреть, что из этого получится. Впрочем, исход этого столкновения был, по-видимому, с самого начала для него ясен. Если учесть, что свое праафинское государство Платон, несомненно, сознательно сделал точной копией того идеального утопического полиса, или аристократии, который он во всех деталях обрисовал в своем большом трактате «Государство», а Атлантиде столь же сознательно придал черты во всем противоположного аристократии ненормального или, как выражается сам философ, «лихорадящего» государственного устройства, то становится совершенно очевидным, что победу в этой титанической борьбе двух миров должны были одержать, конечно же, афиняне. Платон и сам не скрывает своих намерений, заявляя уже в самом начале «Тимея», что ему хотелось испытать свою схему идеального полиса, представив его в действии, а лучшим способом такого испытания была бы, конечно, война. Что касается государства атлантов, то его поражение в борьбе с афинянами должно было стать, по мысли философа, достойной расплатой за непомерную титаническую гордыню этого народа. Гордыня эта проявляет себя абсолютно во всем: и в невероятной роскоши, которой обставлена повседневная жизнь атлантов, и в грандиозности и великолепии их построек, в которых они явно стремятся соперничать с самой природой, и в их тайных магических знаниях, которые ставят их чуть ли не вровень с богами, и, наконец, в их претензиях на мировое господство. За все это атланты должны были рано или поздно жестоко поплатиться, и, конечно, далеко не слу-

чайно то, что орудием божественного возмездия за их прегрешения стало государство во всех отношениях противоположное их собственному: не знающее того обилия земных плодов, которым боги так коварно наградили Атлантиду, живущее в добром согласии с природой, не ведающее роскоши и тайных знаний, не стремящееся к захватам. Разительное неравенство сил обеих противоборствующих сторон (20 тыс. афинян, которым к тому же изменили их союзники, против несметных полчищ атлантов), очевидно, должно было еще сильнее и резче подчеркнуть главную мысль Платона: поражение и гибель Атлантиды были неизбежны, можно даже сказать, что она сама несла в себе свою гибель.

У многих, кто читал «Тимея», эта концовка истории вызывает недоумение. Атланты несут наказание за свое нечестие — это в общем логично и понятно. Но зачем было отправлять в преисподнюю доблестных и благородных афинян, покрывших себя неувядаемой славой и как будто ни в чем не провинившихся перед богами? На первый взгляд, здесь явное попрание законов жанра: ведь во всякой порядочной драме под занавес проваливается в тартарары, к вящему удовольствию публики, закоренелый злодей, но никак не добродетельный герой. Д. С. Мережковский по этому поводу замечает: «Здесь у Платона концы с концами не сходятся: начал за здравие, кончил за упокой Сократовой и своей Республики. Град Божий — плод всей своей мудрости — хотел вознести до неба и низверг в преисподнюю; только что попробовал сдвинуть его неподвижную схему, как все обрушилось, словно песочная башенка, игрушка детей...» И немного позже такой вывод: «Люди перед смертью иногда сходят немного с ума: “Атлантида” — такое безумие Платона».

Мне кажется, что ни о каком сумасшествии здесь не может быть и речи. Просто Мережковский, видимо, не очень внимательно прочел все, что говорилось в «Тимее» до этого. Как вы помните, Платон постоянно возвращается к одной и той же мысли — как обидно коротка историческая память человечества. Объяснение этого факта Платон находит в периодически повторяющихся глобальных катастрофах, уничтожающих в первую очередь всю мыслящую образованную часть рода человеческого. Трагическая гибель граждан праафинского государства логически вытекает из этого общего положения. Она нужна Платону как ответ на вопрос: почему навсегда исчезла из памяти людей вся эта потрясающая история о борьбе афинян с атлантами? О ней забыли просто потому, что уже некому было передать ее потомкам. Вот для этого Платону и пришлось погубить весь цвет афинского гражданства.

Острота изображенного Платоном конфликта еще более усугубляется тем, что своих праафинян он делает чистокровными эллинами и вождями всех других эллинов, их же противников, без всяких околичностей,

называет «варварами» (варварство атлантов парадоксальным образом — для нас, конечно, а не для Платона — уживается с их необыкновенно высокими достижениями во всевозможных науках и искусствах, с поразительной организованностью и упорядоченностью всего их общества). Этот акцент на этнической (не только культурной и социальной) противоположности, можно даже сказать, несовместимости враждующих государств должен был живо напомнить читателям «Тимея» и «Крития» другие более поздние столкновения эллинского и варварского миров: греко-персидские войны, борьбу западных греков с карфагенской агрессией.

Вместе с тем нельзя не заметить, что в отношении самого Платона к созданному его воображением государству атлантов есть известная двойственность и непоследовательность. Вероятно, следовало ожидать, что, поставив своей главной целью изображение извращенного и потому обреченного на гибель государства (Атлантида должна была стать своеобразной антиутопией в противовес подлинной утопии, воплощенной в праафинском государстве), философ постарается сразу же вызвать у читателя неприязнь и даже отвращение к цивилизации атлантов. Но с этой задачей, если он действительно стремился ее решить, Платон не сумел до конца справиться. Как это нередко бывает в истории литературы, писателя захватило и подчинило себе создание его же собственного воображения, и дальше уже трудно было понять, кто кем управляет: автор своей фантазией или же она им. Живописуя порочную в своей основе жизнь чудесного острова, Платон сам поддался ее соблазнам. Он с видимым наслаждением любовно и старательно изображает роскошь и богатство этой жизни, невероятную щедрость природы, великолепие и мощь архитектурных сооружений. Ему доставляет неизъяснимое удовольствие бесконечное нанизывание цифр и геометрических фигур в описании страны и города атлантов. Он явно увлечен идеей широкого применения научных и одновременно магических познаний в устройстве всей жизни огромного государства. Вспомним, что Платон и сам был великим ученым и одновременно гениальным мистиком, и, следовательно, в строго расчисленный, подчиненный математической гармонии и вместе с тем таинственный мир Атлантиды он должен был вложить самые сокровенные свои помыслы. Недаром именно Атлантида с ее роскошью, варварской экзотикой, ее магией, причудливо смешанной с рационализмом, оказала такое огромное влияние на всех позднейших утопистов от Т. Мора до Г. Уэллса. Видимо, понимая, что он повел свой рассказ не совсем в том направлении, в котором следовало бы его вести, Платон уже в самом конце «Крития», как бы спохватившись и возвращаясь к первоначальному своему замыслу, быстро и как-то сбивчиво

объясняет читателю, что вначале атланты были добродетельны и не поддавались развращающему влиянию окружающего их богатства, но малопомалу заложенное в них их прародителем Посейдоном божественное начало смешалось с человеческим и утратило, таким образом, свою силу, что привело к их нравственной деградации, а затем и к гибели. Вполне возможно, что философ сам почувствовал определенную нелогичность и противоречивость созданной им картины, и именно это заставило его отложить в сторону столь блестяще начатый диалог, к которому он потом так и не сумел вернуться.

Как бы то ни было, изначальная художественная и идейная заданность платоновского мифа не вызывает никаких сомнений. Несмотря на некоторые логические неувязки, все в нем подчинено единой, с самого начала четко сформулированной самим философом цели. Миф об Атлантиде для того и придуман Платоном, чтобы служить наглядной иллюстрацией к его же общетеоретическим построениям в трактате «Государство». А так как эти построения не имеют ничего общего с реальной историей, то бесполезно было бы искать эту историю также и в «Тимее» и «Критии», поскольку оба эти диалога (в той их части, где рассказывается об Атлантиде) представляют собой не более чем художественное воплощение и развитие идей «Государства». Отсюда следует, что мы не имеем никакого права рассекать платоновский миф на части, отделяя в нем историю (описание Атлантиды) от вымысла (описание праафинского государства), как это делает, например, Н. Ф. Жиров. Как мы только что видели, обе эти части мифа неразрывно связаны между собой как две диалектические противоположности, и пытаться разделить их так же бессмысленно, как и пытаться разделить аверс и реверс одной и той же монеты. Отсюда следует также, что любые поиски единственного реального прототипа Атлантиды, в каком бы направлении они ни шли, никогда и ни к чему нас привести не могут. Образ государства атлантов был создан, прежде всего, силой могучего воображения Платона, которое переплавило в единое художественное целое множество реально существовавших и никогда не существовавших на деле прототипов этого государства. Пытаться выделить среди этого множества какой-то один главный прообраз — дело, судя по всему, совершенно безнадежное, хотя за него брались и все еще берутся сотни людей, воображением которых завладела гипнотическая сила платоновского рассказа.

Такое решение проблемы не снимает, однако, вопроса о источниках мифа об Атлантиде. Я подчеркиваю, что речь может идти лишь о многих разных источниках, так как версия единого египетского источника, которую упорно навязывает нам сам Платон, должна быть решительно отвергнута. Конечно, сейчас невозможно уже представить всю ту массу

разнообразной устной и письменной информации, из которой Платон черпал необходимые ему сведения, а вместе с ними и пищу для своего воображения.

Бóльшая часть этой информации безвозвратно утрачена. Поэтому нам придется ограничиться лишь некоторыми более или менее правдоподобными догадками и предположениями. Центральное место среди источников Платона, вероятно, занимала греческая фольклорная традиция, в то время частью уже отлившаяся в форму канонических сказаний и мифов, частью же еще не устоявшаяся и не перебродившая, возможно, даже нигде не записанная и существовавшая лишь в виде устных новелл или сказок. Платон, несомненно, хорошо знал древний миф о титане Атласе, держащем на своих плечах небесный свод. Как я уже говорил, в древнейшем гомеровском варианте мифа Атлас помещен где-то на отдаленной окраине земли (западной или восточной — это не совсем ясно). Поэт характеризует его как «кознодея» — волшебника, которому «ведомы все глубины моря» (не совсем понятно, конечно, когда он мог их изучить, если он ни на минуту не мог оставить свою чудовищную ношу, но самого поэта это, видимо, не смущает).

В других сказаниях, например в мифе о подвигах Геракла, Атлас ассоциируется с садами Гесперид (буквально «вечерниц»), что уже более определенно указывает на дальний запад, хотя установить точное местоположение титана на основании отрывочных и неясных указаний в мифах, конечно, невозможно. Уже в этом первоначальном ядре предания можно уловить некоторые намеки на будущую платоновскую Атлантиду. Чрезвычайная удаленность Атласа от мест, населенных людьми, могла подсказать Платону, что его сказочный остров должен лежать где-то вне досягаемости тогдашних мореплавателей, а, стало быть, наиболее подходящим для него местоположением будут бескрайние просторы океана за столбами Геракла, тем более что греческие географы V–IV вв., видимо, уже связывали с Атласом и сам океан, который стал называться «Атлантическим морем» задолго до Платона (уже у Геродота), и расположенные на нем острова. Сады Гесперид с их знаменитыми золотыми яблоками со временем легко могли трансформироваться в ту картину настоящего земного рая, с которой Платон начинает свое описание Атлантиды. Наконец, магическая окрашенность цивилизации атлантов, о которой я говорил прежде, может рассматриваться как отдаленное эхо магических способностей самого Атласа и его дочери, нимфы Калипсо. Разумеется, мы должны считаться с тем, что прежде чем дойти до Платона, миф об Атласе многократно подвергался переработкам, в него вносились все новые и новые подробности, которых не было, скажем, у Гомера или в первоначальном варианте Гераклова

додекатлона. Платон, несомненно, был знаком с сочинениями таких греческих историков V в., как Гекатей из Милета и Гелланик Лесбосский. Оба они очень много сделали для систематизации греческой мифологии, разбив ее на циклы, связанные с именами главных богов и героев. Особенно много работал в этом направлении Гелланик. Среди его сочинений на мифологические темы был загадочный труд, носивший название «Атлантида» или «Атлантиада». Судя по сохранившимся отрывкам, это сочинение представляло собой развернутую генеалогию рода Атласа. Гелланик подробно рассказывал о дочерях титана — Плеядах, его внуках и более отдаленном потомстве. Возможно, в этой книге уже содержались и какие-то упоминания о стране, носившей имя Атлантида, и о народе атлантов (этот народ известен уже Геродоту, хотя помещает он его не там, где Платон). А. И. Немировский высказал предположение о том, что весь цикл мифов об Атласе и его потомках был тесно связан с Критом[24], из чего следует, что первоначальная доплатоновская Атлантида — это и есть Крит. С этим мнением трудно, однако, согласиться. Ни в одном из дошедших до нас вариантов мифа об Атласе нет никаких указаний на его связь с Критом. Лишь некоторые из потомков титана имели отношение к этому острову, но этого еще недостаточно, чтобы доказать тождество Крита и Атлантиды. Тем не менее влияние книги Гелланика на Платона представляется весьма вероятным.

Если вернуться теперь снова к Гомеру, то в его «Одиссее» мы обнаружим еще один возможный источник платоновского мифа. Таким источником можно считать VI, VII, VIII, а отчасти также XIII песни поэмы, в которых рассказывается о пребывании Одиссея на сказочном острове феаков и о его возвращении на родину. В гомеровском описании страны и города феаков есть черты, живо напоминающие платоновскую Атлантиду. Удаленное местоположение на острове среди необъятного моря, как говорит поэт, «далеко от людей промышленных», плодородная тучная земля и пышная растительность (вспомним известное описание великолепного сада царя Алкиноя, где круглый год плодоносят разнообразные деревья и виноградные лозы, где постоянно веет теплый зефир и бьют два ключа так же, как на акрополе атлантов), неисчислимые богатства царской семьи, на которые Одиссей, как бедный провинциал, смотрит, как говорится, «раскрыв рот», роскошный дворец того же Алкиноя, в изобилии отделанный бронзой, золотом и серебром, так что внутри него все сияет (вспомним стены атлантской цитадели, оббитые медью, оловом и сверкающие орихалком), наполненный редкостными произведениями искусства (две собаки работы самого Гефеста, одна

[24] *Немировский А. И.* Две Атлантиды // Вопросы истории. 1978. № 3. С. 214 слл.

из золота, другая из серебра; золотые статуи юношей, выполняющие функции канделябров; множество дорогих искусно вышитых тканей), наконец, сам город феаков, многолюдный и богатый, окруженный могучими стенами, с прекрасно устроенной гаванью, с храмом Посейдона на главной площади (также и в городе атлантов мы видим храм того же божества в самом его центре), привольная жизнь его обитателей, заполненная танцами, музыкой. Все эти детали, складываясь вместе, создают впечатление волшебной страны, близко напоминающей те картины земного рая, которые Платон включил в свое описание Атлантиды. Правда, ничего особенно фантастического с Одиссеем в городе феаков не происходит (можно предположить, что Гомер сознательно приглушил те сказочные мотивы, которые, несомненно, наличествовали в первоначальном фольклорном варианте мифа, например, не получила должного развития тема романа героя с дочерью царя феаков прекрасной Навзикайей; в «Одиссее» остались лишь некоторые намеки на такую возможность). Подлинно чудесные события совершаются уже под занавес, в самом конце этого эпизода поэмы. Объятого глубоким волшебным сном Одиссея феакийские мореходы доставляют на своем корабле на его родной остров, так что сам герой даже не замечает, как это произошло. На обратном пути разгневанный этим их поступком Посейдон обращает корабль феаков в камень на глазах у собравшегося в гавани народа. Злобный бог собирается осуществить и другую еще более страшную свою угрозу — задвинуть высокой горой сам город феаков, чтобы он навсегда исчез из глаз людских (здесь у Гомера действует обычная логика волшебной сказки: таинственная страна после того, как тайну ее раскрыл кто-то из смертных людей, должна навсегда исчезнуть). Этот последний мотив уже очень близко напоминает трагическую судьбу Атлантиды.

У Гомера же (также в «Одиссее») мы находим и первое в греческой литературе описание Элизиума, или «островов блаженных». В IV песни (563 слл.) поэмы морской старец Протей говорит, обращаясь к Менелаю:

> Ты за пределы земли, на поля Елисейские будешь
> Послан богами — туда, где живет Радамант златовласый.
> (Где пробегают светло беспечальные дни человека,
> Где ни метелей, ни ливней, ни хладов зимы не бывает;
> Где сладкошумно летающий веет Зефир, Океаном
> С легкой прохладой туда посылаемый людям блаженным).

У более поздних поэтов (уже у Гесиода) Елисейские поля отождествляются с царством Кроноса и описываются как место посмертного отдыха и блаженства усопших героев (простые смертные туда попасть ни под каким видом не могли). И Элизиум, и Атлас с садами Гесперид, и остров феаков, по всей видимости, воспринимались древнейшими греческими поэтами как места, расположенные в близком соседстве друг с другом. Их местоположение так или иначе связывалось с отдаленной, чаще всего западной окраиной земного диска и с океаном. Правда, сам океан еще рисовался воображению этих поэтов как нечто весьма туманное и расплывчатое. География его берегов явно была им неизвестна. Для Гомера океан — всего лишь широкая река, опоясывающая всю землю. Одиссей пересекает океан в течение одного дня и также быстро возвращается обратно. Гомер, по-видимому, еще ничего не знает о проливе, соединяющем это «Внешнее море» с «Внутренним», или Средиземным. Во всяком случае, он нигде о нем не упоминает. То же самое можно сказать и о Гесиоде. Лишь в VI в., когда греческие колонисты достигли берегов Галлии и Испании, вступив там в тесные контакты с западными финикийцами и карфагенянами, которые в то время, несомненно, уже хорошо знали дорогу в океан, эта западная окраина древнего мира стала постепенно приобретать более четкие географические очертания. Все Западное Средиземноморье к тому времени было достаточно хорошо изучено греками, и здесь уже не осталось места для сказочных островов, населенных персонажами древних мифов. Их пришлось перенести за столбы Геракла в океан или на обращенное к океану западное побережье Африки. Вполне возможно, что в VI–V вв. до греков уже доходили какие-то неясные слухи об открытых финикийскими или карфагенскими мореплавателями островах в океане. Это могли быть острова Мадейра, Канарские и, возможно, даже Азорские. Греческие географы, очевидно, решили, что это и есть острова Блаженных, острова Гесперид и другие им подобные. Сами греки, однако, в океан выходили очень редко (плавания Евтимена и Пифея). Этому препятствовали и естественные трудности, сопутствовавшие предприятиям такого рода, и ревнивый надзор карфагенян, упорно стремившихся не допускать чужеземные суда в район Гибралтарского пролива. Впрочем, и еще позднее, когда карфагенский барьер, преграждавший путь в океан, давно уже был сломан и когда, в результате римских завоеваний в Западной Европе и Африке, побережье океана стало естественной границей античного мира, изучение западной его части не продвинулось особенно далеко вперед. Неудивительно, что вплоть до конца античной эпохи в географической литературе продолжали жить легенды о труднопроходимости или даже непроходимости значительной части океана то ли

по причине мелководья и безветрия, то ли из-за необыкновенно густых зарослей водорослей и сильной загрязненности воды плавающим илом. Какие-то слухи этого рода, видимо, доходили и до Платона, и они пригодились ему как подтверждение его теории о погрузившемся в воды океана материке. В целом античная цивилизация всегда была ориентирована скорее вовнутрь занимаемой ею географической зоны — на давно обжитые, ставшие привычными берега Средиземноморья, отнюдь не на казавшиеся безграничными просторы Атлантики. Все это обширное пространство в те времена не находило никакого практического применения, и это неизбежно должно было превратить его в заповедник сказочной фантастики, в «тридевятое царство, тридесятое государство», где могли происходить всевозможные чудеса, немыслимые в пределах самой античной ойкумены.

Очевидно, и в V–IV вв., и еще позднее в эпоху эллинизма семейство сказочных островов, лежащих в океане, не только не сократилось, но, напротив, продолжало разрастаться. И, таким образом, образовалась обширная фольклорная традиция, из которой Платон мог выбирать казавшиеся ему подходящими сказочные мотивы и образы. К сожалению, от этой традиции до нас дошли лишь незначительные чудом уцелевшие фрагменты. Но среди этих обрывков есть такие, которые обнаруживают любопытные признаки родства с платоновским мифом об Атлантиде. Такова, например, занимательная история, которую передает со ссылкой на Феопомпа, известного историка IV в., Элиан, автор так называемых Пестрых рассказов (сборник всевозможных анекдотов и небылиц, составленный во II–III вв. н. э.)[25]. При всем различии стилистики и общего смысла истории Феопомпа и платоновского мифа между ними немало общего. Феопомповский материк, в сравнении с которым Европа, Азия и Ливия — лишь острова, живо напоминает платоновское определение Атлантиды — «остров, превосходящий Ливию и Азию, вместе взятые». Материк Феопомпа населен крупными животными так же, как Атлантида слонами. Два города с противоположным укладом жизни: воинственный Махим и миролюбивый Евсебес противостоят друг другу так же, как у Платона Атлантида и Афины. Подобно атлантам, обитатели Махима неуемны в своей агрессивности и, не довольствуясь своим господством над ближайшими соседями, замышляют завоевание также и островов, лежащих за океаном, но останавливаются, достигнув страны праведных гипербореев. Подобно атлантам, обитатели феопомповского материка так богаты драгоценными металлами, что ценят их меньше, чем прочие люди железо. Наконец,

[25] *Элиан.* Пестрые рассказы. М.; Л., 1963. III, 18.

то обстоятельство, что жители сказочного материка неуязвимы для железного оружия, но зато легко могут быть убиты камнями или дубинами, находит некоторый отзвук в платоновском рассказе об охоте царей Атлантиды на диких быков, во время которой они не могли пользоваться никакими предметами, сделанными из железа, а только палками и веревками, хотя у Платона этот мотив получает иное осмысление, нежели у Феопомпа.

Достаточно наивная сказка, записанная Феопомпом, еще очень близка к традициям подлинно народного устного творчества. Едва ли ее источником могла стать платоновская история Атлантиды, хотя такую мысль можно встретить в специальной литературе, она основывается лишь на том, что Феопомп жил позже Платона. Но у обоих писателей мог быть один общий источник или, что еще более вероятно, несколько таких источников, чем и объясняются черты известного сходства в их повествованиях. Феопомп не называет своих гигантов «атлантами», а заселенный ими материк «Атлантидой» (по некоторым сведениям — см. Strabo, VII, 299 — этот материк назывался «Меропией», а живущий там народ соответственно «меропами». Кстати, Меропа — одна из Плеяд, дочерей Атласа). Однако, как я уже говорил, народ атлантов был известен еще Геродоту, который поселил их, правда, не на острове и не на отдельном материке, а в некоем оазисе где-то на западе Ливии, у подножия горы Атлас. Атланты включены историком в длинный перечень полумифических и совершенно мифических племен, населяющих великую ливийскую пустыню, т. е. Сахару, и смежные с ней области. В этот перечень входят также гараманты, пещерные эфиопы, атаранты и другие. От соседних с ними народов атланты отличаются, по словам Геродота, двумя особенностями: они никогда не видят снов и не употребляют в пищу ничего живого, очевидно, обходясь только растительной пищей и молоком. Первая особенность атлантов совершенно уникальна, зато вторая сближает их с известными уже Гомеру галактофагами, т. е. «млекоедами» или же абиями — обитателями дальнего севера и, как замечает поэт, «праведнейшими людьми». Сейчас уже невозможно, конечно, установить, существовал ли в действительности такой народ в ливийской пустыне, а если существовал, то как он назывался на самом деле (имя «атланты», скорее всего, походя придумано самим Геродотом или же каким-то греческим его информатором, может быть, Гекатеем и образовано от названия горы Атлас). Как бы то ни было, кроткие и незлобивые геродотовские атланты еще мало похожи на гордых и воинственных атлантов Платона. Они больше напоминают миролюбивых обитателей города Евсебеса в феопомповской Меропии.

С геродотовской характеристикой атлантов перекликается и то, что много позже писал о них Диодор Сицилийский. Его атланты — также мирный народ, живущий в некоей благословенной стране с необыкновенно плодородными землями (снова, как и у Феопомпа, отголоски древних мифов об «островах Блаженных»). Врагами этих атлантов оказываются, как ни странно, женщины-воительницы — амазонки. Видимо, так же, как и Геродоту, Диодору была известна какая-то независимая от Платона традиция об атлантах, возможно, восходящая ко временам более ранним, чем платоновская Атлантида.

И еще один немаловажный момент. Если предположить, что когда-то титан Атлас, держащий на плечах небесный свод, помещался не где-то на дальнем Западе, а в пределах самого Эгейского мира, что, в общем, вполне вероятно, учитывая эгейское происхождение мифа, то наиболее подходящим местом для него была бы опять-таки Фера, величественный вулканический конус, который вполне мог бы сойти за титана, подпирающего небо (эту иллюзию должен был еще больше усиливать столб дыма, выходящий из кратера). Сам остров в этом случае вполне мог называться Атлантидой, т. е. землей Атласа. Гибель вулкана должна была заставить обитателей окрестных островов и побережий подыскать для титана какое-то другое место уже за пределами Эгеиды, так как небо ни в коем случае не могло остаться без опоры. И последнее. Находка замечательной фрески в так называемом Доме адмирала с изображением эскадры военных кораблей, а также бросающееся в глаза богатство городских домов Акротири, раскопанных Маринатосом, позволяют предполагать, что здесь, на Санторине, во II тыс. находилось одно из самых больших пиратских гнезд Эгейского бассейна. Возможно, слухи о грабительских набегах обитателей Феры на более мирных и не столь искусных в мореплавании жителей материка, хотя бы в той же Аттике, так же, как и слухи о их магическом владении тайнами металлов, как раз и создали тот первоначальный прообраз цивилизации атлантов, который, постепенно меняя свою форму и содержание, через множество промежуточных инстанций дошел в конце концов до Платона. Хотя еще раз должен повторить, что это, по-видимому, лишь один из множества источников платоновского мифа. О многих других мы просто ничего не знаем.

Не вдаваясь в подробное рассматривание этой проблемы, назову лишь один из, на мой взгляд, наиболее вероятных источников Платона. Источник этот важен и интересен тем, что позволяет локализовать первоначальное зерно мифа все же не где-то на просторах Атлантики, а в Эгейском море. Я имею в виду любопытное предание, происходящее с острова Кеоса, расположенного неподалеку от побережья Аттики. Это предание

использовал Пиндар при работе над своим 4-м пеаном. К сожалению, от самого пеана остался лишь небольшой фрагмент, смысл которого не вполне ясен. В отрывке мы читаем такие слова (их произносит царь Кеоса Евксантий): «Боюсь Зевса-Воина и боюсь землетрясущего бога (Посейдона), чей гулок удар: молнией и трезубцем землю и люд обрушили они в тартаровы недра и оставили только мою мать в терему за красной оградой» (перевод М. Л. Гаспарова)[26]. По некоторым другим сведениям, матерью Евксантия, уцелевшей во время описываемой катастрофы, была прекрасная нимфа Дексифея, дочь Дамона, царя тельхинов — демонического племени колдунов, которым первоначально принадлежал остров Кеос. Зевс, разгневанный на тельхинов за их нечестие, решил разрушить их город, хотя дочерям Дамона была предоставлена возможность спастись. Конец этой истории был счастливый: к Дексифее посватался сам Минос, владыка Крита, и от их союза родился Евксантий.

В связи с этим заслуживают внимания определенные черты сходства, существующие между тельхинами и платоновскими атлантами. Как и атланты, тельхины тесно связаны с Посейдоном (по одному из вариантов мифа, они — водяные демоны, спутники и дети Посейдона). Подобно атлантам, они обладают колдовскими познаниями, причем их магическое искусство особенно ярко проявляется в овладении тайнами металлов (тельхины — народ искусных кузнецов), что опять-таки напоминает о необычно высоком развитии металлургии в Атлантиде. Наконец, как и атланты, тельхины — нечестивое племя, вызвавшее против себя гнев богов и уничтоженное ими, причем их остров, подобно Атлантиде, проваливается в бездну вместе со всем своим населением.

Вполне возможно, что Платон что-то знал об этих событиях, тем более что они происходили в непосредственной близости от его родного города, и каким-то образом использовал миф о кеосских тельхинах в своем рассказе об Атлантиде. С другой стороны, можно предположить (эта мысль была высказана уже Сп. Маринатосом), что сам этот миф представляет собой отдаленный отзвук санторинской катастрофы, происходившей очень близко от Кеоса и, вероятно, сильно подействовавшей на воображение его жителей. Если это действительно так, то высказываемые сейчас догадки о существовании связи между санторинским извержением и платоновским мифом об Атлантиде могут оказаться не вполне беспочвенными, хотя связь эта, конечно, намного сложней, чем думает Люс и другие авторы, все еще убежденные в египетском происхождении предания.

[26] *Пиндар. Вакхилид.* Оды. Фрагменты / подгот. изд. М. Л. Гаспарова. М., 1980.

Следует также иметь в виду, что предания о тельхинах не были намертво привязаны к одному-единственному месту, которым был остров Кеос. Судя по всему, они имели самое широкое хождение в пределах Эгейского мира. Известен, например, родосский вариант этого предания. Вполне возможно, что существовал и еще один такой вариант, связанный с островом Фера, хотя античная традиция до нас его не донесла. Между тем Фера — Санторин с ее вулканом — самое подходящее место для кузницы тельхинов, сковавших трезубец для самого Посейдона. Вспомним, что другую такую кузницу, только не тельхинов, а Гефеста, древние помещали в недрах острова Лемноса, являющегося единственным очагом вулканической активности в северной части Эгеиды.

Возможно также, что какое-то влияние оказали на Платона и некоторые древневосточные мифы типа библейских сказаний о Содоме и Гоморре или о гибели войска египетского фараона в волнах Красного моря (этим я не хочу сказать, что Платон, как иногда думают, в подлиннике читал книги Ветхого завета; едва ли он мог это сделать, не зная древнееврейского и вообще семитских языков, но он мог познакомиться с этими мифами в каких-нибудь греческих пересказах и переложениях). Наконец, как мы уже говорили и раньше, Платон, несомненно, был весьма начитан в современной исторической и историко-географической литературе. Из этой литературы он мог почерпнуть многообразные сведения о роскоши и богатстве стран Востока, о великолепии их городов и царских резиденций. Некоторые детали этих описаний он мог перенести в свою Атлантиду. Так, описание главного города атлантов в «Критии» живо напоминает геродотовское описание столицы Мидийского царства Экбатан (I, 98). У Геродота мы находим ту же кольцевую планировку, те же кольца стен, выкрашенных в разные цвета и даже украшенных золотом и серебром, что и у Платона. Известное сходство существует также между описанием города атлантов и описанием Вавилона в книге того же историка (I, 178–181). Сеть каналов, которыми Платон расчертил центральную равнину Атлантиды, опять-таки вызывает в памяти ирригационные системы Египта и Двуречья.

Великолепно устроенные гавани атлантов философ мог скопировать с портовых сооружений своего родного города Афин, Сиракуз или Карфагена, который он хотя и не видел своими глазами, но мог о нем немало знать по слухам.

Итак, создавая свой воображаемый остров в Атлантическом океане, Платон мог использовать самый разнородный материал, происходящий из множества различных, чаще всего никак не связанных между собой источников. Внимательный анализ показывает, что в основе мифа

об Атлантиде лежит причудливая мозаика, составленная из разрозненных кусочков — фрагментов древней мифологической традиции частью греческого, частью, возможно, восточного происхождения и описаний дальних стран в сочинениях греческих историков и географов. Но все эти пестрые осколки уже не производят впечатления хаотической разнородной массы. Мы, собственно, даже и не подозреваем о их существовании. Нужна, как вы только что могли убедиться, большая аналитическая работа для того, чтобы распознать их в тексте платоновских диалогов. Настолько велика сила художественного убеждения, вложенного Платоном в его рассказ, и настолько сам этот рассказ подчинен одной идее, одному грандиозному замыслу, что мы далеко не сразу начинаем понимать, что перед нами, в сущности, лишь сплав, искусно составленный из множества разнородных компонентов. Подобно зодчему, который берет камень из древних развалин для своей постройки, Платон воздвигает из обломков древних сказаний и мифов свой новый миф, разительно на них непохожий, наполненный совершенно иным содержанием.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Атлантида Платона и Феопомпова Меропия (Aelian. Var. His., III, 18)

Разногласия. 1) У Платона Атлантида — остров, превышающий величиной Ливию и Азию (Crit. 108, e). У Феопомпа Меропия — единственный настоящий материк, тогда как Европа, Азия и Ливия — острова, со всех сторон омываемые океаном. Феопомп, как и Платон, здесь явно намекает на разницу в размерах, но разница здесь не только количественная, но и качественная: острова и материк. У Платона нет как будто и намека на эту явную географическую нелепицу, и Феопомп скорее всего сам до нее додумался или же взял из какого-то неизвестного нам источника.

2) Источником, к которому восходит эта «удивительная история», у Феопомпа назван Силен, а не египетский жрец из храма Нейт. Зачем понадобилось введение этого персонажа, если предположить, что Феопомп в основном следовал за Платоном, остается, в общем, непонятным (что вообще известно о Силене или Силенах как мудрецах и носителях тайных знаний?).

3) Жители Меропии — великаны, ростом вдвое превосходящие простых смертных и живущие вдвое больше, чем они. Об атлантах у Платона ничего подобного не говорится.

4) Два главных города Меропии — Махим и Евсебес — расположены на одном материке, а не на разных, как Афины и Атлантида у Платона.

5) Краткое описание Евсебеса не имеет ничего общего с подробным описанием древнейших Афин в «Критии». Скорее это сжатая до предела картина золотого века в духе Гесиода. Также и частые посещения жителей Евсебеса богами — деталь отнюдь не платоновская (скорее, она восходит к феакийским песням «Одиссеи»).

6) В описании жителей Махима также лишь немногое напоминает Платона: это прежде всего их ненасытная жажда власти над другими народами, война как жизненный принцип и, наконец, их невероятная численность (не меньше двухсот мириад). Все остальное — плоды фантазии Феопомпа или его источника, никак не связанные с «Атлантидой»

Платона: жители Махима рождаются на свет уже в полном вооружении, как спарты (гиганты), выросшие из зубов дракона, посеянных Кадмом, Ясоном. Они обычно погибают в сражениях, а не от болезней или других естественных причин. Убить их можно только камнями или дубинами: железо не причиняет им вреда. Золота и серебра у них так много, что эти металлы ценятся ниже железа (если это и отзвук описания Атлантиды, то весьма отдаленный).

7) Подобно атлантам, жители Махима попытались переправиться на «наши острова», т. е. в Европу, Азию и Ливию и, видимо, завоевали их, хотя об этом прямо не сказано. При этом они достигли «гиперборейских пределов», т. е. Крайнего севера, но дальше идти не пожелали, ибо «нашли жизнь гипербореев жалкой и убогой», хотя и знали о том, что этот народ считается «у нас» самым счастливым.

Как мы видим, тема противостояния и борьбы двух государств — «праведного» и «неправедного», — составляющая основное идейное содержание платоновского мифа об Атлантиде, у Феопомпа лишь намечена, но по существу никак не раскрыта. Нигде не сказано даже, что жители Махима пытаются подчинить себе Евсебес и вообще ничего не говорится о столкновениях между ними. В сущности, если бы такая попытка была предпринята, то мирным обитателям Евсебеса, которые даже землю плугом не научились обрабатывать, пришлось бы, конечно, плохо. Поэтому Феопомп просто оставляет без внимания эту сюжетную линию, столь важную для Платона, и направляет агрессию Махима совсем в другую сторону, в гиперборейские пределы, где вся военная мощь этого государства оказывается пустой и бессмысленной, так как завоеватели лишены цели, ради которой стоит вести войну.

Итак, несмотря на сходство отдельных деталей, история, рассказанная Феопомпом, разительно отличается от платоновского мифа. Хотя в ней есть некоторая претензия на «философичность» (скорее всего, кинического толка), здесь трудно найти какую-то единую стройную концепцию — поучение.

Странным кажется само противопоставление двух городов: «праведного» и «воинственного», которые, в общем-то, никак не соединяются в одной логической плоскости; их сосуществование — литературный нонсенс, который автору едва ли удалось бы как-то оправдать. Естественнее было бы ожидать появления пар вроде «праведный — неправедный», «мирный (до определенного момента, как платоновские Афины) — воинственный» и т. п. Безупречная праведность жителей Евсебеса не находит в повествовании никакого логического разрешения, она, можно сказать, повисает в воздухе, никак не соединяясь с неуемной воинственностью обитателей Махима, которые лишь все время воюют

и покоряют другие народы, пока не натыкаются на странный народ гипербореев, у которых, как у всяких идеальных дикарей, нет ничего такого, чем стоило бы дорожить (в сущности, это несколько измененный вариант того же Евсебеса, и в этом случае намеченный Феопомпом конфликт получает скорее ироническое разрешение, а не трагическое или катастрофическое вроде столкновения Дария со скифами).

С другой стороны, этот нехитрый идейный стержень истории Феопомпа густо облеплен фольклорными деталями, которых мы не найдем у Платона. Сюда можно отнести необыкновенное долгожительство и гигантский рост жителей Меропии, картину земного рая, ассоциирующуюся с Евсебесом, необычные способы рождения и смерти среди жителей Махима, пренебрежение к золоту и серебру (последняя деталь, впрочем, типична и для философских описаний жизни идеальных «дикарей»).

Зато Феопомп явно пренебрегает массой фабульно выигрышных моментов, которые он мог бы перенести в свою историю из «Тимея» и «Крития»: платоновские числа, генеалогия царей атлантов и описание их города, подробности завоевательных походов атлантов и их войны с афинянами, наконец, конечная катастрофа и ее последствия. Все эти элементы платоновского повествования, до сих пор будоражищие воображение читателей, Феопомпа почему-то не заинтересовали. Скорее всего это произошло просто потому, что он о них ничего не знал. Следовательно, в его распоряжении находился какой-то другой источник, в сущности, очень далекий от платоновской Атлантиды, но в то же время имеющий с ней и некоторые точки соприкосновения (главная из них это, конечно, противопоставление двух государств-антиподов, идея, блестяще развернутая Платоном, но в силу каких-то причин не очень удачно реализованная Феопомпом или его источником).

Это сопоставление позволяет сделать вывод, что в греческой литературе IV в., а, может быть, уже и более раннего времени существовала традиция утопически-фантастических рассказов о дальних странах (чаще всего расположенных где-то далеко на западе, в океане, т. к. восточного океана греки еще не знали), которая могла оказать известное влияние на формирование платоновского мифа.

II. Фрески острова Санторин[1]

С островом Санторин или, как называли его древние, Фера связана одна из самых громких археологических сенсаций XX столетия. Благодаря недавним открытиям этот небольшой островок занимает теперь

[1] Доклад, прочитанный в Доме Ученых в Лесном в 1987 году. — *Л. Ш.*

почетное место в ряду таких прославленных достопримечательностей Эгейского мира, как Троя, Микены, Тиринф, Кносс, Пилос и немногие другие. Впрочем, и сам по себе Санторин, даже если отвлечься на минуту от открытых здесь памятников древнего искусства, представляет собой одно из самых примечательных мест, расположенных в пределах Эгейского бассейна, да, пожалуй, и всего Средиземноморья. Достаточно сказать, что здесь находится один из крупнейших очагов вулканической активности на территории этого региона. Вулкан еще не заглох и время от времени напоминает о себе жителям островка и его окрестностей. Последнее большое извержение было здесь в 1956 г. Во время этой катастрофы в течение 45 сек. было уничтожено более 2 тыс. домов в деревнях, разбросанных по берегам острова. Но это бедствие меркнет перед теми грандиозными катаклизмами, которые происходили здесь когда-то в далекой древности.

Теперешний Санторин (см. цветную вклейку) состоит, собственно говоря, из двух небольших островков: Фера и Ферасиа. Эти островки есть не что иное, как разорванные края кратера вулкана. Их почти вертикально обрывающиеся в море внутренние берега — остатки стенок кратера, а широкая и глубокая (глубина ее достигает в некоторых местах 300 метров, поперечник — в самой широкой части — 11 км) лагуна между двумя островами это и есть сам кратер вулкана, заполненный некогда ворвавшейся в него морской водой. В геологии такие впадины называют обычно «кальдера», т. е. «котел». Центром санторинской кальдеры является маленький лавовый островок Неа Камени. Он все время увеличивается в размерах и со временем, очевидно, заполнит всю впадину. Основная часть территории Санторина покрыта толстым слоем пемзы и вулканического пепла. В некоторых местах этот слой достигает толщины 66 м. Специалисты-вулканологи считают, что такая огромная масса вулканических продуктов не могла образоваться обычным путем, т. е. в результате многократно повторяющихся извержений. Слой пепла и пемзы такой толщины мог получиться только в том случае, если бы все содержимое вулкана было выброшено наружу, а это могло произойти только в результате колоссального взрыва, практически уничтожившего весь вулкан. Взрыв расколол кратер вулкана, стены которого, не выдержав собственной тяжести, обрушились в море. Теперешняя кальдера Санторина и есть, собственно говоря, результат этого взрыва. Многие думают теперь, что санторинская катастрофа, разразившаяся примерно на рубеже XVI–XV вв. до н. э., по своим масштабам и гибельности своих последствий превосходила даже печально знаменитое извержение вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 г., ибо и сам санторинский вулкан был грандиознее Кракатау.

Санторин уже давно привлек к себе внимание археологов. Еще в 60-х гг. XX в. рабочие, добывавшие вулканический пепел на островке Ферасиа (его отправляли затем в Египет на стройку Суэцкого канала и использовали для производства цемента), наткнулись на древние стены, сложенные из массивных каменных блоков. За раскопки взялся хозяин карьера грек Алафудос, которому помогал французский геолог Фуке. Ими были открыты внушительных размеров постройка, состоявшая из нескольких комнат, двор, обнесенный каменной стеной. Внутри дома были найдены зерна ячменя и других злаков, много керамики, орудия, сделанные из камня, и части человеческого скелета.

В последующие годы на Санторине побывало несколько археологических экспедиций, обследовавших различные пункты на территории острова. Самой большой была немецкая экспедиция под руководством Г. фон Гертрингена, которая в 1895–1898 гг. обследовала место, на котором когда-то стоял греческий городок Фера античного времени. Здесь было найдено довольно большое количество надписей, в том числе очень древних. Находки, имеющие отношение к более ранним периодам в истории острова, встречаются в это время лишь эпизодически. Пожалуй, самой ценной из этих находок был клинок бронзового кинжала с золотой инкрустацией, изображающей боевые топоры, того же типа, что и кинжалы, найденные Шлиманом в Микенах, который археолог Цан приобрел у одного местного крестьянина. Время от времени археологи натыкались на древние постройки, остатки домашней утвари и другие предметы, свидетельствующие о том, что когда-то жизнь на острове била ключом. Однако вплоть до недавнего времени это были лишь случайные разрозненные находки. Систематические раскопки на острове практически не велись.

Только в 1967 г. за это дело взялся выдающийся греческий археолог Сп. Маринатос. Ему-то и принадлежит главная заслуга в тех открытиях, о которых мы будем сегодня говорить. Маринатос пришел на Санторин не случайно и не просто потому, что он поддался мрачному обаянию этого удивительного места. Начиная раскопки, он твердо знал, чего он хочет. Главная цель Маринатоса заключалась в том, чтобы добыть факты, которые могли бы подтвердить одну его гипотезу более чем тридцатилетней давности. Согласно этой гипотезе, взрыв санторинского вулкана имел роковые последствия для минойской цивилизации Крита. Эта катастрофа нанесла ей такой тяжелый удар, от которого она уже никогда не смогла полностью оправиться.

Сейчас еще нельзя сказать с уверенностью, что Маринатосу удалось найти именно то, что он искал, и сделать свою гипотезу настоящей научной теорией. Вопрос о причинах упадка, а затем и гибели минойской

цивилизации пока еще далек от своего окончательного решения. Здесь есть свои трудности и немалые, но на них я сейчас не буду останавливаться. Но независимо от того, каковы будут окончательные результаты уже давно тянущейся вокруг этого вопроса дискуссии, даже и того, что было сделано Маринатосом за семь археологических сезонов, проведенных им на Санторине, вполне достаточно для того, чтобы обессмертить его имя и имена других участников экспедиции.

Местом для своих раскопок Маринатос выбрал глубокую лощину, спускающуюся к морю, неподалеку от деревушки Акротири на южной оконечности острова Феры. Слой пепла и пемзы был здесь сильно размыт водой ручья и дождями, и поэтому археологам не пришлось зарываться особенно глубоко в толщу вулканических отложений. Раскопки велись по хорошо продуманной системе и очень тщательно. Каждая вновь открытая постройка или участок улицы немедленно перекрывались специальной крышей из гелленита, под прикрытием которой велись все дальнейшие работы. Сам Маринатос пишет, что он с самого начала поставил своей целью превратить открытое им поселение в музей и поэтому требовал от своих сотрудников чрезвычайно бережного отношения буквально к каждому камню в стене дома или в вымостке.

За время раскопок был открыл целый квартал двух- и трехэтажных домов, тянущийся в направлении с севера на юг вдоль русла ручья на расстояние в 150–160 м, и несколько отдельно стоящих домов. В южной части квартал прорезает по прямой линии узкая улица, названная археологами «улицей Тельхинов» (см. *ил. 57*); в выходящих на нее домах найдено несколько помещений, служивших ремесленными мастерскими (это видно по обнаруженным здесь инструментам для обработки камня). Сам Маринатос был уверен, что ему удалось открыть лишь малую часть большого поселения. Согласно его расчетам, это поселение (Маринатос постоянно называет его городом) должно простираться от моря до моря через весь полуостров Акротири, и для его полной расчистки археологам потребуется не меньше столетия (мы не должны забывать о том, что значительная, может быть, даже бóльшая часть этого поселения обрушилась в море во время взрыва вулкана).

Но даже и по этой уцелевшей части можно сказать с уверенностью, что некогда это был достаточно многолюдный, богатый и процветающий приморский город, возможно, не уступающий таким уже известным минойским поселениям, как Палекастро и Гурния на Крите, Филакопи на Мелосе, а, может быть, даже и превосходящий их размерами и численностью населения.

О довольно высоком жизненном уровне обитателей древнего Акротири, а также и о их культуре свидетельствуют довольно внушительные

размеры их жилищ (здесь и далее см. цветную вклейку). Постройки в городе, как было уже сказано, в основном двух- и трехэтажные (некоторые со вместительными подвалами), многокомнатные (впрочем, чаще всего не удается точно определить, где начинается один дом и где кончается другой: по принятому у минойцев принципу планировки они как бы нанизываются один на другой). Стены домов очень тщательно выложены из хорошо отесанных туфовых плит и других пород камня и скреплены деревянным каркасом. Некоторые даже украшены мрамором. Впрочем, встречаются и дома со стенами, просто обмазанными глиной, смешанной с рубленой соломой. Помещения верхних этажей были снабжены большими окнами. Дома санторинской знати были, таким образом, хорошо освещены и проветрены, чего нельзя сказать, допустим, о более поздних греческих домах, для которых такие большие окна не характерны. Наконец, во многих домах внутренние помещения были расписаны замечательными фресками, которые и составляют основной сюжет моего рассказа. При раскопках не удалось найти ни одной золотой или серебряной вещи[2]. Очевидно, все мало-мальски ценное жители увезли с собой, покидая город до того, как на него обрушилась катастрофа. Зато в домах сохранилось довольно много высококачественной керамики как местной, так и импортированной с Крита, предназначавшейся как для хозяйственных надобностей, так и для религиозных церемоний.

В обследованной части поселения пока не обнаружено ни одной постройки, которая хотя бы отдаленно напоминала дворец. Существовал ли он здесь вообще, возможно, так никогда и не удастся узнать, если предположить, что он находился в той части города, которая скрылась под водой. Однако и в рядовых домах Акротири жили, судя по всему, не простые смертные, а какие-то представители местной знати — патриции. Маринатос думает, что это были в основном богатые судовладельцы и капитаны, богатства которых были нажиты посредством транзитной торговли далеко за пределами их родного острова. Возможно, в этой догадке есть какая-то доля истины.

Каждый из патрициев Акротири стремился превзойти другого роскошью и красотой внутреннего убранства своего дома. Важнейшим элементом этого убранства были настенные росписи. Как указывает Маринатос, практически в каждом из открытых ими жилых комплексов была по крайней мере одна комната, украшенная фресками (очевидно, это было какое-то подобие гостиной или, что еще более вероятно, домашней часовни). Обычно такие комнаты располагаются на втором этаже (видимо, там, где были жилые покои). Заметим, что в истории

[2] Одна из последних находок — золотая фигурка горного козлика. — *Л. Ш.*

эгейского искусства это едва ли не первый случай, когда фрески были обнаружены именно в частных домах, а не во дворце (ср.: Айя-Ирини, Филакопи). В то же время по своим художественным качествам, по мастерству выполнения фрески Акротири нисколько не уступают росписи, например кносского или пилосского дворцов, а кое в чем, может быть, даже их превосходят. Нет никаких оснований для того, чтобы считать местную школу фресковой живописи провинциальным ответвлением более мощных и глубоких течений эгейского искусства.

Сюжеты фресок, найденных в домах Акротири, чрезвычайно многообразны. Среди них есть и произведения чисто пейзажного искусства, есть великолепные образцы анималистического жанра, есть сцены бытового и религиозного характера и, наконец, образцы того рода искусства, который может быть назван «исторической живописью».

Образцом чистого пейзажа может служить среди санторинских стенных росписей фреска, украшающая три стены небольшого помещения в одном из домов сектора Δ (в северной части основного квартала Акротири). Фреска эта изображает дикий скалистый ландшафт, может быть, где-нибудь на внутренних склонах кратера санторинского вулкана, который в те времена, несомненно, был покрыт лесом и кустарником. На причудливо изогнутых скалах растут красные лилии, видимо, только что распустившиеся. В воздухе парами и поодиночке носятся ласточки, что указывает скорее всего на весеннее время года. Фантастическое звучание пейзажа усиливает причудливая, видимо, далекая от натуральной расцветка скал, соединяющая в себе четыре цвета: красный, желтый, голубой и темно-коричневый. Все в целом производит впечатление какой-то фантасмагории, напоминая мираж в пустыне или фантазии современных сюрреалистов. Разумеется, было бы опасно забывать об огромной временно́й дистанции, отделяющей нас от создателя этого едва ли не первого в европейском искусстве образчика пейзажной живописи, о колоссальной разнице художественных вкусов, психологии восприятия окружающей среды и тому подобных моментах. Вполне возможно, что сам художник, расписывавший стены этой комнатки, видел в себе строгого последователя реалистической школы и стремился изображать все, что он видел вокруг себя, как можно натуральней. Основная трудность заключается в том, что мы ничего не можем сказать о целевом назначении этих росписей. Для чего они были созданы: для того чтобы просто ласкать глаз обитателей дома, украшать их повседневную жизнь и служить заменой той живой природы, которую нельзя было внести в тесные стены жилища, или же смысл их заключался в чем-то большем, и главной целью художника было иносказание о чем-то нездешнем, религиозная символика?

Маринатос решительно настаивает на этом последнем истолковании. В комнате, расписанной лилиями, он видит домашнюю часовню (неподалеку от нее были найдены предметы культовой утвари, например глиняный столик для жертвоприношений). Следовательно, и фрески на ее стенах должны рассматриваться как образец религиозной живописи. С этим заключением несколько не вяжутся остатки деревянной кровати, стоявшей в той же комнате прямо напротив входа. Сама кровать не сохранилась, а осталась лишь пустота в форме кровати, так сказать, ее «душа». Согласитесь, что спать в святилище, пусть домашнем, да еще при наличии в доме других пригодных для этого помещений, есть признак некоторой экстравагантности. Маринатос, правда, допускает, что кровати здесь вначале не было: ее поставили так называемые троглодиты, обосновавшиеся в доме на короткое время после того, как он был покинут своими настоящими хозяевами.

Как бы то ни было, совершенно ясно, что помещения, украшенные фресками, имели какое-то особое назначение. По всей видимости, они считались парадными покоями и предназначались для всякого рода торжественных семейных собраний, церемоний, приема гостей и т. п. Не случайно в каждом доме была только одна такая комната.

Великолепным образцом анималистического жанра можно назвать фрески, украшающие одно из помещений сектора В(В2). Здесь изображены шесть больших антилоп африканской породы (Oryx Beissa). Все шесть фигур выполнены в строгой графической манере: контур только обведен черной краской, но не закрашен (только морды животных слегка тронуты коричневым цветом). Однако по силе и выразительности рисунка, по остроте глаза художника и его способности проникнуть в самую суть изображаемого животного эта фреска, пожалуй, не знает себе равных во всем эгейском искусстве. Перед нами вроде бы типично африканский мотив, неведомо откуда взявшийся в творчестве санторинского мастера. Кстати, не единственный в искусстве Феры (в том же блоке В было открыто великолепное панно, изображающее целое стадо голубых обезьян).

В одном из простенков комнаты антилоп была открыта удивительная фреска, изображающая двух боксирующих мальчиков. Все поражает и восхищает в этом произведении: и красота колористического решения, и точно схваченные движения юных боксеров, и удивительное для древнего мастера понимание особенностей детского, еще неокрепшего тела, и в особенности, конечно, тонкая эмоциональная и психологическая окрашенность всей сценки. Из известных мне памятников искусства этой эпохи я бы, пожалуй, поставил рядом с этой вещью только одну египетскую амарнскую фреску с изображением дочерей Эхнатона, кото-

рая, однако, на целое столетие позже санторинских мальчиков. Художник явно стремился передать не только портретные черты обоих мальчиков, но и их характеры, индивидуальные особенности их психики. Совершенно ясно, что один из них (правый) более порывист, горяч и, видимо, не столь опытен, как его противник. Он явно младше по возрасту и, может быть, ниже по общественному положению (на это может указывать отсутствие на его теле каких-либо украшений). Маринатос склоняется к мысли, что левый из участников схватки в действительности не мальчик, а девочка, так как его лицо несколько бледнее, чем лицо его противника, но это маловероятно. Обращает на себя внимание необычная прическа боксеров — длинные локоны или косы свешиваются на затылке с, видимо, гладко выбритых голов мальчиков. Спереди оставлено какое-то подобие челки или запорожского оселедца. Сходную форму прически имеют и некоторые другие лица, изображенные на санторинских фресках. Довольно похожие косички на выбритой голове еще и в наше время можно встретить у некоторых африканских народов. Маринатос видит в такой прическе еще один признак ливийского влияния на культуру Феры — Санторина. Однако недавнее исследование австрийца Петера Хайдера сделало эту гипотезу излишней. Ему удалось показать, что прически такого типа были известны на островах Кикладского архипелага, начиная по крайней мере с III тыс. до н. э. Во II тыс. их носили также на Крите и некоторые племена в соседней Анатолии. Любопытно и употребление боксерских перчаток, кстати, впервые на этой фреске и зафиксированное. Сам сюжет кулачного боя в эгейском искусстве почти не встречается. В параллель санторинской фреске можно поставить лишь одну сцену на стеатитовом ритоне из Агиа-Триады, в которой принимают участие взрослые кулачные бойцы, беспощадно избивающие своих партнеров. По духу это две совсем разные вещи.

Интересны, хотя и более привычны, сюжеты фресок, украшающих стоящее особняком помещение между секторами А и Д (археологи условно назвали его «гинекеем»). Две стены этой комнаты были украшены изображениями огромных (во всю стену) морских нарциссов (лилий) (Pancratium maritimum)[3]. На двух других стенах видны очертания нескольких женских фигур, из которых более или менее сохранились только две. Одна из этих дам, видимо, просто прогуливается (возможно, местом прогулки мыслится прибрежный луг, покрытый изображенными тут же цветами). Мартинатос отмечает необыкновенное благородство всего ее облика, в котором достоинство соединено с выражением

[3] Современные исследователи отождествляют это растение с папирусом (Cyperus Papyrus). — *Л. Ш.*

некоторой меланхолии (последнее трудно почувствовать в репродукции, даже очень хорошей, вероятно, это надо видеть своими глазами). Другая дама (написанная на другой стене) изображена в энергичном движении всего корпуса, изогнутого почти под прямым углом. В протянутой вперед левой руке она держит нечто вроде вуали, которая, возможно, предназначена стоящей тут же рядом третьей даме, от которой сохранилась, к сожалению, лишь часть руки. Художника можно было бы, пожалуй, упрекнуть в некоторой склонности к грубому натурализму, если бы не изящество линий фрески и благородство ее цветового решения. Смысл этой сцены, а также распределение ролей между ее участницами от нас ускользают. Вполне возможно, что художник хотел изобразить некое обрядовое действо, может быть, даже с непосредственным участием божества. Однако никаких прямых указаний на религиозный подтекст в самой картине нет.

Самая ошеломляющая находка за все время работы экспедиции Маринатоса была сделана при раскопках так называемого западного дома, или «Дома адмирала». Это довольно большой жилой комплекс, расположенный под углом к массиву основного квартала на некотором удалении от него. Замечательные росписи были обнаружены в одной из комнат этого дома (на планах она обозначена № 5). Сама комната сравнительно невелика — около 16 м^2, но имеет два широких окна и две двери.

Две фрески выдающихся художественных достоинств были обнаружены в двух противоположных углах комнаты. Они изображали двух юношей-рыбаков с большими связками рыбы в руках. Один из них сохранился очень хорошо, другой много хуже. Заметим, что здесь перед нами один из сравнительно редких в эгейском искусстве примеров изображения абсолютно обнаженной человеческой фигуры в бронзовом веке (в бронзовом веке обитатели Эгеиды были несколько стыдливее греков, живших в этих же местах после них, и старались избегать слишком откровенных поз и сцен в своем искусстве). По своим художественным достоинствам — стройности и гармоничности силуэта, изяществу линий — юноша из Акротири может смело соперничать с самыми прославленными шедеврами позднейшей греческой скульптуры и живописи.

В той же комнате на дверном косяке была открыта еще одна довольно необычная фигура девушки в длинном темно-красном одеянии (подобие греческой столы), перекинутом через правое плечо. Маринатос назвал ее «юной жрицей», полагая, что странной формы сосудик, который она держит в левой руке, имеет ритуальное назначение так же, как и его содержимое (Мартинатос думает, что это какое-то кушанье из фиг). Кроме необычного для эгейских женщин костюма жрицы обращает на себя внимание также ее прическа, напоминающая прически боксирую-

щих мальчиков и юного рыбака в той же комнате, и неестественно красное ухо с продетой в него серьгой в виде большого диска. Маринатос предполагает, что женщины Санторина красили не только губы и щеки, но еще и уши. Вполне возможно, что дело здесь просто в неумении художника, который взял слишком много краски и испортил свою работу. Фигура жрицы вообще написана заметно слабее всех других, явно очень неопытной и неуверенной рукой.

Но самые замечательные находки были сделаны на полу той же комнаты. При расчистке на плитах пола было найдено большое количество фрагментов росписи. Некоторые лежали прямо на полу, другие попали в провал, образовавшийся посреди комнаты, и их пришлось оттуда извлекать. Когда все кусочки цветной штукатурки были собраны, началась кропотливая работа по восстановлению фрески, длившаяся очень долго. Но результат этой работы превзошел все ожидания.

Была восстановлена бóльшая часть длинного фриза, выполненного в технике миниатюрной живописи. Первоначально он, по-видимому, опоясывал по крайней мере три стены, проходя над окнами и дверьми (только в сохранившейся части его длина составляла около 6 м).

Рассмотрим основные эпизоды этой повести в картинках. Первый плохо сохранившийся фрагмент изображает вершину горы, на которую подымаются, очевидно, для совершения некоего священнодействия люди, одетые частью в длинные белые или серо-голубые одеяния, частью в короткие юбочки. Некоторые из них протягивают вперед руки, согнутые в локте под прямым углом (иератический жест, довольно часто встречающийся в минойском искусстве).

Следующий фрагмент много сложнее (фреска северной стены в 5-й комнате). Действие здесь происходит одновременно на нескольких уровнях или ярусах. Нижний ярус — морская сцена. Видны носы трех кораблей, видимо, направляющихся к берегу, возможно, с целью высадки и пиратского набега. Между ними в воде в причудливых позах фигуры трех обнаженных мужчин, очевидно тонущих или уже утонувших. Что это — последствия кораблекрушения или морской битвы — сказать трудно. На берегу видна массивная каменная постройка. Около нее и на ней (видимо, на крыше или на открытой веранде) несколько мужских фигур в длинных одеяниях. Направо от здания движется длинная колонна воинов в характерных эгейских шлемах из кабаньих клыков, с большими башнеподобными щитами, сделанными из бычьих шкур, и с длинными копьями в руках. Выше один пастух загоняет стадо в загон, другой, напротив, выводит стадо из загона. Несколько левее две женщины в длинных юбках несут на головах кувшины с водой из расположенного тут же колодца. Как связаны между собой все эти эпизоды? К этому вопросу мы еще вернемся.

Следующий большой фрагмент фриза изображает мирный пейзаж в какой-то не то реальной, не то сказочной местности. Во всю его длину тянется извилистая лента реки, которой внизу сопутствует еще одна река или ручей поменьше. Берега реки покрыты причудливой растительностью явно тропического характера. Здесь и пальмы, и тростник, и листья папируса, и колючий кустарник. Среди кустов и деревьев легко как тени проносятся животные и птицы: голубая пантера или леопард, молодой олень, утки и гуси и даже грифон, явно пришедший сюда из сказки. Во всей этой сцене есть что-то тревожно ирреальное, напоминающее фантастический сон.

Следующий фрагмент (или, точнее, ряд фрагментов) открывает перед нами широкую панораму моря, усеянного кораблями, с участком побережья, может быть, полуостровом, от которого, по-видимому, и отплывает весь этот флот. На берегу видны горы, вершины которых поросли лесом. По склонам мчатся три оленя, которых преследует лев. С горы стекает вниз река, разветвляющаяся при впадении в море на два рукава, которые охватывают полукольцом расположенный на берегу город (не совсем ясно, связана эта река как-нибудь с той, которая изображена в предшествующем фрагменте). В городе виднеются фигурки людей, некоторые из них в длинных одеяниях из козьих шкур. Почти все они смотрят направо вслед отплывающему флоту. Только два человека (один стоит, другой сидит) на двух противоположных берегах реки при ее впадении в море как бы беседуют друг с другом. За спиной сидящей фигуры видны маленькие домики, очевидно, деревни или городского предместья.

Флот, движущийся слева направо — от одного города к другому, состоит из семи больших кораблей и одного маленького суденышка, плывущего последним. Корабли различаются между собой по своему убранству (роспись бортов, украшения на бушпритах, на канатах), но конструкция их, в общем, однотипна. Правда, у некоторых кораблей нижнего яруса отсутствуют мачты, но это скорее всего художественная условность: художник боялся, что мачты нижних кораблей помешают ему показать все важные детали в судах верхнего яруса. Все корабли, за исключением одного, идущего под парусом, плывут на веслах. Головы гребцов и их руки, держащие весла, виднеются вдоль линии борта. Число гребцов по одному борту достигает двадцати одного — двадцати трех человек. Значит, всего их могло быть сорок два — сорок шесть. На корме каждого из кораблей видна фигура кормчего с большим рулевым веслом в руках. (На паруснике кормчих двое, так как под парусом труднее маневрировать.) В специальной кабине или рубке, воздвигнутой на корме, восседает капитан корабля. На палубе под тентами лицом друг

к другу сидят пассажиры в длинных одеяниях. Кое-где над их головами виднеются, очевидно, подвешенные на крючках или привязанные шлемы из кабаньих клыков. Это единственная деталь, напоминающая о том, что перед нами не увеселительная морская прогулка, а военная экспедиция. В остальном все это великолепное зрелище пронизано ощущением праздничности и какой-то особой умиротворенности. Это ощущение создают и нарядное убранство кораблей, и безмятежные фигуры воинов-пассажиров, и резвящееся в волнах стадо дельфинов.

Очень сложен по композиции следующий и, видимо, последний фрагмент фриза, изображающий еще один приморский город, явно готовящийся к встрече подплывающего флота. Первый корабль уже обходит скалистый мыс перед городом и приближается к гавани. Какие-то люди бегут вверх по склону горы к постройке на ее вершине (возможно, к сторожевой башне или святилищу, чтобы наблюдать за подходом флота). Другие движутся в противоположном направлении (вероятно, это гонцы, посланные в город, чтобы сообщить там радостную новость). Лодка с двумя гребцами плывет навстречу кораблям или, может быть, показывает им путь в бухту. Еще несколько суденышек пока лежат на берегу. Целая толпа людей собралась в гавани, как бы выстроившись вдоль причальной стенки в ожидании кораблей. Другие наблюдают за происходящими событиями из окон или с крыш своих домов. Среди них несколько женщин, фигуры которых только обведены контуром, но не раскрашены. Одна из них делает приветственный жест рукой. Не совсем понятно назначение довольно большого открытого пространства между домами в правой части картины. Это может быть городская площадь или, как думают некоторые исследователи, специальное место для стоянки кораблей и их ремонта типа дока или эллинга. Вся обстановка сугубо мирная. Люди на берегу не вооружены. Ясно, что они встречают своих, а не готовятся к отражению вражеской атаки.

Поражает мастерство, с которым построена вся эта необычно сложная многоплановая, многофигурная композиция. Художник явно незнаком с законами перспективы. Масштабы и пропорции не соблюдены. Используемые им приемы изображения деталей ландшафта, построек, людей и животных чрезвычайно просты и условны. Так, горы обводятся условным голубым контуром. Деревья как бы втыкаются в них сверху. Дома ставятся как плоские декорации, вырезанные из картона или бумаги, без намека на объемность. Фигуры людей чаще всего изображены в профиль или в повороте туловища на три четверти. Художник явно не имеет понятия о светотени, пользуется только локальным цветом и т. д. И несмотря на все это, отдельные эпизоды фриза воспринимаются чуть ли не как зарисовки с натуры: столько живой наблюдательности,

экспрессии, умения схватить и выделить главное в каждой конкретной ситуации вложено в них художником. Картина производит живое и убедительное впечатление еще и потому, что в каждой отдельной сцене художник умеет найти наилучший угол зрения. В одних случаях он изображает предметы так, как если бы они находились на горизонтальной плоскости на некотором удалении от наблюдателя. В других взгляд художника поднимается снизу вверх и как бы по диагонали (например, в сцене высадки на вражеский берег). В третьих, наоборот, взгляд падает по вертикали сверху вниз, и тогда весь ландшафт превращается в некое подобие карты, как на фрагменте, изображающем реку, текущую среди пальм. Населив свою панораму множеством разнородных фигур (всего в ней насчитывают более 80-ти одних только человеческих фигур) и предметов, художник удачно избегает чрезмерной загроможденности пространства. Каждая фигура, каждый предмет у него точно знают свое место, не наползают друг на друга, а следуют одна за другой в строгой логической последовательности. Благодаря этому фреску можно читать как книгу. Наконец, нельзя не обратить внимания на большую соразмерность всех деталей фрески. Хотя соблюсти и выдержать реальные пропорции изображаемых предметов художник, конечно, не мог, да вряд ли и стремился к этому, мы не найдем у него и слишком резких нарушений масштабов, слишком больших контрастов между вещами, как это бывает, например, на средневековых иконах или в миниатюрах, когда человек превращается в какого-то Гулливера, которому ничего не стоит перешагнуть через крепостную стену или поставить ногу на крышу дома. У нашего мастера дома остаются домами (стоящие рядом люди вполне могут в них разместиться), корабли кораблями, а горы горами.

Все это тем более удивительно, что перед нами, в сущности, древнейший в истории мирового искусства образец пейзажной панорамы, созданный задолго до помпеянских мифологических пейзажей и даже до ассирийских барельефов с пейзажным фоном. В искусстве II тыс., возьмем ли мы Эгейский мир, Египет или какую-нибудь другую страну, мы не найдем ни одной вещи, которую можно было бы поставить рядом с этой поистине уникальной фреской.

Относительно содержания основных эпизодов фриза в науке пока нет единого мнения. Большие разногласия вызывает вопрос о локализации этих эпизодов. Где все это происходит? Маринатос выдвинул ряд довольно веских доводов в пользу побережья Северной Африки. Среди прочего он обращает внимание на типично африканскую флору и фауну в пейзаже с рекой, на негроидные черты в облике некоторых изображенных на фреске людей, в частности у утопленников в сцене морской битвы — широкие носы и курчавые волосы, растущие пучками. Сопо-

ставляя эти и некоторые другие факты, Маринатос приходит к выводу, что первая сцена фриза изображает нападение с моря на ливийский город. Река, изображенная в следующих фрагментах, может быть Кинипсом (единственная река, впадающая в море западнее Нила, примерно в районе позднейшего Лептис Магна).

Уже после смерти Маринатоса внимательное изучение фриза выявило еще некоторые любопытные детали, подтверждающие его догадку. Так, в сцене кораблекрушения у одного из барахтающихся в воде людей видно за плечами некое подобие крылышек. В действительности это, по-видимому, короткий плащ или накидка, сделанная из звериной шкуры или, может быть, из птичьих перьев. Очень похожие накидки из шкур можно видеть у африканских охотников, изображенных в наскальных росписях пустыни Сахары (знаменитые фрески Тассили — см.: *Kennscherper.* S. 630 сл., Abb. 6–8). А по свидетельству Геродота, некоторые племена Северной Африки носили плащи, сшитые из перьев страуса. Вполне возможно, что художник, создавший фриз, своими глазами видел одеяния такого рода.

Не все согласны с гипотезой Маринатоса. У нее есть убежденные противники, например английский археолог П. Уоррен, австриец Хайдер. Они полагают, что действие фриза могло происходить и где-нибудь в пределах Эгейского бассейна, не обязательно у берегов далекой Ливии. Африканский колорит центральных эпизодов фрески, по их мнению, выражен не так сильно, как это казалось Маринатосу. Питер Уоррен находит африканский вариант малоправдоподобным как по причине большой удаленности африканского побережья от Феры, так и потому, что почти все детали местного колорита, которые Маринатос пытается связать так или иначе с Северной Африкой и ее обитателями, могут быть без большого труда переадресованы ближайшим к Фере районам Эгейского мира, например Криту. Экзотические животные и растения, представленные на фреске, были хорошо известны обитателям древней Эгеиды. Пальмы, папирус, львы, преследующие травоядных, — все это обычные мотивы в минойско-микенском искусстве, скорее всего взятые непосредственно из жизни. Негроидные черты у тонущих людей в сцене морской битвы не настолько ясно выражены, чтобы можно было с уверенностью отнести их к какому-нибудь ливийскому племени северо-африканского побережья. К тому же, если начать внимательно вглядываться в людей, изображенных на фреске, те же черты (волосы, растущие пучками, и широкие носы) можно заметить также у некоторых пассажиров на кораблях в сцене морского похода.

Можно было бы привести еще и другие доводы противников Маринатоса. И все же его аргументация представляется мне в целом более

убедительной. Африканская локализация центральных сцен фриза не только прямо вытекает из анализа изображенных эпизодов, но и подкрепляется некоторыми косвенными соображениями. Африканские мотивы, как мы уже видели, вообще типичны для искусства древней Феры. Изображения африканских животных (обезьян, антилоп) найдены в соседних с «западным домом» постройках Акротири. А один из фрагментов стенной росписи, найденной в северной части поселения, изображает типично негроидную физиономию темнокожего человека с курчавой головой, украшенной двумя птичьими перьями, приплюснутым носом и большой серьгой в ухе (Маринатос так и назвал его «ливийцем»). Следует также иметь в виду, что вообще связи Эгейского мира, и в частности Крита, с Северной Африкой, не только с Египтом, но и с лежащей дальше на запад Ливией были, как об этом свидетельствуют многочисленные факты, и очень давними (они прослеживаются по крайней мере с эпохи неолита), и достаточно прочными.

Что касается самих участников экспедиции, то здесь, казалось бы, не может быть двух мнений. Поскольку фреска, о которой идет речь, найдена на Фере, в доме одного из знатных горожан, то вполне естественно было бы предположить, что изображен на ней поход именно ферского флота и что одним из его участников мог быть сам хозяин дома. Именно так и рассуждал первооткрыватель фрески Сп. Маринатос, с легкой руки которого за «западным домом», где был найден этот шедевр эгейского искусства, закрепилось название «Дом адмирала».

П. Уоррен, однако, не удовлетворяется столь простым решением вопроса. В его понимании, главными участниками похода были микенские пираты, которые то ли подрядили ферских кораблевладельцев, то ли попросили их как своих союзников ссудить им на время корабли с экипажем. Основной довод в пользу этой догадки состоит в том, что как раз на это время, к которому относится наша фреска (вторая половина XVI в.), падает резкая активизация внешней экспансии материковых микенских центров прежде всего в направлении Крита (на это указывают находки типично минойских вещей в шахтовых могилах микенской знати, а также сюжеты изображений на некоторых из этих предметов, например известная сцена осады города на серебряном ритоне из IV шахтовой могилы круга *А*). Единственная деталь в самой фреске, которая как будто бы прямо указывает на Пелопоннес и вообще микенскую Грецию как исходный пункт изображенной экспедиции, это типично микенские шлемы из клыков вепря, которые можно видеть на головах воинов десантного отряда в сцене нападения на вражеский город, а также праздно висящими под тентами некоторых кораблей, возвращающихся в родной порт.

Должен сказать, что эта последняя догадка Уоррена не кажется мне особенно правдоподобной. Хотя изображения диковинных шлемов из клыков вепря действительно особенно часто встречаются в искусстве материковой Греции, начиная с эпохи шахтовых могил, у нас не может быть твердой уверенности в том, что этот предмет вооружения был монополизирован ахейцами и оставался совершенно неизвестен их соседям на Крите и других островах Эгеиды. Уоррен и сам оговаривается, что изображения шлемов такого типа можно видеть, например, на минойских резных печатях уже в достаточно раннее время, едва ли не раньше, чем на памятниках микенского искусства.

Мне кажется поэтому, что сейчас у нас нет сколько-нибудь веских оснований для того, чтобы отвергнуть первоначальные предположения Маринатоса относительно состава и характера изображенной на фреске экспедиции. Совершенно ясно, что залогом процветания города, расположенного на таком незначительном и к тому же, вероятно, малоплодородном островке, как Фера — Санторин, могло быть лишь развитое мореплавание.

Конечно, мы не можем сказать с уверенностью, что создатель фриза хотел воспроизвести какие-то совершенно конкретные, хорошо ему известные исторические события, и что вся эта серия картин имеет, таким образом, характер своеобразной живописной хроники. Вполне возможно, что перед нами лишь обобщенный образ военного предприятия, объединивший черты многих происходивших в разное время походов и экспедиций, что вообще характерно для ранних форм искусства у многих народов.

В заключение мне хочется сказать, что древний Санторин пока только приоткрыл перед наукой свои тайны. Вполне возможно, что самое интересное еще ждет нас впереди и город, открытый под толщей вулканического пепла, еще преподнесет нам немало ошеломляющих сюрпризов. К сожалению, после смерти Маринатоса (он погиб 1 октября 1974 г.) раскопки на острове ведутся уже не так энергично. Во всяком случае, никаких сообщений о новых сенсационных находках в Акротири давно уже не было. Дело, столь успешно начатое выдающимся греческим археологом, ждет своего продолжателя.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Черно-белые иллюстрации

Ил. 1. Статуя Ашшурнасирпала II. Песчаник. Кальху (совр. Нимруд). IX в. до н. э. 57

Ил. 2. Рельеф с изображением Ашшурнасирпала II. Кальху (совр. Нимруд). IX в. до н. э. 58

Ил. 3. Царь Ашшурнасирпал II на львиной охоте. Нимруд. Северо-западный дворец. IX в. до н. э. 58

Ил. 4. Финикийские корабли транспортируют ливанские кедры, вырубленные по приказу Ашшурнасирпала II для строительства дворца в Кальху. Рельеф из дворца Саргона II в Хорсабаде. Ок. 710 г. до н. э. 59

Ил. 5. Бехистунский рельеф 60

Ил. 6. Гомер. Герма в Британском музее 65

Ил. 7. Гесиод. Мозаика из Трира. IV в. 73

Ил. 8. Геродот и Фукидид. Двойная герма. Неаполь. Музей 93

Ил. 9. Геродот: *1*— двойная герма. Неаполь. Музей; *2* — одинарная герма. 95

Ил. 10. Гробница Дария I. Накши-Рустам. V в. до н. э. 103

Ил. 11. Фукидид: *1* — двойная герма. Неаполь. Музей; *2* — бюст. Холкем-холл. Норфолк. Англия 138

Ил. 12. Перикл. Герма. Ватикан 150

Ил. 13. Аттическая протогеометрическая керамика (XI–X вв. до н. э.): *1* — высокая пиксида; *2* — амфора из Керамейкоса. Афины. Музей Керамика 162

Ил. 14. Аттическая раннегеометрическая амфора из 41-й могилы Керамейкоса. Первая половина IX в. Афины. Музей Керамика 162

Ил. 15. Аттический позднегеометрический кратер из Афин. Вторая половина VIII в. до н. э (ок. 740 г.). Афины. Национальный музей 163

Ил. 16. Дельфы: *1* — Священная дорога; *2* — руины храма Аполлона ... 178–179

Ил. 17. Стадион в Олимпии 180

Ил. 18. Майкл Вентрис и Рейнольд Хиггинс 183

Ил. 19. Табличка линейного письма *Б* 184

Ил. 20. Сцена сражения на скифосе из Элевсина 192

Ил. 21. Сцена сражения и шествия вооруженных мужчин. Фрагмент аттического надгробного кратера дипилонского стиля. Париж. Лувр ... 196

Ил. 22. Золотые украшения: *1–2* — из Афин. Копенгаген. Национальный музей; *3–7* — из Коринфа. Берлин. Государственные музеи. Античное собрание 198

Ил. 23. Льняные хитоны: *1* — танец. Аттический килик сер.VI в. до н. э. Тарквиния. Национальный музей; *2* — шествие богов. Фрагмент диноса «Свадьба Пелея и Фетиды», найденного на Акрополе Афин. Мастер Софилос. Ок. 580–570 гг. до н. э.; *3* — снаряжение Ахилла. Ок. 565–555 гг.; *4* — Кора № 675. Афины. Музей Акрополя ... 200–202

Ил. 24. Женщина с посвятительными дарами. Фреска из Тиринфа 206

Ил. 25. Играющие женщины. Фреска из дворца Нестора в Пилосе 207

Ил. 26. Танец на горле протоаттической гидрии из Аналатоса. Ок. 690–675 гг. до н. э. Афины. Национальный музей 208

Ил. 27. Курос, найденный на Миконосе в конце XX в. Миконос. Музей... 209

Ил. 28. Ориентализирующий стиль: *1* — кикладская ойнохоя с Эгины. Лондон. Британский музей; *2* — Аполлон и музы. Деталь мелосской амфоры. Афины. Национальный музей; *3* — Артемида. Фрагмент амфоры с Мелоса. Берлин. Государственные музеи. Античное собрание; *4* — кносский полихромный пифос. Ираклион. Археологический музей 221–224

Ил. 29. Мраморная таблица (Tabula Iliaca). Битва за Трою и рисунок ее части 228–229

Ил. 30. Реконструкция Трои VI 230

Ил. 31. Троя VI. Восточные ворота 231

Ил. 32. Стена Трои VII, возведенная на старой стене..... 232

Ил. 33. Руины Трои VII. Современное фото..... 233

Ил. 34. Рельефный пифос со сценами Троянской войны. Миконос. Музей 234

Ил. 35. Изображение Троянского коня на горле рельефного пифоса 235

Ил. 36. Раскопки Шлимана шахтовых могил (круг *А*) Микенской цитадели. На переднем плане — Софья Шлиман. Фото 242

Ил. 37. Галерея Тиринфской цитадели 243

Ил. 38. Золотая маска ахейского правителя («Маска Агамемнона») 244

Ил. 39. Микены. Львиные ворота..... 251

Ил. 40. Акрополь Афин 254

Ил. 41. Пентеконтера. VIII в. до н. э. ... 267
Ил. 42. Пентеконтера. Рисунок на вазе Эксегия ... 268
Ил. 43. Триера. V в до н. э. ... 268
Ил. 44. Триера. Лондон. Британский музей ... 269
Ил. 45. Протокоринфская ойнохоя и арибалл со сценой танца (ок. 600 г. до н. э.) ... 270
Ил. 46. Протокоринфская амфора (амфориск). Ок. 600 г. до н. э. ... 271
Ил. 47. Коринф. Архаический храм Аполлона ... 272
Ил. 48. Диолк ... 273
Ил. 49. Платон. Ватикан. Герма в Зале муз. ... 280
Ил. 50. Сократ. Герма. Неаполь. Музей ... 283
Ил. 51. Санторин. Рисунок голландского картографа Олферта Даппера 1688 года ... 300
Ил. 52. Санторин. Рисунок русского монаха и пилигрима Василия Григорьевича Барского 1745 года ... 301
Ил. 53. Санторин. Извержение вулкана в 1866 г., запечатленное в журнале того времени ... 302
Ил. 54. Санторин. Выброс вулканических газов из кратера Неа Камени в 1926 году ... 303
Ил. 55. Позднеминойская ваза морского стиля. Ок. 1500 г. до н. э. ... 305
Ил. 56. Спиридон Маринатос на раскопках Акротири ... 307
Ил. 57. Акротири. План поселения ... 309
Ил. 58. Корабль Феры. Ок. 1500 г. до н. э. ... 310
Ил. 59. Артур Эванс в возрасте 85 лет представляет критскую (кносскую) часть на выставке греческих древностей в 1936 г. в музее Бёрлингтон-хаус в Лондоне ... 314
Ил. 60. Морская битва египтян с «народами моря». Рельеф из Мединет-Абу ... 325

Карты

Карта 1. Расселение греков ... 143
Карта 2. Экспансионные стремления Афин 470–413 гг. до н. э. ... 154
Карта 3. Афинская морская держава и Пелопоннесский союз к началу Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н. э.) ... 155
Карта 4. Греческие диалекты ... 176

Карта 5. К проблеме дорийского переселения 177
Карта 6. Минойское койне. Эпоха средней и начала поздней бронзы (2200–1400 гг. до н. э.) 188
Карта 7. Греческие города 191
Карта 8. Афины. Акрополь. Пирей 214–215
Карта 9. Троада 227
Карта 10. Спарта и ее окрестности 253
Карта 11. Крит в эпоху расцвета 312–313
Карта 12. Крито-микенский мир 315

Цветные иллюстрации

1. Карта Санторина
2. Кальдера
3. Скалы Санторина
4. Пропилеи. В глубине трехугольная площадь с западным домом
5. Площадь трех углов. Вход в западный дом с лестницей на верхний этаж
6. Площадь трех углов. Слева западный дом — Дом адмирала
7. Магазин пифосов
8. Весна
9. Кровать
10. Антилопы
11. Фреска с голубыми обезьянами
12. Боксирующие мальчики
13. Папирусы
14. Женщины из «гинекея»
15. Юная жрица с сосудом для горящих углей и благовоний
16. Юные рыбаки
17. Фреска северной стены в пятой комнате западного дома
18. Река в субтропиках
19. Река в субтропиках. Деталь
20–21. Морская экспедиция. Фреска западного дома
22. «Ливиец»;
Золотая фигурка горного козлика
23. Девушка, собирающая шафран
24. Неа Камени. Черные блоки лавы — впечатляющая картина опустошения после катастрофы

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 7

Часть I
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

Предмет источниковедения 11
Что такое исторические источники? 25
Основные принципы критики источников (по М. Блоку) 42
Зарождение исторической традиции в Древней Греции 53
Исторический труд Геродота 92
Тема и композиция труда Геродота 97
Источники Геродота и его работа с ними 100
Мировоззрение Геродота и его религиозные взгляды 113
Взгляды Геродота на исторический процесс 118
Значение труда Геродота 129

Часть II
ФУКИДИД. «АРХЕОЛОГИЯ».
ПЛАТОНОВСКИЙ МИФ ОБ АТЛАНТИДЕ
И ДАННЫЕ СОВРЕМЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ

Предварительные замечания 135
Фукидид. «Археология» 137
Реконструкция прошлого в «Археологии» Фукидида 137
Глава 1 152
Глава 2 156
Глава 3 164
Глава 4 185
Глава 5 189
Глава 6 194

Глава 7 ... 211
Глава 8 ... 213
Глава 9 ... 226
Глава 10 ... 250
Глава 11 ... 258
Глава 12 ... 260
Глава 13 ... 266
Глава 14 ... 274
Глава 15 ... 275
Глава 16 ... 276
Глава 17 ... 277
Глава 18 ... 277
Платоновский миф об Атлантиде и данные современной археологии ... 279
Предварительные замечания ... 279
Атлантология и атлантомания ... 286
Санторинская катастрофа. Гибель минойской цивилизации ... 299
Атлантида Платона. Источники философского мифа ... 321
Приложение ... 352
I. Атлантида Платона и Феопомпова Меропия (Aelian. Var. His., III, 18) ... 352
II. Фрески острова Санторин ... 354
Список иллюстраций ... 370
Черно-белые иллюстрации ... 370
Карты ... 372
Цветные иллюстрации ... 373

Научное издание

Андреев Юрий Викторович

ИСТОРИЯ И МИФ

Подготовка издания Л. В. Шадричевой

Выпускающий редактор *Е. П. Чебучева*
Корректор *Л. А. Макеева*
Технический редактор *Е. М. Денисова*
Художественное оформление *С. В. Лебединского*

Подписано в печать 17.11.2017. Формат 60 × 90 $^{1}/_{16}$.
Тираж 500 экз. Усл. печ. л. 23,5. Заказ № 2040

Отпечатано в ООО «Контраст»
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 38, лит. А

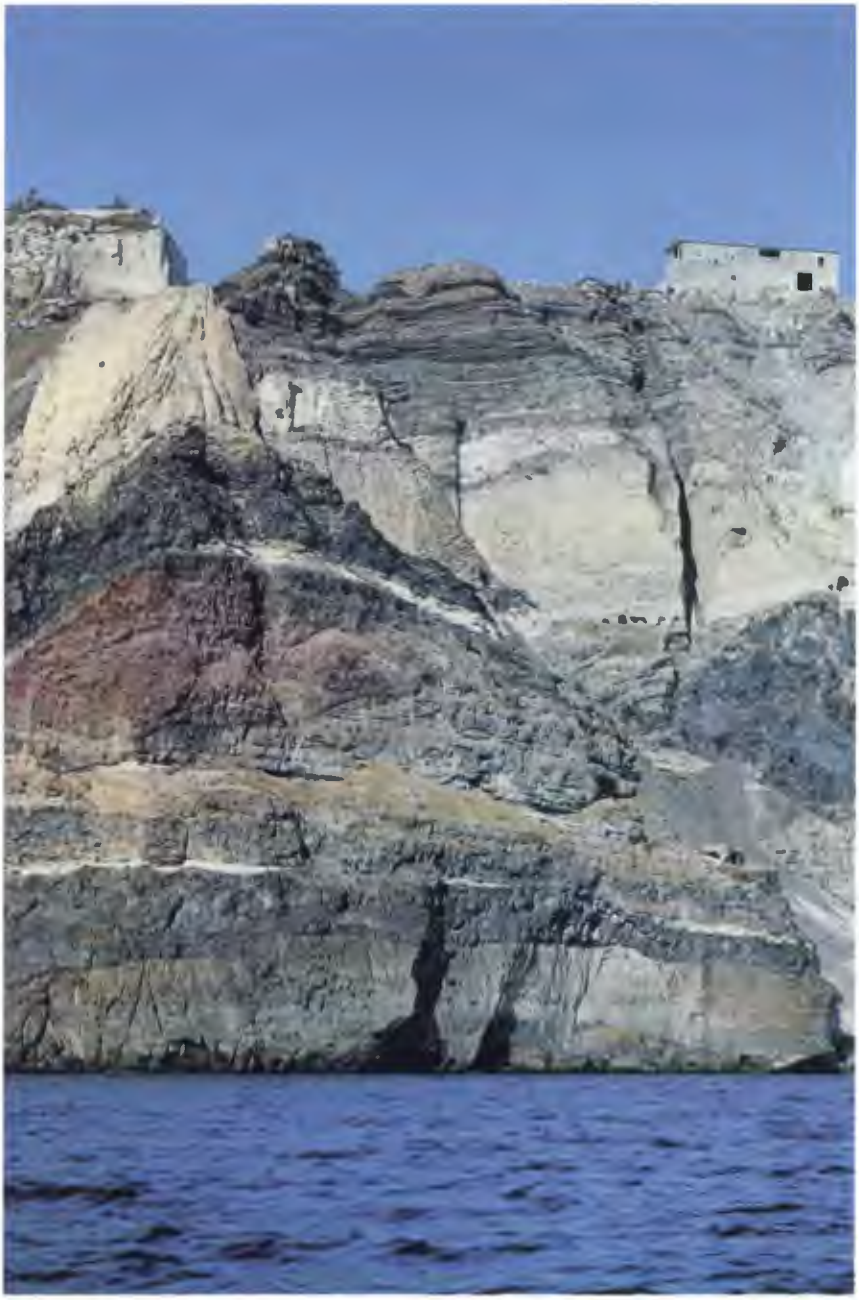
По всем вопросам,
связанным с приобретением этой книги, обращаться в
ООО «Издательский Центр «Гуманитарная Академия»

Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8
(ст. метро «Черная Речка», полуподвал,
вход с ул. Академика Шиманского).
Тел./факс: (812) 430-99-21

E-mail: gumak@mail.ru
Сайт: www.humak.ru

Карта Санторина

Кальдера



Скалы Санторина

Пропилеи.
В глубине трехугольная площадь с западным домом

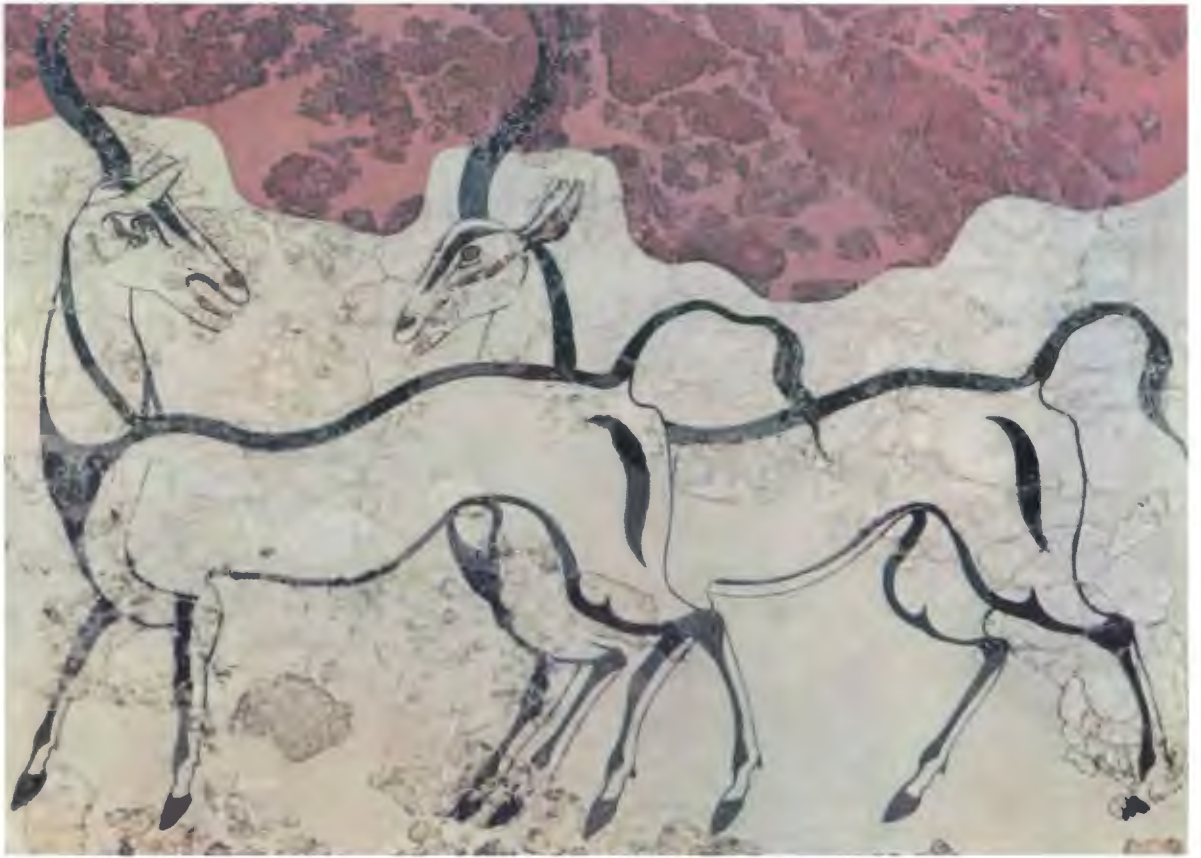
Площадь трех углов.
Вход в западный дом с лестницей на верхний этаж.
Характерная черта архитектуры Акротиры — окно рядом с входной дверью

Площадь трех углов.
Слева западный дом — Дом адмирала

Магазин пифосов

Весна

Кровать



Антилопы

Фреска с голубыми обезьянами

Боксирующие мальчики

Папирусы

Женщины из «гинекея»

Юная жрица с сосудом для горящих углей и благовоний

Юные рыбаки

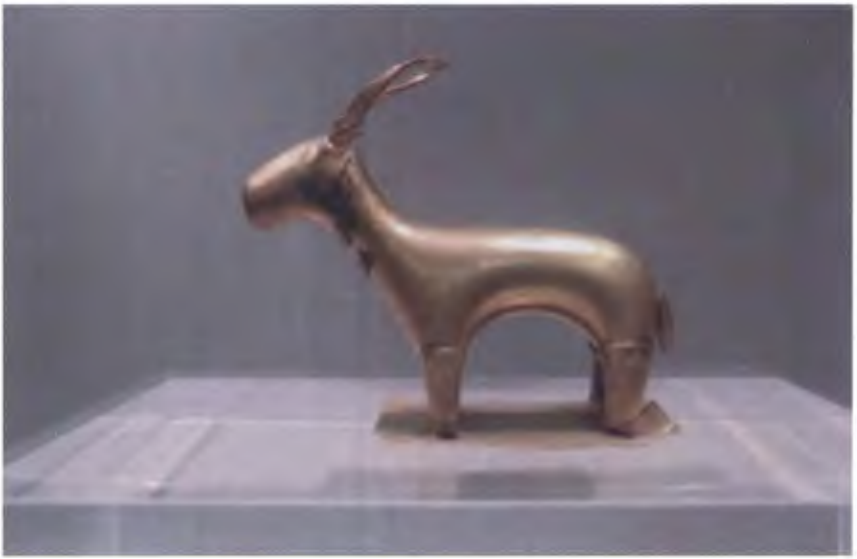
Фреска северной стены в пятой комнате западного дома

Река в субтропиках

Река в субтропиках. Деталь

Морская экспедиция. Фреска западного дома

«Ливиец»



Золотая фигурка горного козлика

Девушка, собирающая шафран

Неа Камени. Черные блоки лавы — впечатляющая картина опустошения после катастрофы